

ДЕНЬ ПОЭЗИИ 1988

ЖЫ ОТМЕЧАЕМ
В ЭТОМ ГОДУ
1000-ЛЕТИЕ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ



ДЕНЬ ПОЭЗИИ 1988

Э

ДЕНЬ ПОЭЗИИ 1988



МОСКВА · СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ · 1988

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

*В. Устинов – главный редактор;
А. Бобров (составитель), Е. Винокуров, О. Дмитриев,
Г. Иванов, С. Кузнецова, С. Куняев, Е. Лебедев, М. Лисянский,
И. Ляпин, С. Поликарпов, А. Поперечный, Н. Тряпкин, Вл. Фе-
доров, М. Числов.*

Портреты русских поэтов-мыслителей и рисунки на обложке

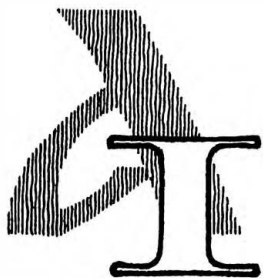
ЮРИЯ СЕЛИВЕРСТОВА

Шаржи

АЛЕКСЕЯ БАЗЛАКОВА

Оформление

ЕВГЕНИЯ СОКОЛОВА



СЛОВО

Добро есть, братие, чтение книжное, паче же всякому христианину, ибо сказано: «блаженны вникающие в смысл (прочитанного), они всем сердцем его восприимут». Что же сказано: «вникающие в смысл его»? Когда читаешь книги, не старайся быстро прочитать до другой главы, но пойми, что говорят книги и слова те, и трижды обращай к одной главе. Сказано ибо: «в сердце моем сокрыл словеса твои, да не согрешу к тебе». Не сказано: «устами только проговорил, но в сердце скрыл, да не согрешу тебе». И пойми истины писания, ибо ими направляемы. Скажу же: узда коню правитель и воздержание, праведнику же книги. Не составитя корабль без гвоздей, ни праведник без почитания книжного, и как ум стоит пленником у родителей своих, так и праведник у почитания книжного. Красота воину оружие, кораблю паруса, так и праведнику почитание книжное...

Из «Изборника 1076 года» («Слово некоего калугера о чтении книг». Калугер—монах.)

Николай Гумилев

СЛОВО

В оный день, когда над миром новым
Бог склонял лицо Свое, тогда
Солнце останавливали словом,
Словом разрушали города.

И орел не взмахивал крылами,
Звезды жались в ужасе к луне,
Если, точно розовое пламя,
Слово проплывало в вышине.

А для низкой жизни были числа,
Как домашний, подъяремный скот,

Потому, что все оттенки смысла
Умное число передаёт.

Патриарх седой, себе под руку
Покоривший и добро и зло,
Не решаясь обратиться к звуку,
Тростью на песке чертил число.

Но забыли мы, что осиянно
Только слово среди земных тревог
И в Евангелии от Иоанна
Сказано, что слово это Бог.

Мы ему поставили пределом
Скудные пределы естества,
И, как пчелы в улье опустелом,
Дурно пахнут мертвые слова.

Ярослав Смеляков

РУССКИЙ ЯЗЫК

У бедной твоей колыбели,
еще еле слышно сперва,
рязанские женщины пели,
роняя, как жемчуг, слова.

Под лампой кабацкой неяркой
на стол деревянный поник
у полной нетронутой чарки,
как раненый сокол, ямщик.

Ты шел на разбитых копытах,
в кострах староверов горел,
стирался в бадьях и корытах,
сверчком на печи свистел.

Ты, сидя на позднем крылечке,
закату подставляя лицо,
забрал у Кольцова колечко,
у Курбского занял кольцо.

Вы, прадеды наши, в недоле,
мукою запудривши лик,
на мельнице русской смолולי
заезжий татарский язык.

Вы взяли немецкого малость,
хотя бы и больше могли,
чтоб им не одним доставалась
ученая важность земли.

Ты, пахнувший прелой овчиной
и дедовским острым кваском,
писался и черной лучиной
и белым лебяжьим пером.

Ты – выше цены и расценки –
в году сорок первом, потом
писался в немецком застенке
на слабой известке гвоздем.

Владыки и те исчезали
мгновенно и наверняка,
когда невзначай посягали
на русскую суть языка.

Анна Ахматова

МУЖЕСТВО

Мы знаем, что ныне лежит на весах
И что совершается ныне.
Час мужества пробил на наших часах,
И мужество нас не покинет.

Не страшно под пулями мертвыми лечь,
Не горько остаться без крова, –
И мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слово.
Свободным и чистым тебя пронесем,
И внукам дадим, и от плена спасем
Навеки!

12 февраля 1942

Сергей Марков

РУССКАЯ РЕЧЬ

Я – русский. Дышу и живу
Широкой свободною речью.
Утратить ее наяву –
Подобно чуме иль увечью.

Бессмертной ее нареки!
Ее колыбель не забыта;
В истоках славянской реки
Сверкают алмазы санскрита.

Чиста, как серебряный меч
И свет в глубине небосвода,
Великая русская речь –
Надежда и счастье народа.

Мне снилось: пытали огнем
И тьмою тюремного крова,
Чтоб замерли в сердце моем
Истоки могучего слова.

Но вновь я познал наяву
Ровесницу звездного свода, –
Я снова дышу и живу
Надеждой и счастьем народа!

Дмитрий Голубков

СТАРИННЫЕ СЛОВА

Под черным стягом Святослава
Гудели,
Как колокола,
Слова,
Высокие, как слава,
И светлые, как купола.

В своем художестве убоги,
Писцы чертили их впотьмах,
Мечту о ясноликом боге
Запрятав в сумрачных томах.

Придворные Екатерины
Заемной галльской красой
Затмить пытались блеск старинный
Славянской речи кружевной.

Но, яро оборвав поводья,
Они, как кони,
Мчали стих,
В державинской державной оде
Вспомнив гул дорог степных.

И, стропотно чело морщина
И смерти глядячи в глаза,
О русской вековой кручине
Радищев

ими рассказал.

О речь пророков и калик,
Ума взыскующего брашно,
Издревле ропщущий язык,
Воинствующий и бесстрашный!

ВЕЛИКОЕ НАСЛЕДИЕ

Русская литература существует не с XVII века. Она родилась не в Петербурге и не в «петербургском периоде» русской истории. Ей – тысяча лет.

Если считать, что христианство не могло быть введено на Руси без широко развитой письменности, без книг, необходимых для совершения богослужения, для монастырской жизни, без переводов на понятный для русских литературный язык, то мы с уверенностью можем отмечать тысячелетие русской литературы.

Русская литература возникла еще в X веке. Официальное принятие христианства русским государством в 988 году потребовало не только множества переводных церковно-богослужбных и церковно-просветительских книг, но и составления собственных, русских сочинений, посвященных нуждам местной, русской церкви. Одним из первых таких сочинений была составленная, очевидно, на основании переводных произведений «Речь философа», включенная затем в состав древнейшей русской летописи.

Я думаю, что с крещения Руси вообще можно начинать историю русской культуры. Так же, как украинской и белорусской. Потому что в общем культура восходит к каменному веку, к неолиту или палеолиту. Но характерные черты русской, белорусской и украинской культуры – восточно-славянской культуры Древней Руси – восходят к тому времени, когда христианство сменило собой язычество.

Христианство – письменная религия, приобщившая Русь к высокоразвитой мифологии, к

истории европейских и малоазийских стран. Произошло соединение с культурой Византии, наиболее передовой страны того времени. Причем это произошло, когда византийская культура переживала период расцвета IX – XI веков.

Надо сказать, что Русь никогда не была отгорожена от других стран: она впитала в себя и византийскую культуру, и западную, и скандинавскую, и культуру южных соседей – кочевников. Потому что своя основа была необычайно сильна. Какой язык был у нас еще до влияния церковного, книжного языка! Как поразительны по краткости и красоте обращения князей к войску и речи на княжеских съездах! Эта не фольклорная, но ораторская, устная традиция была необычайно сильна.

Академик Д. С. Лихачев

Леонид Манзуркин

* * *

Вижу Русь!
Торжественно-сурово
вслушиваюсь в темную строку...

Так и есть,
вначале было Слово.
Это было «Слово о полку...».

Михаил Скуратов

РУССКОЕ СЛОВО

«Бог-то бог, да и сам не будь плох!» –
Так вот сыспокон русский народ говорит.
Кто из родичей наших к словам тем оглох?
Кто к ним слеп? Кто на Слово сердит?

Сколько мы бы ни жили, а Слово всегда –
Слово русское нашими молвит устами, –
Будь то Волга иль реченька та Ингодá,
Что течет в Забайкалье, – везде оно с нами.

Русским Словом мы с вами богаты
С прародительской, что ль, колыбели?
С ним мы с вами и сваты и братья, –
Только Словом родным мы всю жизнь богатели.

И роднились мы им, и спаялись мы Словом.
Неразлучна навеки с ним Родина-мать...
Так вернемся же к Слову, как к первоосновам, –
Станем лучше и Жизнь и себя понимать!

Александр Зорин

* * *

О вечная гордыня Вавилона!
Язык распался, как во время оно.
Лишь вспыхивает в рудиментах, в квантах,
в архаике толковых фолиантов.

И вот уж говорящие друг друга
не понимают. Напуская мрак,
шарахаются сами от испуга.
Шептали «друг», а получилось «враг».

Семантика ушла, как Атлантида
на дно веков. Стал популярен жест –
красноречивой мимикой гибрида,
в дни митингов и горестных торжеств.

Родная речь клокочет, мчит рекою...
Мой собеседник, в воздухе рукою
выписывая лихо антраша,
спросил: «Душа? А что это такое?
Ты говоришь, у каждого душа?..»

Без словаря не объяснюсь на русском.
И уточнить не постесняюсь вновь
в беседе с образованным моллюском –
что понимать под термином «любовь»?

Татьяна Глушкова

В АПРЕЛЕ, НАД ДНЕПРОМ

А Выдубецкий белый монастырь –
что мазанка... Селянское барокко
вздымает главы тесные высоко –
туда, где ангел, темную псалтырь
перебелив кириллицей заветной,
как пух, парит...

А кто бы думать мог? –
ходил в лаптях, в какой-то свитке бедной,
с улыбкою младенчески-приветной
он вдруг постиг, что Слово – это Бог...

Как лес, шумит сухой чертополох,
и в нем плитой означен не приметной
Ушинский – старый русский педагог.

Кресты разбиты, выщерблены «яти»,
скрипит песок у литер в желобках.
В граните каменеет настоятель,
под скифским камнем мается монах –
Яновский-Гоголь был ему приятель,
который на Московии зачах...

По водостоку ржавому в овраг
спешит в ручей, кружа сырые щепки,
зато у брандмайора в головах –
античный шлем малороссийской лепки
да вороха промасленных бумаг
и хрусткие обугленные ветки,
понеже все, что не огонь, то – прах.
Но вот над чьей-то юною судьбой
склонилась неутешная вдовица
иль Глория – как встрепанная птица
с ногой бурсацкой, пыльной и босой.

Что гирькой, сдобрен бронзовой слезой
амурчик над купцом первогильдейским,
зарезанным не умыслом злодейским –
цыганкиной беспутною красой...

Над морем взбаламученно-житейским
висит предвечный, сладостный покой.

Но занимается весенний зной.
Дубовых листьев прошлогодний шелест:
шафраном пахнет вспученная прель.
Профундо-басом запекает шмель.
И рыба в старице идет на нерест.
Волну стегает вербами апрель.

Александр Поздняков

К ТЫСЯЧЕЛЕТИЮ «ПРАВДЫ» ЯРОСЛАВА МУДРОГО

Древнеримская мудрость: «Не пойман – не вор» –
Нас воров изводить научила.
Только жив тот закон воровской до сих пор.
Что за сила их вновь наплодила?

Замыкается круг... Но предел круговой,
Не стерпев, я сегодня нарушу...
Коль не надобен больше пожар мировой,
Что спасет мою бедную душу?

Я с заморской тщетой не изведал причин...
Но, к себе повернувшись навстречу,
Там увидел, как братство славянских общин
Октября становилось предтечей.

И назвалось «товарищем» русское «брат»...
Пусть кому-то казалось курьезом,
Что с одной стороны мировых баррикад –
Пролетарий и Савва Морозов!

.. Пусть зловещие ветры разносят молву, –
Там и тут всех попутал лукавый.
И бессильно склоняет седую главу
Бесподобное римское право.

Может, все пропадет. Я гадать не берусь.
Все причуды судьбы не измерить.
Только верится – будет Великая Русь,
Если можно в себя еще верить!

Если душу прошу: «От искуса спаси!
Лучше дай умереть под забором...»
Кто сказал, что непойманный вор на Руси
Никогда не считается воров?..

Юрий Ефремов

СЛАВЯНСКИЕ КОРНИ

Все звучало родственно и просто:
Люблин, Познань, а еще верней
В звуке «Брест» славянская берёста
Слух ласкала музыкой корней.

Свитязь, витязь, нетель, невод, нерест...
Речь как сеть сливающихся рек.
А быть может, Брест и просто берест,
Если в берег превратился брег?

Анатолий Чиков

ПУСТЫННИК

Захотел я пройти аки посуху
К твоим жарким потребностям, век.
Но прижал к терпезу меня посохом
Феофан по прозвищу Грек.

Для меня это не было новостью.
Не скопил я парчи и казны.
И парил надо мною от горести
Освежающий нимб новизны.

Заставлял он не млеть над посевами,
А заняться зубрежкой азов.
И я понял, что образ разгневанный –
Беспощадный мой внутренний зов.

Потому-то и вырвал в пещере я
Жить для подвига клятый зарок.
Говорю, приучая к доверию:
«Я пустынный, отнюдь не пророк.

Пью святую водичку вот эту я.
Заметался на горле кадык.
Что ж ко мне не идут за советами
Из сомнений гордыни владык?»

Людмила Олзоева

МАСТЕР

Иконы русской золотая осень,
как яростна небес твоих лазурь.
Уж на цветы не залетают осы,
и тишина – как после гроз и бурь.

Прожить под золотом, что под позором.
Под солнцем жить. Осенние леса
невидимо проходят перед взором
прощального иконного лица.

У пашни с полем четкая граница.
Она сбежит от зим и, став длинней,
в полсвета силуэтом повторится
двух – белого и черного – коней.

Что красота? О ней молчат – ни слова!
Есть жест руки и теплый воск перстов.
И око. И овал лица. И снова –
взгляд оцарапал патину холстов.

Рисунок плеч столь многое расскажет –
все ярче, ярче теплый ком в груди.
Был прожит день. А этот день был нажит,
он у меня не в прошлом – впереди.

Валентина Ханадеева

* * *

Песни печальные
С низкими вторами,
С истовой дрожью верхов,
Песни российские –
Слезы, которыми
Платим за буйство грехов.
Лесом и полем,
Дорогой унылою,
Небом, бездонным, как взгляд,
Гневом и верой,
Бессильем и силою
Выстроен певческий лад.
Лики возвышены,
Пальцы забытые
Сцеплены в праздный замок –
Тщетный напев,
В небесах не услышанный,
Вновь на излете замолк...
Сколько надежд,
Сколько страсти затравлено –
Стоптано в грозной пыли,
Сколько певучего стона
Оставлено
В той, праотцовской, дали!

Бились, рыдали,
Но веры не выдали,
Не утрашились оков,
Песни печальные –
Звучные идолы
На перепутьях веков.

Илья Фаликов

* * *

Себя окажет поздно или рано
в том переулке, тихом испокон,
подземный ход неведомого храма
еще Ивана Грозного времен.

Мои дома качаются, быть может,
и могут рухнуть, не исключено,
все оттого, что прошлое тревожит,
которое глубинно и черно.

Еще неясно, чем оно чревато
и обернется чем под Новый год
и кто сейчас крадется воровато,
со звонницы спустясь в подземный ход.

Нет храма. Очевидную потерю
наверняка оплакивать не мне.
Но зря шагам истории не верю,
когда они звучат на глубине.

Я зря не верю в то, что за плечами
повисло, как тяжелые крыла.
Но от Кремля мне слышатся ночами
неколебимые колокола.

Ириада Потехина

* * *

Соловки... Неужели погубят?
Все, что можно спасти, не спасут?
Кто ж Россию так люто не любит?
Кто вершит над историей суд,

за страницей страницу увеча?
Кий и Сия, Кижь, Валаам...
Груз веков на уставшие плечи
давит все разрушительней вам.

Но еще беспощадней, чем время,
злее войн и страшней воровства –
на беспамятстве взросшее племя,
что не чтит ни могил, ни родства.

Не щадит ни природы ранимой,
ни воздвигнутых предком камней,
ни того, что от веку хранимо:
хлеб, и веру, и ветви корней.

Время темное – тьму порождает.
Лик просветом в иконе-окне:
змия храбро копьём поражает
брат мой – всадник на белом коне.

Геннадий Иванов

* * *

Говорят – за звездными огнями
День и ночь гремит военный гром:
Михаил архистратиг с воями
Против князя тьмы с его числом...

Я о том доподлинно не знаю –
Знаю только: здесь вот, на земле,
Тьма на свет идет, на знамя знамя –
И сверкают молнии во мгле.

Как они рассеяны печально,
Силы света. Но за ними – Свет!
Он их соберет и не случайно
Им дарует торжество побед.

ПОДРАЖАНИЕ НЕКРАСОВУ

Нам не выпало доли военной,
Нам не выпало доли голодной –
Мы пошли по стезе постепенной
Размышлений над жизнью народной.

Размышлений над жизнью и смертью,
Размышлений о старом и новом,
О небесной мы вспомнили тверди,
Восхитились мы подлинным словом.

Поколение счастливое в роде,
И грешно накликаль испытанья.
Только будет ли отклик в народе
На духовные наши исканья?

Яков Хелемский

* * *

Безмерно славен, богоравен,
Сановен и в сужденьях строг,
Сказал о лирике Державин:
– Цветущий слог.

Воздал он слогу по заслугам
И слово новое изрек,
Сравнив с благоуханным лугом
Соцветья строк.

Сравнение, словно предсказанье...
Лицея актовый чертог.
Стихи в замороженном зале,
Судьбы пролог.

Благословенное предтечей,
Начало пушкинских дорог.
Цветение российской речи
На вечный срок.

НИКОЛАЙ РЕРИХ

Деятельность великого русского художника Н. К. Рериха (1847–1947) многогранна и не поддается однозначному определению. В настоящее время значительно возрос интерес к его философским и научным трудам, к обширному литературному наследию.

В 20-х годах о Рерихе говорили как о незаурядном поэте-новаторе, счастливо соединившем в своем творчестве русскую и индийскую поэтические традиции и возродившем русский духовный стих, несущий в себе энергию преобразования личности путем утончения сердца и расширения сознания.

Предлагаемое читателям неопубликованное стихотворение Н. К. Рериха «Дар» взято нами из архива П. Ф. Беликова – известного исследователя творческой и духовной биографии художника. Написано оно 22 января 1922 года. Обращает на себя внимание тот факт, что тема стихотворения «Дар» перекликается с темой поэмы «Ловцу, входящему в лес», заключающей известную и единственную в своем роде книгу стихов Николая Константиновича «Цветы Мории», изданную в Берлине в 1921 году. «Публика совершенно не понимает «Цветы Мории», но все-таки чувствует, что есть какое-то внутреннее значение», – писал по выходе книги Рерих. Необычный язык, высокая символика, свободная форма стихосложения требовали от читателя предварительной подготовки.

Поэма «Ловцу, входящему в лес» написана в форме наставления учителя ученику, что характерно и для индийской и для древнерусской литературы («Слово Даниила Заточника» и др.). «Ловец» в лесу, т. е. в людях, подвергается многим опасностям и должен, обратив препятствия в ступени восхождения, обогатить себя духовными находками, чтобы выполнить поручение учителя. Что представляет из себя это поручение? Как прозорливо писал Е. А. Баратынский: «Дарование есть поручение. Должно исполнить его, несмотря ни на какие препятствия».

Главным поручением и является «дар». Следуя своему таланту, художник, несмотря ни на какие испытания, должен стать «ловцом человеков» в сети красоты.

ДАР

Мутны волны, и бурно море.
Неужели здесь должен быть
наш улов? И здесь должны
мы закинуть сеть нашу.
Иначе лишимся пропитания
нашего. В желтые волны
бросили мы нашу сеть.
Вес ее стал отягчаться.
Ах, сколько ила и грязи
соберет наша бедная пряжа.
С трудом извлекаем наш
тяжелый улов. Усмешка судьбы!
Она бросила нам все ненужные
вещи. Звезды морские и мертвые
крабы для еды непригодные.
Но среди хлама мелькнул
блеск чешуи. Господи, даже
среди мутного моря все же
послал нам золотую
рыбку. Но мало того, среди
грязи мы находим
запечатанный ящик. Дома
только там за порогом
мы раскроем его. Сладость
какая нести запечатанный
дар.

Виктор Гаврилин

* * *

Странно: Пушкин жил в литературе,
где читать он Пушкина не мог,
сам себя не слышал между строк,
будучи не в посторонней шкуре.

Обделила Пушкина судьба,
недодав готовых идеалов.
Жизнью Аполлонова раба
создавался Пушкин из развалов.

И ему плоды его труда
набивали некую оскому,
и, творцом наскучась, красота
уходила колдовать к другому.

МЫСЛЬ – ПОЭЗИЯ – МЫСЛЬ

*К серии портретов, выполненных художником
Юрием Селиверстовым*

Художники по-разному читают поэтов. Чаще это «титульное» чтение, использующее уже готовую иконографию. Реже – порыв, продиктованный чтением и благодарностью души, которая ищет выговориться в портрете, сохраняющем след побудительного впечатления.

В цикле портретов, литографированных Юрием Селиверстовым, мы встречаемся с совсем особенным случаем. Это скорее слово мыслителя, ясное суждение в мировоззренческом диалоге, который ведется сегодня с тревожной и неизбежной открытостью. В выборе художника есть обдуманная неукоснительность, определяемая любовью к русской поэтической мысли, которая с Пушкина была редкостно последовательна в постановке насущных вопросов русского духовного бытования и общественного самостояния.

Кажется, всегда у нас мысль существовала уже оперенная рифмой, а рифма искала мысли. Не надо объяснять, почему цикл начат Пушкиным. «Пушкин – наше всё» – это было сказано Аполлоном Григорьевым, и сказано навсегда верно. Скорее странным мог бы показаться в этом соседстве А. С. Хомяков, ибо звал он себя «прозатором» и всегда вполне понимал, что стихи его «когда хороши, держатся мыслью», но мысль его при этом была такого заветного, такого светлого творения, что исполнялась высокого и естественного лиризма. В этом он был сроден своему сверстнику и без малого одногодку Ф. Тютчеву, которого чтит именно как поэта по преимуществу, не знающего ни разделения, ни умозрительного слияния мысли и поэзии, а сводящего их с органической свободой, как если бы мысль и не ведала иной плоти, кроме стихотворной.

И везде у них впереди – Россия, страстное вслушивание в судьбу ее, в предназначение. Все лучшие русские поэты родня по этому чувству, и когда А. Блок вспомнит А. Григорьеву, то прежде, прежде всего увидит именно эту любовь к родине, к «почве» и с горечью отметит другую нашу старую черту: «За резкие слова об этой любви, *всеми и всегда гонимой у нас* (курсив мой. – В. К.), Григорьеву досталось довольно и в то время, и в наше. Бог судья тем людям, которые усмотрели опасный «национализм» (так, что ли?) в наивных стихах... или в страстных словах, подслушанных, например, Григорьевичем («Шекспир настолько великий гений, что может стать уже по плечо русскому человеку»).

«В то время и в наше» – тяжелые и справедливые слова. И может быть, потому художник и сзывает снова дорогих его сознанию и сердцу поэтов, что мысль о родине, о «почве» все требует совместного обдумывания и ищет сыновнего ответа. Она бьется в портрете доктора философии и поэта К. Случевского, так жестко перешепнувшегося в «Дневнике одностороннего человека» с героем «Записок из подполья»; она остра и разнообразна и в других портретах.

В самом сопоставлении портретов слышен диалог, внятна страстная личностность философской борьбы, когда идеи воспринимаются как люди и с ними спорят ожесточенно и едко, с личной обидой или благословляют со слезами.

Они все умели прозревать целое, умели, не порывая с будним миром, не терять из виду горнего, прочитывать в реальности замысел Общего, голос Единого. Они часто были невольниками обстоятельств, но помнили ответственность за слово и апостольскую необходимость «ходить перед людьми». О них обо всех, в сущности, можно было сказать словами Д. Овсяннико-Куликовского из очерка о Соловьеве: «Их вера несокрушима, как и их мистическая экзальтация, но у них нет того порабощения личности гнету властной идеи, которое составляет сущность фанатизма. Это люди внутренне свободные, широкие, гуманные, строгие к себе, они снисходительны к другим».

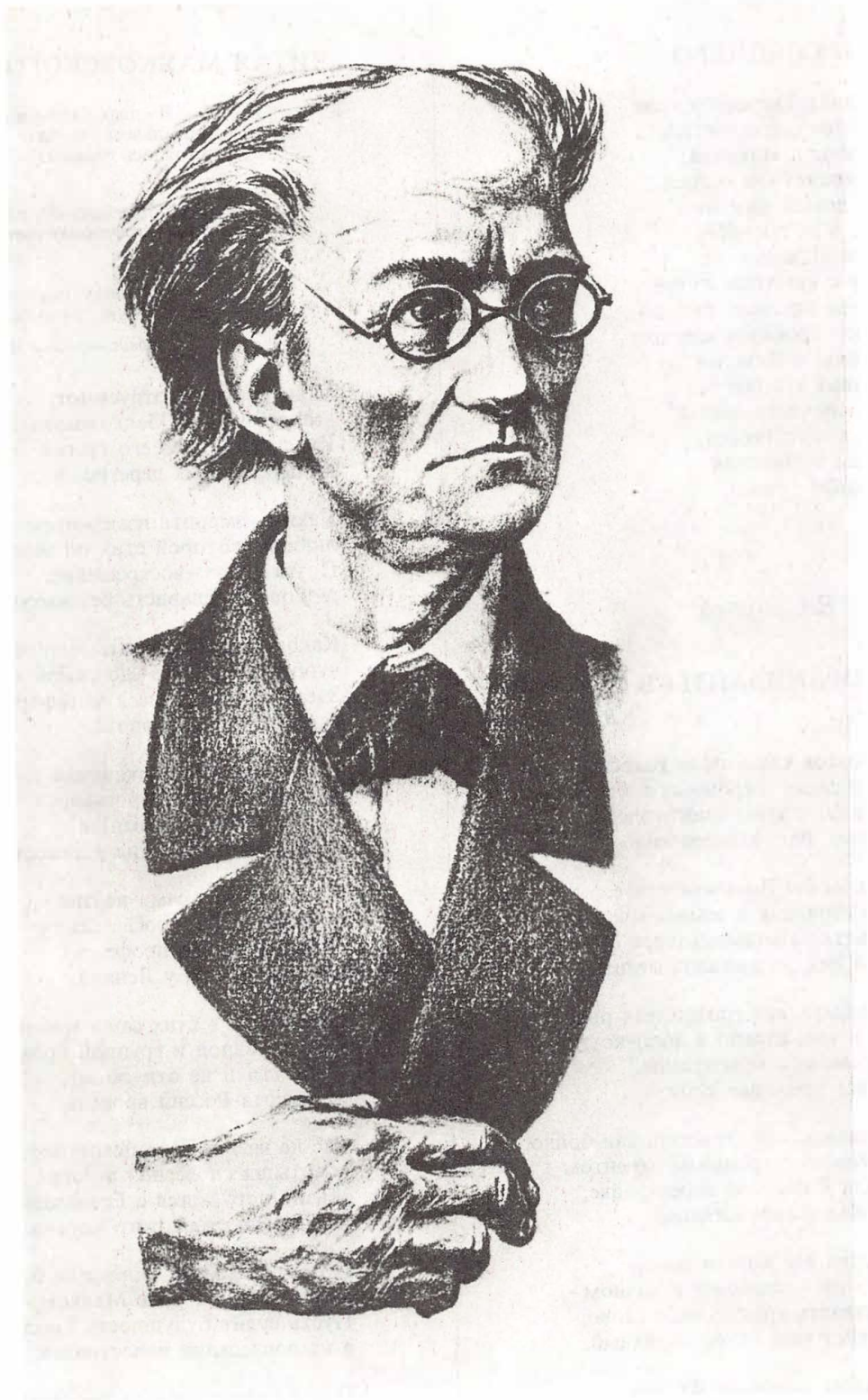
К сожалению, мир не был «снисходителен» к ним самим, но не ожесточил их, сохранив поэтический голос в чистой и деятельной силе. Обращение художника к этому кругу поэтов-мыслителей и мыслителей-поэтов – прекрасный знак возрождения *целостной русской мысли*, долгое время теснившей личностную ветвь, без которой, оказывается, духовная жизнь начинает терять опорное единство и сопряженную с ним радость. А. Ф. Лосев точно выбирал слова, когда говорил, что у них «железная логика всеединства... превращалась в восторг». Восторг – это восхождение мысли, необходимая душе вертикаль. Портреты хранят эту устремленность всем своим строем.

Каждое – призыв и оклик Единого человека. Наше дело обернуться и услышать...

Валентин КУРБАТОВ



А. С. ПУШКИН



Ф. И. ТЮТЧЕВ

Нина Бялосинская

ДОМ В СЛЕПНЕВО

В глубинах Тверского края
Все выстоял, все претерпел
Дом Анны и Николая,
Как рукопись – не сгорел.
Стоял, домой ожидая
Хозяев, а не гостей –
Убитого Николая
И Анну с крестных путей.
Стоял – не прогнил, ветшая,
Пока под тройным ключом
Сын Анны и Николая
Изведывал что почем.
Стоит, как свеча святая,
Глядят в него небеса.
Он Анны и Николая
Еще хранит голоса.

Ирина Волобуева

«РАЗВОРАЧИВАЙТЕСЬ В МАРШЕ»

В. Маяковский

Ныне поэтов как в поле колосьев,
Самых разных – скромных и броских.
Как всегда, в этом многоголосье
Не хватает Вас, Маяковский.

О, в каком бы Вы были ударе,
Прочно стоя, как в землю вбитый,
На планетном вливая шаре
В новый Век, из металла отлитый.

Представляю, как грозно, как рьяно,
Целясь в зло, словно в яблочко тира,
Вы б гремели с телеэкранов,
Войны все призывая к миру.

Представляю, как страстно, как бойко,
С кумачово-бесстрашным акцентом
Помогали б строкой перестройке,
Перекройке и переоценкам.

Да, сегодня все заново ново...
Вот об этом – всеобщем и личном –
Мне б сказать грандиозное слово,
Да не тянет мой голос лиричный.

Но зарядом заряжено Вашим,
Сердце жарко стучит, беспокоясь:
Разворачивайтесь в марше,
Ваше слово, товарищ Советь-!

Владимир Макаров

ЧИТАЯ МАЯКОВСКОГО...

Я – поэт. Этим и интересен... Об
остальном – только если это от-
стоялось словом.

«Я сам»

...чтобы врассыпную разбежался Ко-
ган, встреченных увеча пиками усов.
«Сергей Есенин»

Ермилову скажите, что жаль –
снял лозунг, надо бы доругаться.

*Предсмертное письмо-набросок
«Всем»*

Меня стихи не отпускают,
взахлеб читаю Маяковского...
Курсивом кровь его густая
на переломных перекрестках.

Каким измерить измереньем
любовь, которой стих он выковал?
Поэта слово – воскрешение,
любовь и ненависть без выкупа.

Какою меркой мерить личность,
чтоб взвесить всё – до самой крохи?
Здесь плоть вошла в метафоричность
как отношение к эпохе.

И откровенность окаянная
его стихов такая броская, –
девятым валом океан ее
накрыл напостовские плоскости.

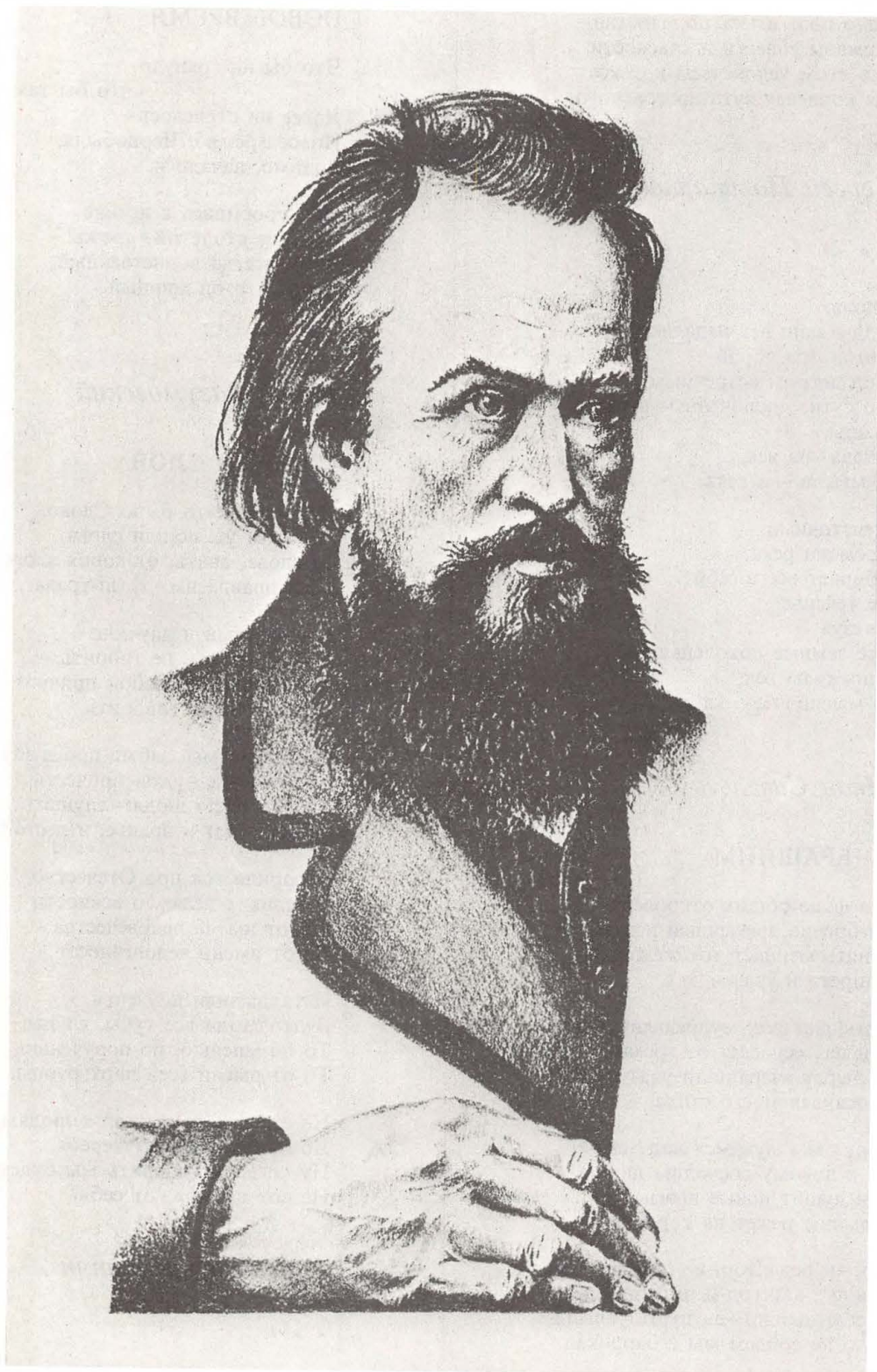
В нем обрела сама поэзия
кристальность просветления.
У Маяковского профессия
как революция у Ленина.

Бессмертье в стих само вырастает
всей глубиной и группой крови...
Меня стихи не отпускают,
их высота России вровень.

Вас не казнят и не помилуют,
обертыши словесной погани!
Жизнь доругается с Ермиловым
и навсегда стреножит Когана.

По высшей мере запросили б мы
за выстрел в сердце Маяковского.
Пусть судит будущность России,
а не последыши напостовцев.

Пусть перекрестность просветления
на всех раскатах перекрестков,
как революция у Ленина
и как советскость Маяковского.



А. А. ГРИГОРЬЕВ

Одно поэт имеет подданство –
державы совести и гласности.
И в этом человечьем кодексе
вся корневая суть прекрасного.

Сергей Поликарпов

* * *

Слова,
Идя в наш век издалека,
Ломаются порой
Под ветром встречным,
Но сути, заключенные в них,
Вечны, –
Слова – на век,
А мысли – на века.

Неисточима
Времени река,
Вбирает все в себя
Ее течение,
Связуя
Все земные поколенья, –
Слова – на век,
А мысли – на века!..

Иван Савельев

ВЧЕРАШНИМ

На фоне общих откровений,
Отбросив временный испуг,
Опять мерцает тот же гений –
Запрета и указки дух.

Он знает все, мудрец ликующий,
Он нас «спасает от греха».
И перст вчерашний указующий
Коснулся моего стиха.

Пока мы мучимся над темой
И к новому восходим дню,
Он душит новые поэмы,
Романы режет на корню.

Он – и редактор, и – повыше
Сидит, как год и пять назад.
Неслышащий – да пусть услышит,
Что не сойдем мы с баррикад.

А упадем – так всем союзом
Поэтов средних и больших,
Чтоб он умом своим кургузым
Вновь не кастрировал наш стих.

НОВОЕ ВРЕМЯ

Что бы ни грянуло,
что бы там
Далее ни стряслось –
Новое время с Чернобыля,
Видимо, началось.

Ибо пробилась к истине –
По телу столетий – дрожь! –
Атом всегда воинственный.
Ложь, что он мирный.
Ложь!

Юрий Разумовский

СЛОВО И СЛОВА

Да, вначале-то было Слово,
А потом уж пошли слова.
Те слова, знать, от корня злого,
Если правда им – трън-трава.

Вот нас ими и научили
Не работать и не творить,
А с трибун по любой причине
Гладко-весело говорить.

Всё могли мы, забыв про душу,
По бумажке чужой прочесть.
Каково было людям слушать
Столько лет и вранье, и лезть?!

Говорили мы про Отечество,
О великих делах, о вечности –
Всё от имени человечества –
Не от имени человечности.

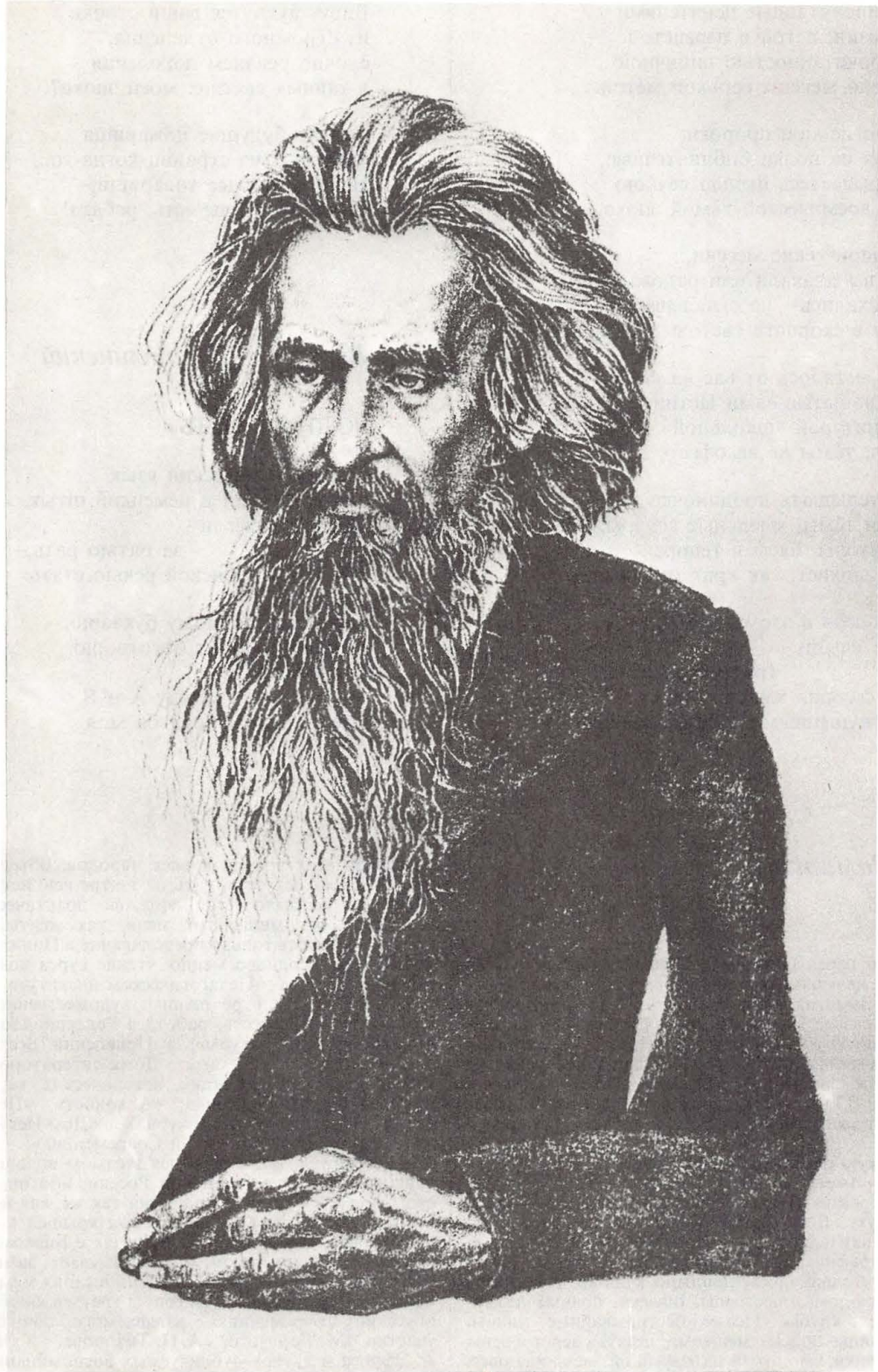
И талдычили поученья,
Будто люди все тупы, глупы:
То по мненью, по порученью,
То от имени всей партгруппы.

Не стыдясь выходили к людям,
Ложь-шпаргалочку теребя,
Ну когда ж говорить мы будем
Не «от имени» – от себя?

Сергей Мнацаканян

* * *

Непрочитанные поэты,
не прочитанные – товарищами
перед будущими пожарищами,
не прочитанные – перед Летой...



В. С. СОЛОВЬЕВ

Не прочитанные ценителями
в жизни, петой и перепетой,
непрочитанностью циничною
словно мечены горькой метой.

Дорогие мои пророки,
встав на полки библиотечные,
покрываетесь пылью вечною
под космической тьмой эпохи.

У, лирические мессии,
как вы плакали или радовались,
задыхались – не оглядывались,
веря в скорости световые...

Что осталось от вас на свете,
где добытые вами Истины?
Гарнитурой «школьной» оттиснуты
ваши томы не на офсете...

Не услышать поодиночке
ваши темы, хмельные кенары,
баритоны, басы и теноры, –
эхо глохнет, как крик из бочки.

Сам себя в этом хоре великом
я не слышу –
 грядет прозрение,
что сегодня живет поэзия
приглушенным и общим криком.

Вдруг аукнутся ваши строки
из огромного отдаления,
словно реквием поколения
в тайных святцах моей эпохи?

Только будущие пожарища
полыхнут из страниц когда-то...
Непрочитанные товарищи, –
хорошо, что вы есть, ребята!

Виталий Шенталинский

РОДНАЯ РЕЧЬ

Поборол отеческий язык
лук татарский и немецкий штык.
Предки полегли –
 за ратью рать, –
чтобы материнской речью стать.

Кланяюсь родному букварю.
Русский алфавит боготворю.
В промежутке
 между А и Я
уместилась вся судьба моя.

Евгений Замятин 1884–1937

Незадолго перед Октябрьской революцией, когда «в Англии стало невмочь», инженер-кораблестроитель Евгений Иванович Замятин, находившийся там в командировке на заводах Глазго, Ньюкасла и Сандерленда, «на стареньком английском пароходике... вернулся в Россию». Позже он, вспоминая об этом событии, предопределившем многое в его не слишком долгой жизни, писал: «Думаю, что если бы в 1917 году не вернулся из Англии, если бы все эти годы не прожил вместе с Россией – больше бы не мог писать»¹.

Октябрьскую революцию Евгений Иванович встретил в Петрограде. Вместе со своей Россией, вместе со своим народом он пережил грозные события гражданской войны, голод и разруху. В Петрограде Замятин окупался в суровую романтику послереволюционных будней, о которых он в автобиографии писал: «Веселая, жуткая зима 17–18 года, когда все сдвинулось, поплыло куда-то в неизвестность. Корабли-дома, выстрелы, обыски, ночные дежурства, домовые клубы. Позже – бестрамвайные улицы, длинные вереницы людей с мешками, десятки верст в день, буржуйка, селедки, смолотый на кофейной мельнице овес. И рядом с овсом – всяческие всемирные затеи: издать всех

классиков всех времен и всех народов, объединить всех деятелей всех искусств, дать на театре всю историю всего мира. Тут уж было не до чертежей – практически техника засохла и отломилась от меня, как желтый лист (от техники осталось только преподавание в Политехническом институте). И одновременно: чтение курса новейшей русской литературы в Педагогическом институте имени Герцена (1920–1921), курс техники художественной прозы в Студии Дома искусств, работа в Редакционной коллегии «Всемирной литературы», в Правлении Всероссийского союза писателей, в Комитете Дома литераторов, в Совете Дома искусств, в Секции исторических картин ПТО, в издательстве Гржебина, «Алконост», «Петрополис», «Мысль», редактирование журналов «Дом Искусств», «Современный Запад», «Русский Современник»¹.

Евгений Замятин оказался в самом водовороте культурного строительства новой России, ибо он не мыслил судьбы своей отдельно от России так же, как и Александр Блок. Судьба свела их вместе под крышей издательства «Всемирная литература». О встречах с Блоком, о последних днях жизни поэта и рассказывает замечательный русский писатель Евгений Замятин в своих мемуарах. Они были опубликованы в 1924 году в третьей книжке журнала «Русский Современник», издаваемого при ближайшем участии М. Горького, А. Н. Тихонова, К. Чуковского, А. Эфроса и автора публикуемых воспоминаний.

Юрий Юшкин

¹ Замятин Е. Повести, рассказы. Воронеж, Централь-но-Черноземное кн. изд.-во, 1986, с. 33.

¹ Замятин Е. Повести, рассказы. Воронеж, Централь-но-Черноземное кн. изд.-во, 1986, с. 33.

ВОСПОМИНАНИЯ О БЛОКЕ

1918 год. Маленькая редакционная комната – какая-то пустая, торопливая, временная – два-три стула, в углу связки – только что из типографии – книг. Еще непривычно, что в комнате – в шляпах и пальто. И непривычно, дружески-вражеский разговор с одним из редакторов левозсеровского журнала.

Стук в дверь – и в комнате Блок. Нынешнее его, рыцарское лицо – и смешная, плоская американская кепка. И от кепки – мысль: два Блока – один настоящий, а другой – напаянный на этого настоящего, как плоская американская кепка. Лицо – усталое, потемневшее от какого-то сурового ветра, запертое на замок.

В углу около книг – какое-то мимоходное, шепотом, редакционное совещание – я на минуту вдвоём с Блоком.

– Сейчас? (его ответ). Ну какое же писание. Выколачиваю деньги. Очень трудно...

И вдруг – сквозь металл, из-под забрала – улыбка, совсем детская, голубая:

– А я думал, что вы – непременно с бородой до сих пор, вроде земского доктора. А вы – англичанин... московский...

Это было мое знакомство с Блоком. Только этот короткий разговор, улыбка, кепка.

Три года затем мы вместе были заперты в стальном снаряде – и во тьме, в тесноте, со свистом неслись неизвестно куда. В эти предсмертные секунды-годы надо было что-то делать, устраиваться и жить в несущемся снаряде. Смешные в снаряде затеи: «Всемирная Литература», Союз Деятелей Художественного Слова, Союз Писателей, Театр... И все писатели, кто уцелел, в тесноте сталкивались здесь – рядом Горький и Мережковский, Блок и Куприн, Муйжель и Гумилев, Чуковский и Вольнский.

Сначала – жужжащая, густая приемная «Всемирной Литературы» на Невском. И Блок проходит сквозь, и как-то особенно, раздельно, твердо – берет руку – и слышен каждый слог: «Николай Степанович!» – «Федор Дмитриевич!» – «Алексей Максимович!»

Горький тогда был влюблен в Блока – он непременно должен быть на час в кого-нибудь влюблен: «Вот – это человек! Да! Покорнейше прошу!» Блок слушал Горький на заседаниях «Всемирной Литературы» так, как никого.

Еще неясно было, что мы заседаем, завинченные в летящий стальной снаряд, или, быть может, еще не устал Блок пересаживаться из заседания в заседание, но он был пока не тот, безнадежный и усталый, как позже, он срывал с якоря толстых томов не одного только Горького.

В один весенний вечер – заседание на частной

квартире. Горький, Батюшков, Браун, Гумилев, Ремизов, Гизетти, Ольденбург, Чуковский, Вольнский, Иванов-Разумник, Левинсон, Тихонов и еще кто-то – много... и один Блок. Доклад Блока о кризисе гуманизма.

Я помню отчетливо: Блок на каком-то возвышении, на кафедре – хотя знаю, никакой кафедры там не могло быть, – но Блок все же был на возвышении, отдельно от всех. И помню: сразу же – стена между ним и между всеми остальными, и за стеною – слышная ему одному и никому больше – варварская музыка пожаров, дымов, стихий.

А потом – в комнате рядом: потухающий огонь в камине; Блок – у огня со сложенными крыльями бровей, упорно что-то ищущий в потухающем огне, и взволнованные за полночь споры, и усталый, равнодушный, неуверенный ответ Блока – издали, из-за стены...

Кажется, весь этот вопрос – о кризисе гуманизма – ответвился как-то от Гейне: Блок редактировал во «Всемирной Литературе» Гейне. Работал он над Гейне необычайно тщательно и усидчиво. Помню какой-то будничной, денежный разговор – и слова Блока:

– Оплата? Какая же тут может быть оплата? Вчера за два часа я перевел двенадцать строк. И еще в комнате у меня в тот вечер было тепло, горела печь. Очень трудно, чтобы перевести по-настоящему.

Он делал все – «по-настоящему». Но все же чувствовал – ни на минуту не переставал чувствовать, что это – не то, не настоящее.

Вижу его в зале, у окна – вдвоем с Гумилевым. Тоскливое, румяное, холодное небо. Гумилев, как всегда, жизнерадостен, какие-то многообещающие проекты и схемы. И Блок, глядя мимо, в окно:

– Отчего нам платят за то, чтобы мы не делали того, что должны делать?

А за окном – опустошенное ветром, румяное, холодное небо...

В тесноте, в темноте, внутри несущегося со свистом стального снаряда – торопились заседать, одно заседание перекрывало другое. «Союз Деятелей Художественной Литературы» решил заняться в снаряде – изданием произведений изящной словесности. Составилась редакция: Блок, Горький, Куприн, Шишков, Муйжель, Мережковский, Чуковский и я. Посыпались рукописи. Блоку приходилось давать рецензии о стихах – и я помню одну его – отточенную, острую; как и всегда на заседаниях, он не говорил, а читал по написанному (и рукопись этой его рецензии сохранилась). Один из поэтов, нанятый на острие этой рецензии, просил меня достать у Блока его отзыв. Но на следующем заседании Блок сказал мне:

– Я не принес... Не нужно. Может, это ему очень важно – писать стихи... Пусть пишет.

Решили устроить журнал. Он должен был называться «Завтра» – и, помню, мне поручено было

написать что-то вроде манифеста. Там было – о круге: вчера, сегодня и завтра, и о том, что вся литература всегда о завтра и во имя завтра, и этим определяется отношение ее к вчера, сегодня: и от этого она всегда – ересь, бунт.

А потом, при пересадке с заседания на заседание – мимолетный разговор с Блоком и об этом.

Помню: на минуту, за этим – медленным, металлическим, на замке – лицом мне мелькнул человек, который трудно и больно отрывает от себя что-то. Это был первый мой разговор с Блоком – без стен. Знаю конец. Я сказал:

– Вы очень отошли от того, кем были год назад. Вы меняетесь.

Ответ:

– Да, я сам чувствую, что меняюсь.

Петербург – выметенный, опустелый; забытые досками магазины; разобранные на дрова дома; кирпичные скелеты печей. Обтрепанные обшлага; поднятые воротники; фуфайки; вязаные свитеры; и в свитере – Блок. Лихорадочная попытка перегнать нужду и какие-то новые, минутные, непрочные затеи, какие-то новые заседания – из заседания в заседание...

И вот – поздно вечером, после трех или, может быть, четырех заседаний – в одной из маленьких задних комнат «Всемирной Литературы». Столовая, под зеленым колпаком лампа; лица в тени. Налево от дверей – теплая изразцовая лежанка, и на лежанке, возле лежанки – Блок, Гумилев, Чуковский, Лернер, я – и кругленьким кубарем из угла в угол Гржебин.

Трудно починить водопровод, трудно построить дом – но очень легко – Вавилонскую башню. И мы строили Вавилонскую башню: издадим Пантеон Литературы российской – от Фонвизина и до наших дней. Сто томов!

Мы, быть может чуть-чуть улыбаясь, – верили или хотели верить. И больше всех верил Блок. Как и всегда, как и ко всему – он и к этому подошел «по-настоящему».

В пестрой, переливающейся груди – надо было увидеть какую-то закономерность, уловить ритм. И тут у Блока оказалась зоркость глаза, острота слуха такая, как ни у кого. Башню решили строить по его плану; в издательстве Гржебина где-то хранится составленный им список ста томов. И недаром в найденной среди его посмертных бумаг автобиографии он отмечает: «Ноябрь 1919 г. Составление списка ста томов». Если Вавилонская эта башня когда-нибудь будет построена – она будет одним из памятников Блоку: с такой тщательностью и точностью он сделал выбор.

В озябшем, голодном, тифозном Петербурге – была культурно-просветительная эпидемия. Литература – это не просвещение, и потому поэты и писатели – все стали лекторами. И была странная

денежная единица: паек, – приобретаемая путем обмена стихов и романов – на лекции.

Блоку в это время жилось трудно – он неспособен был на этот обмен. Помню, он говорил:

– Завидую вам всем: вы умеете говорить, читаете где-то там. А я не умею. Я могу только по написанному.

Но эпидемия все же захватила и его. Образовалась Секция Исторических Картин. Это было опять одна из Вавилонских башен: в цикле исторических пьес – показать всю мировую историю – ни больше ни меньше. Придумал это Горький и, прикованные к столу заседаний, все те же: Блок, Гумилев, Чуковский, Ольденбург, я; из других – Щуко и Лаврентьев.

Помню, с самого начала Блок в это не очень верил и говорил:

– Нельзя, чтоб искусство везло науку.

Но все-таки работал, как всегда, «по-настоящему». Все-таки это были не лекции, суррогат творчества, а к суррогатам мы уже привыкли: ели лепешки из картофельной шелухи, пили воду вместо вина. И Блок настойчиво пытался претворить воду в вино.

Одно из первых заседаний – в величественном кожаном кабинете Театрального Отдела (ПТО).

Блок читал свой сценарий исторической пьесы – не знаю, сохранился ли этот сценарий, но знаю: пьеса осталась ненаписанной. Там было любимое средневековье Блока, рыцари и дамы, пажы, мнестрели. И помню легкое пожатие плеч театрального начальства, когда это было прочитано. И сценарий был куда-то спрятан Блоком.

Было уже написано для Секции несколько пьес. Все спрашивали Блока: «Когда же вы дадите, Александр Александрович?»

– Куда там! Вот выселяют всех из нашего дома. Все бегаю, чтоб как-нибудь остаться. Вчера ездил в Смольный с письмом Горького. Завтра идти в районный отдел.

Или:

– Ну – пьеса! Вот я нынче все утро окно замазывал. И завтра надо еще в двух комнатах. Медленно, не умею...

И вот – квартиру удалось отстоять, окна замазаны. Он стал думать о пьесе.

– Вот еще не знаю: взять ли Куликовскую битву – мне это очень близко – или другое: Тристана и Изольду.

Говорил, что уж сделал какие-то наброски для «Тристана», и вдруг неожиданно – из египетской жизни: «Рамзес» – едва ли не последняя, написанная им вещь.

Прочитали. Делали какие-то замечания о «Рамзесе», Блок отшучивался.

– Да ведь это я только переложил Масперо. Я тут ни при чем.

Секции был обещан свой театр. Но нечем топить – нет дров: наши пьесы передали в Народный



А. А. БЛОК

Дом, из Народного Дома – в Василеостровский театр. «Рамзес» – в Василеостровском театре...

Случайно я узнал об этом, рассказал Блоку. Блок усмехнулся, не очень весело.

– Пусть лучше не ставят.

И Секция наложила veto на постановку «Рамзеса» и других наших пьес. Вавилонская башня наша разваливалась.

Уже весной 21-го года – одно из последних заседаний Секции. Открыто окно, трамвайные звонки, голоса мальчишек на высохшем тротуаре. И неизвестно почему – вдруг все смешно. Ни у Блока, ни у Гумилева, ни у меня – нет папирос. Гумилев у кого-то стащил и распределяет под столом. И я вижу, как у Блока исчезает какая-то тень на виске, дрожат губы от школьнического, неслышного смеха. И кажется ему смешным каждое слово в какой-то нелепой пьесе – читается пьеса, – и он заражает своим смехом.

Это был один из редких случаев, когда за эти годы я видел Блока – молодым. И, может быть, это был последний раз, когда я видел Блока.

Потом шли вместе до Невского. Очень отчетливо, вырезанно, помню: слева, от Николаевского вокзала, лезла на солнце туча, но солнце еще было, брызгало.

– Очень хочется писать, – говорил Блок. – Это теперь почти никогда не бывает. Может быть, в самом деле, отдохну и сяду...

На Садовой ждали трамвая, – все не было. Туча поползла, закрыла солнце, и сверху – как плита. И почему-то заговорили о зиме, о пещерной петербургской зиме; о том, что теперь мы, как звери, знаем лето, солнце, зиму; о том, что ему, после болезни, трудно ходить.

Над головою – туча, плита. Опять – знакомая, еле заметная, тень на виске. И у меня мысль: нет, не отдохнет, не сядет. Это только минутное солнце.

Какие-то торопливые, краткие, вагонные были эти мои почти ежедневные встречи с Блоком все три последних года. И, может быть, ближе всего вдвоем с ним и неспешней всего – я был летом 1920 года. Мне пришлось тогда вместе с ним работать над текстом и постановкой «Лира» в Большом Драматическом театре.

Помню: на репетициях – темный, гулкий, как губка вбирающий все звуки зал. За режиссерским столиком перед рампой или в первом ряду кресел – справа от меня медальный профиль Блока. На сцене – один и тот же выход в пятый, в шестой раз подряд, в пятый и в шестой раз падают, убивают. И я вижу, как нетерпеливо Блок поводит головой – будто мешает ему воротник – от каждого неверного слова и жеста на сцене.

Кончится чей-нибудь выход – по лесенке слева через рампу перелезает темная фигура и к Блоку:

– Ну как, Александр Александрович, – ничего?

Было впечатление: темный, пустой зал – полон для них одним зрителем – Александром Александровичем. Его тихих и медленных слов слушались самые строптивые.

– Александр Александрович – наша совесть, – сказал мне однажды, кажется, режиссер, Лаврентьев. И ту же фразу – как утвержденную формулу – я слышал потом не раз от кого-то в театре.

Последние – обстановочные и костюмные – репетиции кончались часа в 2, в 3 ночи. Блок всегда сидел до конца, и чем позже – тем, кажется, больше оживал он, больше говорил; ночная птица.

– Не утомляет вас это? – спросил я.

Ответ:

– Нет. Театр, кулисы, вот такой темный зал – я люблю, я ведь очень театральный человек.

На одной из таких последних ночных репетиций – вдруг стало невмочь и решил выбросить сцену с вырыванием глаз у Глостера. Помню, Блок был за то, чтобы глаза вырывать:

– Наше время – тот же самый XVI век... Мы отлично можем смотреть самые жестокие вещи...

После утренних репетиций из театра часто шли вместе на Моховую. Из позабытых, стершихся разговоров уцелели – выброшены волною на берег – только разрозненные обломки. Но если приглядеться к ним – видишь, что все они – одно.

Ясно вижу: мы, ухватившись за ремни, стоим в вагоне трамвая. Толкают, наступают на ноги – и в этой толчее конец какого-то странного разговора:

– ...А вот бывает с вами так: смотришь на себя со стороны – ты совершенно определенно в стороне, в другом углу комнаты – и видишь, себя – не себя, а чужое?

Ответ – после паузы – глаза очень далеко:

– Да, бывало. Раза три в жизни. Теперь больше не бывает... Теперь со мной ничего не бывает... – и еле приметная горечь в углах губ.

Вот идем по Бассейной, – куда, не помню. Блок в своей кепке. И голый, ни с чем не связанный, обломок – его слова:

– Дышать нечем. Душно. Болен, может быть.

И может быть, в тот же – может быть, в другой день – долгий разговор, его горькие, жестокие слова о мертвечине, о лжи.

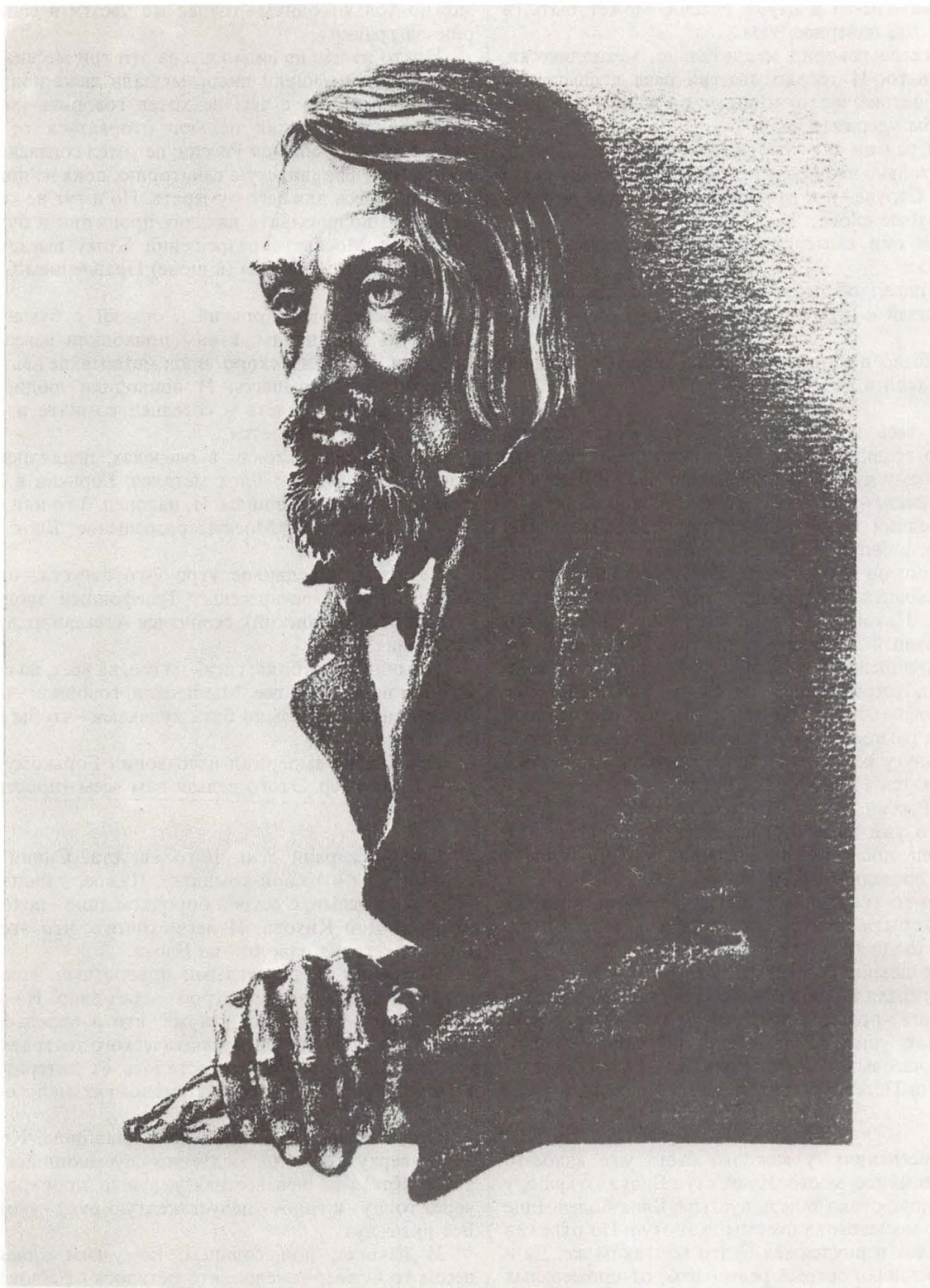
А потом, нахмурившийся, упрямо – может быть, самому себе, а не мне:

– И все-таки золотник правды – очень настоящей – во всем этом есть. Ненавидящая любовь – это, пожалуй, точнее всего, если говорить о России, о моем отношении к ней.

На каком-то заседании – у меня в руках английский журнал, и там я увидел статью о переводе «Двенадцати» Блока – под заглавием: «A Bolshevik Poem». Я показал Блоку статью. Он усмехнулся.

И потом – разговор о большевизме.

– Большевизма и революции – нет ни в Москве, ни в Петербурге. Большевизм – настоящий, русский,



А. С. ХОМЯКОВ

набожный – где-то в глуби России, может быть, в деревне. Да, наверное, там...

Он всегда говорил медлительно, металлически, холодновато. И только два-три раза я слышал в металле острое, жало – и видел: он натягивает вожжи, чтобы удержаться.

Один раз он так говорил о марксизме. Другой раз – он только что прочитал заграничную «Русскую Мысль» Струве – и я редко слышал, чтобы он брал такие грубые слова.

– Что они смыслят, сидя там? Только лают по-собачьи.

И написал об этом очень резкую статью для невышедшей «Литературной Газеты» Союза Писателей.

Это было в апреле 1921 года – перед последней его поездкой в Москву.

Блок весь из Невы, из тумана белых ночей, Медного всадника. Пестрая, по-купчески телесная Москва – ему чужая, и он Москве – чужой. Его чтения в Москве – в мае 1921 года – это показали.

Последний его печальный триумф – был в Петербурге, в белую апрельскую ночь.

Помню, он с усмешкой рассказывал – вечер его не разрешают: спекуляция, цены – выше каких-то тарифов. Наконец – разрешили. И вот доверху – полон огромный Драматический театр (Большой) – и в полумраке шелест, женские лица – множество женских лиц, устремленных на сцену. Усталый голос Чуковского – речь о Блоке – и потом, освещенный снизу, из рампы, Блок – с бледным, усталым лицом. Одну минуту колеблется, ищет глазами, где статья, – и становится где-то сбоку столика. И в тишине – стихи о России. Голос какой-то матовый, как будто откуда-то уже издалека – на одной ноте. И только под конец, после оваций – на одну минуту выше и тверже – последний взлет.

Какая-то траурная, печальная, нежная торжественность была в этом последнем вечере Блока. Помню, сзади голос из публики:

– Это поминки какие-то!

Это и были поминки в Петербурге о Блоке. Для Петербурга – прямо с эстрады Драматического театра Блок ушел за ту стену, по синим зубцам которой часовым ходит смерть: в ту белую апрельскую ночь Петербург видел Блока последний раз.

На заседаниях – у каждого было уже какое-то свое, привычное, место. И вот стул Блока – с краю, у самого окна, стоял теперь пустым: Блок болен. Еще зимой – с месяц стоял пустым этот стул. Но отлежав месяц, Блок вернулся как будто все таким же. Да и что особенного: острый ревматизм, от промерзлых домов – у кого этого теперь нет в Петербурге? Никто не думал, что этим неособенным, обыкновенным – уже исчислены удары его сердца. И неожиданно было, когда узнали: это серьезно, и спасти его

можно только одним – тотчас же увезти в санаторию за границу.

Никто из нас не видал его за эти три месяца его болезни: ему мешали люди, мешали даже привычные вещи, он ни с кем не хотел говорить – хотел быть один. И никак не мог оторваться от ненавистной – и любимой России; не хотел согласиться на отъезд в финляндскую санаторию, пока не понял: остаться здесь для него – умереть. Но и тут не хотел ни за что подписывать никаких прошений и бумаг. Письма в Москву о разрешении Блоку выезда за границу были написаны (в июне) Правлением Союза Писателей.

В Москве был Горький. Горький с бумагами ходил по инстанциям; к нам приходили известия: обещали, выпустят, скоро. Блок метался: не хватало воздуха, нечем дышать. И приходили люди, говорили: больно сидеть в соседней комнате и слушать, как он задыхается.

Мы заседали; стояли в очередях; цеплялись за подножки трамваев; Блок метался; Горький в Москве ходил по инстанциям. И, наконец, 3-го или 4-го августа пришло из Москвы разрешение: Блок мог уехать.

Ветреное, дождливое утро 7-го августа, – одиннадцать часов, воскресенье. Телефонный звонок – «Алконост» (Алянский): скончался Александр Александрович.

Помню: ужас, боль, гнев – на все, на всех, на себя. Это мы виноваты – все. Мы писали, говорили – надо было орать, надо было бить кулаками – чтобы спасти Блока.

Помню, не выдержал и позвонил Горькому:

– Блок умер. Этого нельзя нам всем – простить.

Синий, жаркий день 10-го августа. Синий ладанный дым в тесной комнатке. Чужое, длинное, с колючими усами, с острой бородкой лицо – похожее на лицо Дон Кихота. И легче оттого, что это не Блок, и сегодня зарюют – не Блока.

По узенькой, с круглыми поворотами, грязноватой лестнице – выносят гроб – через двор. На улице у ворот – толпа. Все тех же, кто в апрельскую белую ночь у подъезда Драматического театра ждал выхода Блока – и все, что осталось от литературы в Петербурге. И только тут видно: как мало осталось.

Полная церковь Смоленского кладбища. Косой луч наверху в куполе, медленно спускающийся все ниже. Какая-то неизвестная девушка пробирается через толпу – к гробу – целует желтую руку – уходит. Все ниже луч.

И наконец – под солнцем, по узким аллеям – несем то чужое, тяжелое, что осталось от Блока. И молча – так же, как молчал Блок эти годы – молча Блока глотает земля.

1921 год

НЕИЗВЕСТНОЕ ПИСЬМО НИКОЛАЯ КЛЮЕВА: ИСТОРИЯ НАХОДКИ

Самое удивительное в этой истории – личность московского библиофила В. С. Михайловича, которому удалось разыскать письмо замечательного поэта Николая Клюева.

Виктор Самойлович – человек, что называется, «от сохи». Он прошел путь от простого рабочего до бригадира мебельщиков. Но поражает его эрудиция – он большой знаток русской литературы начала нынешнего века. Назовите какой-нибудь тонкий сборничек более или менее известного поэта, вышедший этак лет семьдесят назад, и Михайлович почти всегда подробно расскажет о нем: когда и где вышел, каковы были тираж и читательская судьба книги.

Но еще удивительнее – собрание книг и автографов этого человека. Виктор Самойлович достает из ящиков конверты с письмами, рукописями, сборники с дарственными надписями. Здесь представлены крупнейшие прозаики и поэты – А. П. Чехов, Ф. М. Достоевский, А. А. Блок, И. А. Бунин, С. А. Есенин, В. В. Маяковский и десятки, десятки других.

Вот он протягивает два тетрадных листика: они исписаны торопливыми, страстными строчками.

– Это письмо Николая Клюева, – объясняет Виктор Самойлович. – Когда-то мне его уступил вместе с первой книгой поэта «Сосен перезвон» наш старейший букинист Александр Иванович Фадеев. Письмо адресовано большому другу Клюева – Сергею Антоновичу Клычкову. Трагичной была жизнь этих самородков. И, думается, настоящая большая слава еще ждет их впереди. А пока что прочтите это послание...

Ниже приводится текст этого письма (явные описки исправлены, пунктуация, где это необходимо, приближена к современным нормам).

Милый друг!

Благодарю тебя за письмо, за память и добрые слова¹. Я очень болен. Пять месяцев пролежал в больнице, вынес две крайне болезненных операции. Был нарыв в кишках, потом заражение крови. Страшно и вспоминать. Много пролито слез за это время: за бедность, за сиротство очень обидно. Вышел из больницы едва жив – черные круги в глазах, – притащился в свой угол – первой заварки чаю и то нет.

Теперь я очень слаб. Денег нет, и есть нечего. За Плач о Серезеньке Прибой заплатил двести рублей. Из них одному санитару за ночные дежурства у моей кровати пришлось заплатить 93 руб. за месяц и один день – считая по три руб. в сутки. Я обращался за милостью в Московский союз писателей. Но вот уже больше двух месяцев прошло после посылки заявления², но ответа нет никакого. Усердно прошу

¹ 25 ноября 1926 г. Клычков писал Клюеву (Музей ИРЛИ, р. 1, № 84219): «Дорогой Николай! Очень тоскую по тебе, хотел бы очень повидаться. Может, ты прибудешь в Москву, у меня квартира большая под Москвой (3 версты от заставы), пожил бы у меня. Хочется, хочется мне с тобой душу отвести. Любящий тебя Сер(гей) Клычков». (Это и все последующие примечания написаны С. И. Субботиным.)

² Это заявление (вместе с официальным сопроводительным письмом) сохранилось в архиве Всероссийского Союза писателей: «В московский отдел Всероссийского Союза писателей Николая Клюева заявление. Прележав

тебя, узнай и поспрашивай – почему союз, уважая все просьбы даже людей, к искусству не причастных, – пренебрег моим насущным и удостоверенным надлежащими подписями и печатями заявлением?

Я никогда не обращался в союз за помощью, я горд был этим. В страшные голодные годы от меня никто не слышал просьб. Но сейчас я очень слаб. Ходить не могу, – а если и хожу, то это мне дорого обходится. Помогите, Сергей Антонович. Пострадай за меня маленько. Век не забуду. От многих умных и уважаемых людей я слышу негодования на статью Городецкого в Новом Мире об Есенине и обо мне¹. Следовало бы Новому Миру отнестись осторожнее к писаниям Городецкого и, глубоко уважая его за честность и преданность красному знамени, принять во внимание и мое распутиное бытие. Я еще по〈ка〉² не повесился и не повешен, и у меня есть перо и слова более резонные и общественно нужные, чем статья Городецкого. Или Новый Мир этого не допускает и считает мое убожество неспособным тягаться с такими витязями, как Городецкий? Или все это вытекает из общего понимания, что шоферы нужнее художников? Я бы сердечно хотел с тобой повидаться, ты ведь остался из родных поэтов для меня последним, но у меня нет денег на проезд в Москву – нужно рублей 15–20 – билет стоит 12-ть руб., да извозчик, да от вокзала до тебя – прямо. У меня в Москве негде головы преклонить. Прошу тебя – поговори с «Огоньком», не издаст ли он книжечки моих стихов. Дал бы любопытный материал, под интересным названием. Умоляю тебя, сделай это, и напиши ответ! Пришли мне свой новый роман, я им очень – по отрывкам – обрадован³. Извини, что все письмо я пересыпал просьбами, но видишь, как я встревожен. Есть нечего. Из угла гонят. Весь износился. Хожу в подолгу нестираных, и по сто раз заплатаемых, рубахе и подштаниках. Смотреть противно. И болен, болен.

пять месяцев в больнице и перенеся две изнурительных операции, крайне нуждаюсь в материальной поддержке, о чем и усердно прошу Московский Союз писателей. Николай Клюев. Адрес 〈...〉» (ИМЛИ, ф. 157, оп. 1, ед. хр. 10, л. 82). Оно было отправлено в Москву 5 октября 1926 г. (там же, л. 81); следовательно, комментируемое письмо Клюева послано адресату в декабре 1926 г.

¹ «О Сергее Есенине: Воспоминания» («Новый мир», 1926, № 2, с. 138–146). Регулярно включалась в сборники воспоминаний о Есенине (1965, 1975, 1986). Вошла в кн.: Городецкий С. Избранные произведения. Т. 2. Проза. М., 1987.

² В оригинале слово не дописано.

³ Роман Клычкова «Чертухинский балакирь» первоначально печатался в «Новом мире» (1926) и в том же году был выпущен отдельным изданием. Книга эта (очевидно, позже присланная автором Клюеву) вызвала со стороны последнего такой отклик: «Низко тебе кланяюсь за твою прекрасную книгу Балакирь. После Запечатленного ангела (повесть Н. С. Лескова. – С. С.) это первое писание – и меч словесный за русскую красоту. Радуюсь и величаюсь тобой!» («Oxford Slavonic Papers: New Series», 1984, vol. I. XVII, p. 108; публикация Г. Маквея по оригиналу письма Клюева Клычкову, хранящегося в ЦГАЛИ).

Еще раз прошу тебя ответить на это письмо в скорости.

Адрес: Ленинград, улица Герцена, 45, кв. 8.
Низко тебе кланяюсь

и целую братски.

Николай Клюев.

Речь в письме идет о книге Николая Клюева и П. Н. Медведева «Сергей Есенин», увидавшей свет в издательстве «Прибой» в 1927 году, — рассказывает Михайлович. В этой книге Клюев впервые полностью опубликовал поэму «Плач о Сергее Есенине». Отрывки из нее были напечатаны еще 28 декабря 1926 года в вечерней «Красной газете».

В «Огоньке» стихи Клюева не вышли. Последний при жизни автора сборник избранных стихов («Изба и поле») появился в 1928 году в том же ленинградском издательстве «Прибой».

Это письмо очень важно. Оно проливает дополнительный свет на те трудные годы в биографии поэта, о которых мы знаем пока очень мало. Ведь неизвестны даже точная дата и обстоятельства смерти этого замечательного человека, ушедшего из жизни в печальной памяти тридцать седьмом...

Валентин Лавров

Георгий Иванов 1894–1958

Георгий Иванов связан прежде всего с городом на Неве и с поэзией «серебряного века». По воспоминаниям современников, это был типичный представитель петербургской богемы, едва ли не еженощно просиживавший в артистическом подвале «Бродячая собака» — «невероятно красивый, гладкий, будто майоликовый». Ему посвящали стихи И. Северянин, О. Мандельштам, А. Ахматова. Имя его несколько раз упомянуто в «Дневниках» Блока. Лидер акмеизма Н. Гумилев, сблизившись с Ивановым, ценил его как поэта, умело владеющего словом.

Всегда тщательно прописанные стихи Иванова тех лет схожи с романтическими пейзажами или театральным действием в манере художников «Мира искусств».

— Какой хороший поэт Георгий Иванов, — обмолвился однажды К. Чуковский, — но послал бы ему господь бог простое человеческое горе, авось бы в его поэзии почувствовалась и душа!..

Критик как в воду глядел.

В 1922 году вместе с женой, поэтессой Ириной Одоевцевой, Иванов выехал из России («в свадебное путешествие»), которое обернулось эмиграцией. В Париже с ним произошло второе рождение: поэт осознал, чего он лишился.

На чужбине растаял холодок эстетизма в стихах Иванова, они наполнились живой болью потери Родины. О доле поэта-эмигранта он скажет вполне определенно:

Как обидно — чудным даром,
Божьим даром обладать,
Зная, что растратишь даром
Золотую благодать.

И не только зря растратишь,
Жемчуг свиньям раздаря,
Но еще к нему доплатишь
Жизнь, погубленную зря.

В «Посмертном дневнике» Иванов выразил заветное желание: «Вернуться в Россию — стихами». И оно осуществилось.

Георгий Иванов — мастер лирической формы, лучшие его стихи достойны того, чтобы их знали соотечественники. Они задевают отчаянием, гневом, иронией, привлекают удивительной пластичностью изобразительных средств. Горький урок судьбы поэта глубоко поучителен и, как всякое большое несчастье, вызывает отклик сочувствия.

Михаил Шаповалов

* * *

Пожалейте меня, сир!
Я давно позабыл мир,
Я скитаюсь двенадцать лет,
У меня ничего нет!
«Для того, чтоб таких жалеть,
У меня хорошая плеть,
У меня молоток — гвоздь
Прямо в кость, дорогой гость».

* * *

Черная кровь из открытых жил.
И ангел, как птица, крылья сложил...

Это было на слабом весеннем льду
В девятьсот двадцатом году.

Дай мне руку, иначе я упаду —
Так скользко на этом льду.

Над широкой Невой догорал закат,
Цепенели дворцы, чернели мосты.

Это было тысячу лет назад,
Так далеко, что забыла ты.

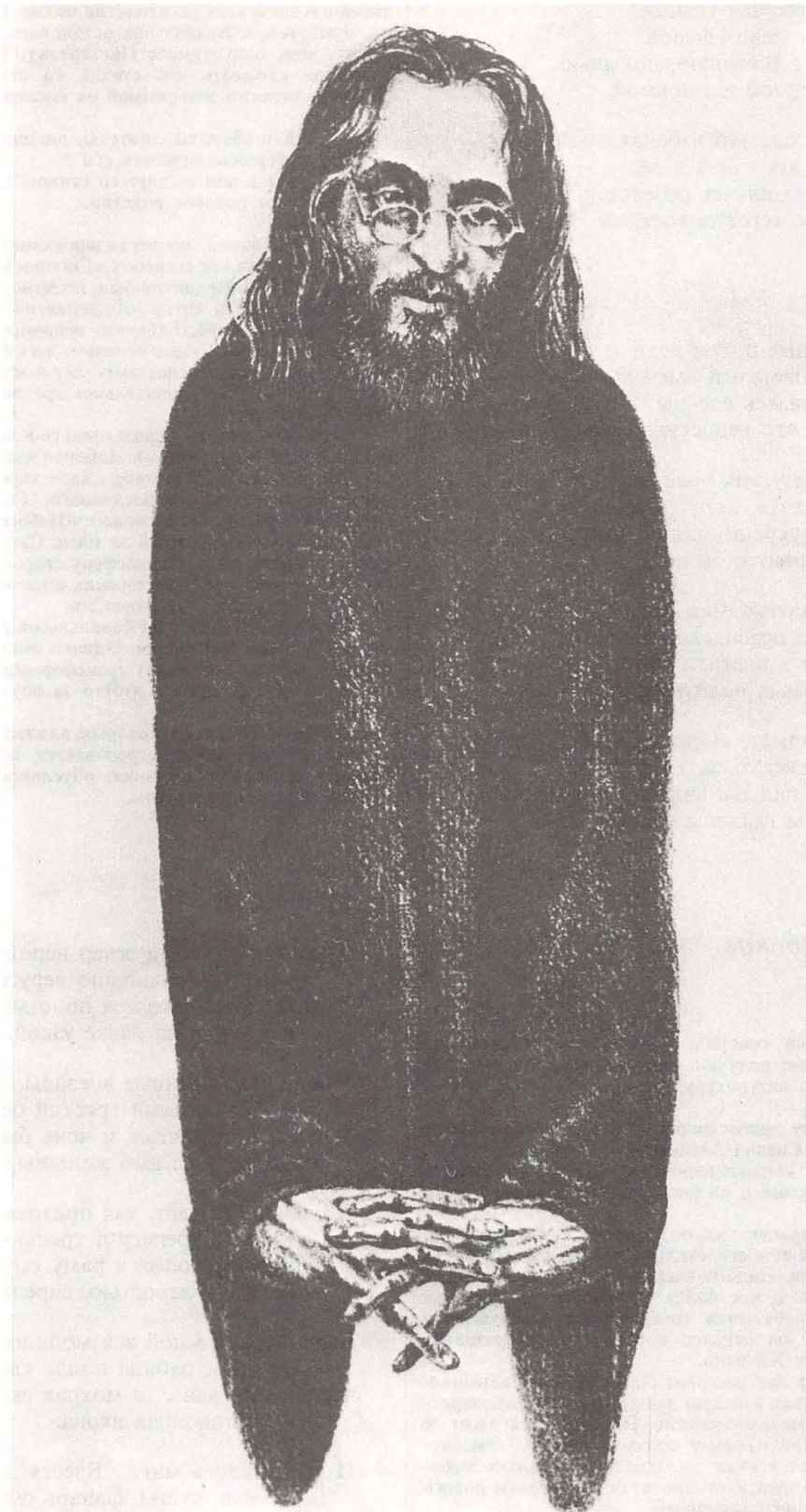
* * *

О высок, весна, твой синий терем,
Твой душистый клевер полевой.
О далек твой путь за звездами на север,
Снежный ветер, белый веер твой.

Вьется голубок, Надежда улетает.
Катится клубок... О, как земля мала.
О, глубок твой снег и никогда не тает,
Слишком мало на земле тепла.

* * *

Мертвый проснется в могиле,
Черная давит доска.
Что это? Что это? — Или
И воскресенье тоска?



П. А. ФЛОРЕНСКИЙ

И воскресенье унынье?
Скучное дело – домой.
... Тянет Вольтыню, полынью,
Тянет сумой и тюрмой.

И над соломой избенки,
Сквозь косогоры и лес
Жалобно плачет ребенок,
Тот, что сегодня воскрес.

* * *

Восточные поэты пели
Хвалу цветам и именам,
Догадываясь еле-еле
О том, что недоступно нам.

И эта смутная догадка,
Полу-мечта, полу-хвала,
Вся разукрашенная сладко,
Тем ядовитее была.

Сияла ночь Омар` Хайяму,
Свистал персидский соловей,
И розы заплетали яму,
Могильных полную червей.

Быть может, высшая надменность:
То развлекаться, то скучать,
Сквозь пальцы видеть современность,
О самом главном – промолчать.

Владимир Набоков
1899–1977

О себе Набоков говорил: «Американский писатель, родившийся в России; получил образование в Англии, где изучал французскую литературу; пятнадцать лет прожил в Германии...»

Славу Набокову принесли романы: на русском языке под псевдонимом В. Сирин («Машенька», «Защита Лужина», «Отчаяние», «Дар», «Приглашение на казнь»), а с 1940-го уже под своей фамилией и на английском («Пинн», «Лолита», «Ада» и др.).

Но начинал Набоков как поэт, писал стихи почти до конца дней своих, и том его стихотворений – важная часть творческого наследия. Надо подчеркнуть: если прозаик Сирин-Набоков с годами все более отдалялся от традиций русской прозы, вырабатывая свой, особый, остраненный стиль, то как поэт он остался в общем русле развития отечественной поэзии XX века.

В стихах разных лет эмигрант Набоков часто обращался к Родине, раскрывая русскую душу, плач ее о невозвратном. Поэтическое мировосприятие Набокова тяготеет к точным деталям, предметному зримому образу. Эмоциональный эффект в его стихах достигается не столько выбором темы, сколько смещением акцентов, открытием нового в привычном и незаметном старом.

Когда-то в молодости Набоков дал клятву И. А. Бунину: «...ни помыслом, ни словом не согрешу пред музою

твоей». Конечно, за десятилетия поэзия Набокова менялась, но, думается, к Бунину она оставалась по духу своему ближе, чем, допустим, к Пастернаку. Критикам, которые находили схожесть его стихов со стихами Пастернака, Набоков ответил эпиграммой на последнего:

Его обороты, эпитеты, дикция,
стереоскопичность его –
все в нем выдает со стихом Бенедиктова
свое роковое родство.

Для Набокова, пропагандировавшего Пушкина англоязычным читателям (перевод «Евгения Онегина» и комментарий к нему), Бенедиктов был, понятно, примером не поэта.

Известно, что автор «Лолиты» профессионально занимался энтомологией. Бабочки – неперенные герои прозы и стихов Набокова. Недолговечные, легкие, пестрые создания много давали его изощренному уму и зоркому глазу художника. Он высказал удивительное предположение: «Мы – гусеницы ангелов...»

Относясь к своему призванию со всей ответственностью («Мне бог велел звучать»), Набоков часто бывал склонен к улыбке, к пародии. В романе «Дар» хороша сцена поэтического вдохновения, ниспосланного Годунову-Чердынцеву (автобиографический персонаж): «Небосклон направлял музу к балкону, указывая ей на клен. Свечи, плечи, встречи и речи создавали общую атмосферу старосветского бала, Венского конгресса и губернаторских именин. Цветы подзывали мечты, на ты, среди темноты...»

Рождение стихов с их банальными рифмами передано с мягкой иронией понимания. Однако смех как жизнеутверждающее начало («Стихи») трансформируется к концу 30-х годов в горький сарказм («Что за ночь с памятью случилось...»).

Главное богатство, которым владел Набоков, – неспорченный русский язык – переливается в его стихах всеми гранями смысла и звучания, обусловленными по преимуществу лирическим кругом.

Михаил Шаповалов

В ПОЕЗДЕ

Я выехал давно, и вечер неродной
рдел над равниною нерусской,
и стихословили колеса подо мной,
и я уснул на лавке узкой.

Мне снились дачные вокзалы, смех, весна,
и, окруженный тряской бездной,
очнулся я, привстал, и ночь была душна,
и замедлялся ямб железный.

По занавеске свет, как призрак, проходил.
Внимая трепету и тренью
смолкающих колес, я раму опустил:
пахнуло сыростью, сиренью.

Была передо мной вся молодость моя:
плетень, рябина подле клена,
чернеющий навес, и мокрая скамья,
и станционная икона.

И это длилось миг... Блестя, поплыли прочь
скамья, кусты, фонарь смиренный.
Вот хлынула опять чудовищная ночь,
и мчусь я, крошечный и пленный.



К. К. СЛУЧЕВСКИЙ

Дорога черная, без цели, без конца,
толчки глухие, вдох и выдох,
и жалоба колес как повесть беглеца
о прежних тюрьмах и обидах.

УТРО

Шум зари мне чудился, кипучий
муравейник отблесков за тучей.
На ограду мрака и огня,
на ограду реющего рая
облокачивался Зодчий дня,
думал и глядел, не раскрывая
своего туманного плаща,
как толпа работников крылатых,
крыльями блестящими треща,
солнце поднимает на канатах.

Выше, выше... Выше! Впопыхах
просыпаюсь. Купол занавески,
полный ветра, в синеватом блеске
дышит и спадает. Во дворах
по коврам уже стучат служанки,
и, пальбою плоской окружен,
медяки вымалывает стон
старой удивительной шарманки...

СТИХИ

Блуждая по запущенному саду,
я видел в полдень в воздухе пустом
двух бабочек глазастых, до упаду
хохочущих над бархатным пупом
подсолнуха. А в городе однажды
я видел дом: был у него такой
вид, словно смех он сдерживает; дважды
прошел я мимо и потом рукой
махнул и рассмеялся сам; а дом, нет,
не прыснул: только в окнах огонек
лукавый промелькнул. Все это помнит
моя душа; все это ей намек,
что на небе по-детски Бог хохочет,
смотря, как босоногий серафим
вниз перегнулся и наш мир щекочет
одним лазурным перышком своим.

ЛЫЖНЫЙ ПРЫЖОК

Для состязаний быстролетных
на том белеющем холму
вчера был скат на сваях плотных
сколочен. Лыжник по нему

съезжал со свистом; а пониже
скат обрывался: это был
уступ, где становились лыжи
четою ясеневых крыл.

Люблю я встать над бездной снежной,
потуже затянуть ремни...
Бери меня, наклон разбежный,
и в длинной пустоте—распни.

Дай прыгнуть, под гуденье ветра,
под трубы ангельских высот,
не семьдесят четыре метра,
а миль, пожалуй, девятьсот.

И небо звездное начнется,
легко под лыжами скользя,
и над Россией пресечется
моя воздушная стезя.

Увижу инистый Исакий,
огни мохнатые на льду
и, вольно прозвенов во мраке,
как жаворонок, упаду.

В РАЮ

Моя душа, за смертью дальней
твой образ виден мне и так:
натуралист провинциальный,
в раю потерянный чудак.

Там, в роще, дремлет ангел дикий,
полулавлинье существо.
Ты любознательно потыкай
зеленым зонтиком в него,

соображая, как сначала
о нем напишешь ты статью,
потом... но только нет журнала
и нет читателей в раю.

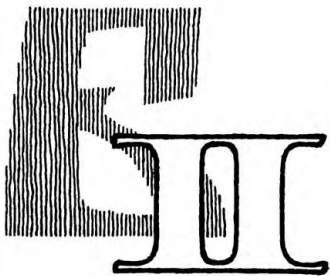
И ты стоишь, еще не веря
немому горю своему:
об этом сонном синем звере
кому расскажешь ты, кому?

Где мир и названные розы,
музей и птичьих чучела?
И смотришь, смотришь ты сквозь слезы
на безымянные крыла.

ЧТО ЗА НОЧЬ С ПАМЯТЬЮ СЛУЧИЛОСЬ

Что за ночь с памятью случилось?
Снег выпал, что ли? Тишина.
Душа забвенью зря училась:
во сне задача решена.

Решенье чистое, простое
(о чем я думал столько лет?).
Пожалуй, и вставать не стоит:
ни тела, ни постели нет.



ВОЙСКО ПЕСЕН

*Сегодня снова я пойду
Туда, на жизнь, на торг, на рынок,
И войско песен поведу
С прибоем рынка в поединок!*

Велемир Хлебников

Сергей Смирнов

КНИЖКА ЗАПИСНАЯ

Стершаяся книжка записная
С алфавитом адресных листов.
Вот листаю и почти не знаю:
С кем, как прежде, встретиться готов?

Кто из вас способен для ответа
На мое сердечное – «Алло»?..
Большинство не просто скрылось где-то,
А на веки вечные ушло.

Большинство растаяло в просторе
Самом невозвратном на веку,
Будто бы объявлен мораторий
На любовь, на дружбу, на строку.

И глядишь, бывшее вспоминая,
И немеешь, выводам не рад.
Вот что значит книжка записная,
Вся в плену прощаний и утрат...

...Ой, развейся, возрастное иго,
И вот так – чаруй по временам:
Вся Земля как адресная книга –
Вечность...
До востребованья...
Нам!..

Новелла Матвеева

НЕЛЮДЬ, НЕЖИТЬ И НЕЧИСТЬ

Всякий, кто машет оружием ядерным, – нелюдь.
Всякий, кто машет химическим, – собственно, нежить.
Кто же бактерию держит оружием – нечисть.
Грубо? Что делать... Ничем не могу вас утешить!

* * *

Журнальный «перестройщик» ворошить
Боль прошлого нам хочет разрешить.
Нам?! Ах, не нам... Всем?! Ах, не всем! Но тем
лишь,
Кто гласность-то и встарь умел душить.

* * *

А вот я не люблю, если вдруг уберут запятую
Или точку – нарочно! Тут лезть «авангарду»,
но я протестую;
Я о точках над «Е» (карамзинской находке!)
тоскую.
Юность яростным взмахом, как вихрем верховного
званья
(Правда, знанье не вихрь, а цветок, что растет
из молчанья),

Как препону снесет – уберет ломоносовский знак
 Знамо: рушить – не строить. Но я залихватства,
 Над вещами времен – не люблю. Будь то знак
 Или храм – на костях и копейках народа простого.
 Скажут: «Надо бы юность понять! И самой
 Как-то сделаться в мыслях опять...
 Истребленных вещей мне и в юности... жаль было
 Или юность и «юность» бывают совсем –
 ну совсем! – меж собою несхожи?»

Александр Межиров

НАДПИСЬ НА КНИГЕ

Очередь за водкой еще движется,
 Ранний зимний наступает мрак.
 Книга, книжка, маленькая книжица
 Складывается примерно так
 (За шагом шаг).

Полоса, как говорится, средняя,
 Железнодорожный рядом путь.
 Книга, книжка, книжица последняя
 Сложится, наверно, как-нибудь.

Я, конечно, понимал заранее,
 Нелицеприятным будет суд
 И мое ужасное название
 Пошлым и безвкусным назовут.

И поскольку нет прорабов духа,
 Сборной духа в этой книжке нет,
 Для нее название – «Бормотуха» –
 Я придумал в духе этих лет.

А на тротуаре мразь такая,
 Столько лет не метено,
 Что, в мое название не вникая,
 Книжицу затопчут все равно.

Екатерина Шевелева

ДУША МОЕГО ПОКОЛЕНИЯ

Это слово «душа»
 было как бы запретным у нас.
 Люди жили, спеша
 в свой черед добежать до аврала.

Лишь порой,
 в неожиданный миг или час,
 Нечто светлое
 около нас пролетало.
 Ты стоишь у окна
 после смены ночной,
 После ритма неровного, строгого гула.
 Город смиренный еще –
 как звереньш ручной.
 Осторожное облако
 в цех проскользнуло.

Или ты – наяву! – на балете в Большом,
 Про усталость забыв после смены.
 И внезапно к тебе, на галерку, дошел
 То ли луч, то ли отблеск со сцены.

Мы работали гордо.
 Привыкли к своей нищете.
 Мама в церковь ходила.
 Истекала слезами в молитве.
 Не богатства просила –
 справедливой судьбы для детей.
 Вскоре умер мой брат.
 От сыпного.
 Дима. Дмитрий.

Как-то раз мы снимали
 сухое белье на дворе.
 Вытирая лицо от горячего пота,
 Я сказала:
 – Почудилось что-то.
 Птичья трель?
 Или ветер взметнулся,
 крахмально шурша?

Мать ответила:
 – Это душа.
 Всех живых и умерших.
 Тех, для кого долгий век предназначен,
 И тех, для кого – лишь мгновения.
 Это – душа, не иначе.
 Душа твоего поколения.

Миновало с тех пор много лет.
 Слышу, словно решение суда:
 «Твоего поколения нет.
 Да и не было никогда!»
 ... Лес молчит, чуть дыша.
 Ни малейшего дуновения.
 Затаилась душа
 моего довоенного поколения.

Георгий Зайцев

ДЕНЬ ВОСЬМИДЕСЯТЫХ

(Хроника)

– Падает курс валют...
– Век реактивный лют...
– В Припяти в норме фон...
– Черная быль – не сон...
– Шарик наш хрупок, мал...
– Люберы бьют «металл»...
– ...В моде верлибр. Сонет
Сходит, видать, на нет...
– Родина, что поешь?..
– Весь виноград под нож...
– ...Мяса в достатке... Сад
В этом не виноват...
– Средних ракет гудеж –
В спину народов – нож...
– Свадеб – полсотни в год –
Двадцать один развод!..
– ...Стингер душманам...
– Рок –
Всем нам большой упрек...
– СПИД наступает, рак...
– Радиоактивный страх...
– Пьяниц миллионы! Русь,
Я за тебя боюсь!..
– Дожили! Эта шваль
Шастает в «Националь»...
– У Пугачевой муж...
– Семь невинных душ:
«Челенджер» – в ключья!
Стресс!..
– «Контрас» помог конгресс!..
– ...Рек поворот. Беда,
Если уйдет вода!..
– Пленум решил...
– Вина?! –
Сверху всегда видна...
– Нет, человек – не слеп!..
– Выручит бабка НЭП!..
– Не уходи, постой!..
– Наш разговор – пустой!..
– Землетрясение в...
– Похорошили Вы!..

Суточный рацион
Слухов, статей, имен.
Строки, обрывки фраз –
Все прошивает нас:
Боли,
 любовь,
 мечты...

А посредине –
 ты.

ПАРАДОКСЫ

Прошли уже десятки лет,
Но вновь сознательно, не слепо,
Чтоб мясо было на обед,
Внедряем мы законы НЭПа.

Молчали дружно мы, когда
Все выгребалось – все до крохи –
У хлебопашца. Шла страда
Уже не сталинской эпохи.

И вот итог: внедряем НЭП
В ее почти старинной форме,
Чтоб наш насущный черный хлеб
Пустил надежнейшие корни.
И ни один из нас не смог
Предвосхитить судьбы упреков...
О время – вещий диалог
И усвоение уроков!
Идет народная страда,
Нас жизнь заставила не слепо
Внедрять, что выбили тогда
С весьма простой идеей НЭПа.
Хозяин нужен до сих пор
Землице, транспорту, заводу...
Идет серьезный разговор:
«Вся власть – советскому народу!»

Н. Королева

* * *

Разбирая ящики письменного стола,
Погружаюсь душою в студёные воды.
Сколько я десятилетий уже прожила!
Я писать начала – как любить начала –
В пятидесятые годы.

Для меня не был вехой Двадцатый съезд.
На меня только ужасом тюрем дунуло.
А что главное в жизни – не жизнь, а честь –
Мое поколение и раньше так думало.

Окруженные истинами известными,
Мы старшим верили и не тужили.
Надо быть честными – мы и были честными.
Честные живут бедно – мы бедно жили...

Мне только жаль мою бедную бабушку.
Она каждый день в магазин ходила.
Там были бочки икры и фруктовые башни,
И много чего еще в магазинах было!

Вот только денег у нас и тогда было мало
(Кормильца семья наша похоронила).
Бабушка покупала сто граммов масла
И между окнами его хранила.

Она была труженицей простою
И объяснение находила:
Что коммунизм наш почти построен,
Только на всех его не хватило.

Голодали ее внуки, болели дети.
Но идеалы ее были стойки.
Как подумаю, сколько десятилетий
Не дожила она до перестройки...

Олег Дмитриев

* * *

Мало быть к Москве причастным,
Штампик в паспорте иметь.
Надо быть к Москве пристрастным:
Знать, что золото, что медь.

Надо в матушку-столицу
Быть влюбленным без ума,
Надо, как знакомых лица,
Знать старинные дома.

Знать все улицы на память,
Переулки назубок –
Да столица велика ведь...
Это вряд ли кто бы смог.

Раньше варварские орды
Рушили дома, дворцы, –
А сейчас, собою горды,
Архитекторы-«творцы».

Мало, гневаясь для виду,
Кулаками потрясать –
Надо стольный град в обиду
Никому не дать, спастись!

Как московские фанаты,
Забывая свой покой, –
Щербаковские палаты,
Древний вяз на Поварской.

Коль Москвой ты возгордился,
Коль Москве отдался весь,
То не важно, где родился:
Значит, ты москвич и есть!

Лишь сердечность и участие
У Москвы сейчас в цене:
Коренным быть –
Это счастье.
А исконным –
Так вдвойне.

МУДРОСТЬ ГЕНРИ ТОРО

«Суди о своем здоровье
По тому, как встретишь рассвет!»
Говаривал Генри Торо,
Прозаик, мудрец, поэт.

«Суди о своем здоровье
По тому, каков ты весной!» –
Говаривал Генри Торо,
Скиталец, житель лесной.

Он жил в своем тихом доме,
Дыша листвою и травой.
...Я знаю встающих утром
С тяжелой головой.

Им тьма застилает солнце,
Отвратен покой и труд.
Они – что весна, что осень –
Не сразу и разберут.

Они за вчерашний вечер,
Веселый, пустой, хмельной,
Наутро упрямо платят
Неслыханною ценой.

Какое уж там здоровье,
Какая уж там весна!..
Над мудростью Генри Торо
Задумайся, старина.

Запомни слова поэта,
Желавшего всем добра:
Бесценны часы рассвета,
Бесценна весны пора!

Лариса Васильева

* * *

Спасибо. Мне сегодня можно
сказать о прошлом что хочу
и пошутить неосторожно,
не опасаясь, что шучу.

Спасибо. Я могу без страха
обманом называть обман,
увязывать со словом «плаха»
страницы жизни – не роман.

Спасибо. Я могу молчаньем
привлечь, а также отпугнуть
и неожиданным звучаньем
привычное перечеркнуть.

Спасибо...
Говорить «спасибо»
за право быть самой собой?
Какая вновь нависла глыба,
зачем нависла над судьбой?

ВОСПОМИНАНИЕ

Приснилось – ушедшее лето,
дождей нарастающий шум,
насмешливый голос поэта,
напрасный скрывающий ум.
Великий талант пропивая,
упрямо не пропил его,
на ветер стихи проливая,
не пролил в стихах ничего.
И мне его слово досталось
в награду за верность и грусть,
и все, что мне в жизни осталось:
запомнить стихи наизусть.

Приснилось ушедшее.
Утро
настало и снова ушло.
Поэтом предсказано мудро
все в будущем – даже число.
Однако в самом предсказанье
мне слышен и виден почти
отчетливый отзвук страданья
за наше прозренья в пути.

Валерий Хатюшин

ВЫРУБКА

По утрам с тротуаров сгребают
клочья грязной пожухлой листвы...
Вековые дубы вырубают
на старинных аллеях Москвы.
Посвалили дубы, постарались,
и подстригли пустынный газон,
чтобы наши глаза упирались
в темно-серый асфальт и бетон.
Чтобы копоть машин, как зараза,
в нас проникнуть могла без труда,
чтобы к запаху смрадного газа
мы привыкли уже навсегда.
Все слабее над нами, все глуше
шум деревьев, дыхание рек,
чтобы наши иссохшие души
очерствели, померкнув навек.
Чтобы грохот и скрежет металла
поражал наш измученный слух,
чтоб эстрада сердца сокрушала,
притупляя природный испуг.

Чтоб последние чувства живые
в нас добил металлический рок...
Вырубают дубы вековые,
и все гуще над городом смог.
Листья в пыльные кучи сгребают.
Город красный неон погасил.
Вековые дубы вырубают
те, кто храмы недавно сносил...

Владимир Федоров

ЕРМОЛОВА И МОСКВА

Голову нагнула низко-низко.
Снег на горделивой голове.
Первая народная артистка
Кланяется матушке-Москве.

Совесьь наша, слава, гордость наша
Сквозь дожди и сквозь бураны шла.
Чудится ей молодая Маша,
Что Москву со сцены потрясла.

Вот она – то немка, то испанка,
То вешунья, Орлеана дочь.
Страстный голос, дивная осанка.
Ты, Мария, волю напророчь!

Блещут молнии, грохочут грозы.
Грянул, грянул грозный пятый год.
И Шалапин утирает слезы
И тебе «Дубинушку» поет.

Я хочу, чтобы вы вместе стали
В бронзе там, где площадь широка,
Вместе на гранитном пьедестале
Над Москвой, над Русью, на века.

Ах, Кручинина! Твоя кручина
Пусть растает! Пусть исчезнет грусть!
Уж поверь: нет, ты нашгла не сына,
А нашла раскованную Русь.

Голову нагнула низко-низко,
Снег на горделивой голове.
Первая народная артистка
Кланяется матушке-Москве.

Вадим Семернин

ПЕСНИ РУБЦОВА

Наконец-то запели Рубцова.
Но на странной эстрадной волне –
На электрогитарной струне...
Он, конечно, хотел не такого!

«Буду долго гнать велосипед...»
Это строчка почти что Рубцова!
Но поэта в мелодии нет,
Никакого цветка полевого!..
Волосатый товарищ поет.
Что он знает об этой картине?
О поэта суровой судьбине?..
Как бессмертно бессмертник цветет?
Были девочки – словно цветы,
В скромных ситцевых платьях с цветами,
Были тоже простыми мечты –
Словно ласточки под небесами!
Но эстрада,

как общий вагон,
Что прицеплен в хвосте у состава...
И Рубцова уже саксофон
Исполняет и слева и справа!
Эх, российская наша гармонь,
Неужели бы ты подкачала!
И в душе возникает – огонь,
Возмущенья святого начало.
Песня – надо, чтоб в душу вошла,
Чтобы голосом чистым звучала,
На окраину вышла села
И собою луну закачала...
Чтоб цвела перекатами слов,
Не была безразлично пропета,
Чтобы в ней –

узнавался Рубцов
И мечты непростые поэта!..

Виктор Парфентьев

* * *

Не все я понял в наших новых планах,
Делячество – совсем не по душе...
Конечно, Петр в чужих учился странах...
Мы учимся у всех давно уже...
Учиться надо, только не пустому,
И песни петь не те, что там поют.
Пора любовь иметь к родному дому,
А то у дома стены устают
Держать залетных мастеров искусства,
Корячащихся и ревущих в дым.
И просыпается во мне такое чувство –
Набил бы морду, был бы молодым,
Всем – и чужим, и нашим менеджерам,
Пустившим их сегодня на помост.
Ну ладно б в поле – пусть бы пели хором,
А то над нами воют в полный рост.
На Волге помидоры, как капуста,
А мы их покупаем у друзей,
Не знаю только: из какого чувства?
Не знаю только: из каких затей?

Антоновку мы травим пороссятам,
Все тот же плод бульдозеры секут.
Хотел бы я взглянуть в пятидесятом
На тех, кто применил мартышкин труд!
Я слышу: «Ты опять о нашем прошлом?..»
В дни перестройки говорю: «Опять!
И о плохом в те годы, и хорошем
Негоже добрым людям забывать».

Станислав Золотцев

ФРОНТОВИКИ ВОСЬМИДЕСЯТЫХ

Смертным хрипом исходит полночный эфир,
и красны голубые экраны.
Рядом с нашей землей разорвавшийся мир
стал похож на открытую рану.
Кровью наших парней горный воздух пропах
на Востоке, седом и степенном...
Снова в селах, в станицах, в больших городах
плачут матери – как в сорок первом.

... Там на каждом шагу поджидают ребят –
необстрелянных, юных, зеленых –
и ракетный огонь, и старинный булат,
и свирепость врагов закаленных.
Даже в шуме базара, жужжа, как пчела,
под лопатку впивается пуля.
... Нет, недаром романы писались вчера
о цветущих деревьях в Кабуле.

И, на той необъявленной, долгой войне
обожженные смертью и зноем,
возвращаются парни к родной стороне –
и уже не находят покоя.
Их уже никакой не пугает запрет.
Их победы – больней, чем утраты.
И салюты не всходят в честь этих побед,
как всходили они в сорок пятом...

Михаил Беляев

БАЛЛАДА О ПРИШЕДШЕМ С ВОЙНЫ

Он пришел, чтоб снова жить,
Побывав в могилах.
Перебить живую нить
И война не в силах.

Он единственный из всех
В бой ушедших братьев,
Смерть и под землей отверг
Всех погибших ради.

Он пришел, чтоб рассмотреть
Торжество победы,
Мать, чтоб жизнь могла допеть,—
Облегчить ей беды.

И увидел вдруг: в тепле
Три цветут усадьбы:
Трех предателей в селе,
Как три грома, свадьбы.

Матери сказал: прости,
Видишь это горе,
Злом вселенским прорасти
Может каждый корень.

Прах стряхнул он с плеч своих,
Свет веселый застя,
Он предателей—троих!—
Вытащил из счастья.

В прошлое велел взглянуть! .
Их, от встречи сникших,
Он послал в горящий путь—
Привести погибших.

Чтоб сорвали с них огни,
Привели живыми,
И на свадьбах чтоб они
Сели молодыми.

Чтоб защитники земли
Были средь влюбленных,
Чтобы девушки могли
Выбирать достойных.

К огненной пошел меже
Он с троими тоже...
Никого из них уже
Не видали больше...

Владимир Андреев

СНЕГА

В Москве давно я одичал
Без снега,
Без снега вольного,
Надежного, как друг.
И скрип его,
Забытый, как телега,
Не радует,
Не обостряет слух.
Таков наш век,
Что по его закону
Зажат и снег в железное кольцо.
И я как будто с ним по телефону
Все говорю, забыв его лицо.

Но помню, знаю степи Оренбуржья.
Там всё—покой и воля, всё—снегам.
Там солнца шар и шерсть его верблюжья,
Дробясь, искрится колко по холмам.
Снегов степных я видел свет и сухость.
Виднее бог, когда снега одни.
Они от нас, как и могил сутулость,
Незримою чертой отделены.
И все же нечто,
Близкое, родное,
Учуёт кровь порывисто.
И вмиг—
Во мне вдруг вспыхнет давнее раздолье,
Себя узнав в просторах снеговых.
Я вижу снег так искренне, так слепо,
Что постигаю, как бы наобум,—
Сошедший облик узнанного неба,
Безмолвье белых нерожденных дум...

Юрий Лакербай

ВСТРЕЧА

С поля идет мой двоюродный брат.
О, как оно круто, братнино поле!
И отвожу я глаза поневоле,
Будто я встрече этой не рад.

В чем виноват я?
Какой еще грех
Добавил я к жизни своей бестолковой?
Вечный глашатай рощи ольховой,
Ключ рассыпает серебряный смех...

Что же стою я, грустный такой?
Кончились странствия, дома я снова!
Вечный дозорный поля родного,
Листья роняет дуб вековой...

Я перед братом и полем крутым,
Этой землей, каменистой и ржавой,—
Нищий...
Да нет же—хуже, пожалуй,—
Мот, превращающий золото в дым!

Магомед Ахмедов

ПРИЗРАК

Скользкой походкой ко мне приближается призрак,
в душу мне целят глаза, леденящие кровь.
Жизнь разлагая на части бесплотною призмой,
что он маячит на стыке двух разных миров?

Призрак спешит и, легко контактируя с каждым, кружит, дурачит толпу, неизменный оплот мыслей двусмысленных и устремлений миражных, чтоб через нас обрести долгожданную плоть.

В славе софитов поэт – вот ходячий, но призрак... Или величье диктатора – полный мираж! Гений безликой бездарности – вот его признак, – времени временщиков узаконенный страж.

Я поражаюсь, но как она все-таки властна, скользкая логика призрака – только свяжись! Скользкие, жизни свои начиная прекрасно, призраком жизни упившись, прохлопали жизнь.

Призрак сливается с тенью. А в этой химере всем человеческим родом не сыщешь конца. Есть что-то в жизни непризрачное, я уверен. Царство теней – мы оставим его мертвецам!

Мы, слава богу, живые. Мы злы и капризны, если пытаются призраки с толку нас сбить. Мой Дагестан, я люблю тебя ох как не призрачно. В призрачный хлам я тебя не позволю ридить.

*Перевод с аварского
А. Еременко*

Лидия Григорьева

ДЕБЮТАНТЫ СЕМИДЕСЯТЫХ

Коль круто замешено тесто,
вовек калача не испечь.
Мы жили в эпоху подтекста:
натужна ненужная речь.

Поэзия стала бесценной,
доступной, как хлеб дармовой.
Мы были как голос за сценой,
едва различимый, живой.

Стою я в рядах поредельх
ровесников в бедных пальто.
Свободны вполне. Но в пределах...
Безвестны пока. Но зато

ни горя, ни лесоповала,
уверенность в завтрашнем дне...
И «гибель всерьез» миновала.
И жизнь миновала вполне.

* * *

Проплывает мимо лебедем
разудалое житье.
Не востребовано временем
поколение мое!

Не востребовано ранее...
Но не пушено под нож
ни насмешкой, ни попраием,
ни бесправием. И все ж

мы наказаны неверием
в прописные чудеса.
На Ягоду и на Берия
как закрыть теперь глаза?

Жить от праздника до праздника...
Сколько душ, еще живых,
маринуется в запасниках,
за шкафами, в кладовых?!

Не сказали слова нового:
и державный стих не спас...
Как художника Филонова,
нас держали про запас!

И в науке и на службе мы,
соблюдая политес,
были лишними, ненужными,
записными мэнээс!

А порой старались очень ведь
в труд вложить и пыл, и дар.
Отстояли свою очередь –
только кончился товар!

Меж торжественными датами
коротали вечера.
И остались кандидатами
в золотые мастера!

Григорий Калюжный

* * *

На улице с утра метет,
Дымятся снежные заносы.
Пилот-инспектор задает
Мне злободневные вопросы.

И происшествий боль и грусть
Я в строгом смысле разбираю.
Воздушный Кодекс наизусть,
Словно Есенина, читаю.

Инспектор предан небесам,
В его глазах закон – искусство.
Взять «Наставленья», я и сам
В нем нахожу живое чувство.

И не случайно, что всерьез
Я рассказал ему толково
О правилах обхода гроз,
Как в документе, слово в слово.

Давно я с грозами знаком,
Притом душевно, не заочно.
И с первых встреч так ни о ком
Не думал вежливо и срочно.

Как гость, вращаясь в их кругу,
«Прощайте», – я твердил наивно.
Из опыта сказать могу,
Что ими я любим взаимно.

Не только в небе – на земле
Они меня не оставляют.
Вокруг меня, во мне сверкают,
Как угольки в ночной золе.

.....
Как мне найти успокоенье
От гроз людских со всех сторон?
Молчит об этом «Наставлень»,
Молчат инспектор и закон.

Венедим Симоненко

ВСЕЧЕЛОВЕК

Могущественный, властвующий ритм,
Ритм сущего, всей мыслимой природы,
Меня преобразует и творит,
Во мне гудит победно этот ритм
Неодолимой творческой свободы.
Все нераздельно, неразрывно с ним.
Он в смене дня и ночи, лет и зим,
В тьме гибели – и в светлом воскрешенье,
В разгуле глупости и мудрости прозренья.
Он – легкий лепет волн – и гром прибоя,
Он – грохот бурь – и сладкий день покоя,
Подземных сил молчание и рев,
Рожденье – и падение миров...
В моих дерзаннях этот вещий ритм
Дух творчества бессмертный мне дарит.
И через жизни жизнью, через смерти
Я наведу мосты в иные тверди!
Что в грезах мысли – обрету в руках
В иных тысячелетьях и веках.
Я в вечности, не терпящей пустот.
Я тело вечности, я вещество веществ,
Цвет мироздания, разум всех высот.
Мерцающих галактик и окрест:
Я есть, и я гряду!..

Петр Кучуков

* * *

Построим показательный поселок
У Окружной дороги, под Москвой.
И будем утверждать, что в наших селах
Проблемы счастья нет как таковой.
В столовых – золотые ложки-плошки,
Наваристые щи и терпкий квас...
Вокруг домов – асфальтовые стежки
Проезжим дипломатам напоказ.
Без выбоин бетонные дороги,
Без выщербин железные мосты...
В полях – порядок идеально строгий,
У каждой фермы – словно недотроги –
С подстриженными челками кусты.
В медалях у доярок сарафаны,
Рубахи трактористов – в орденах...
Парторг – как благодетель неустанный,
Директор – что Владимир Мономах...
Россия-мать! Сбылись твои мечтанья –
Ни явного, ни тайного врага...
Страдания твои ушли в преданья...
Забывлось, как играют расставанья
Сельчанам, наострившимся в бега.
Здесь каждый – патриот села и – гений!
А благодати сколько – боже мой!

Почто ж не жить в придуманной деревне –
У Окружной дороги, под Москвой...

Борис Рябухин

МАЛЬЧИК У ДОМА

Вьется пыль годов далеких
вдоль по улице булыжной.
Мальчик возле дома
крепость воздвигает из песка.
И чего бы он ни строил
для себя или для ближних,
По ветру, в лицо ударив,
рассыпается пока.
На завалинке осевшей
шепчет нищая старушка.
Учит жить на подаянья,
от стыда не пряча взор.
В щель сует клочки бумаги,
в каждом – табаку понюшка.
Той нужды понюхал мальчик –
и чихает до сих пор.

Мы вернулись домой, а товарищи наши – остались.
И на первый-второй, и на мертвый-живой рассчитались.
И доносит до Инда вода из афганской криницы
голубые глаза и от копоти черные лица...

Маргарита Ногтева

БРАТСКИЙ ОСТРОГ В КОЛОМЕНСКОМ

У башни острожной сегодня играет малыш,
Замок колупая лопаткой своей осторожно,
И падает ржа на траву, словно высохший лист.
Не знает малыш назначения башни острожной.
Далёко в Сибири стоял деревянный острог.
Свирепо зияют его ледяные глазницы.
Гремя кандалами, ступал на высокий порог
Бунтарь-протопоп в заскоруждой своей власянице.
И намертво дверь за ним сторож угрюмый замкнет,
И грозно забьет колотушкой в морозную полночь.
И злая заря обагрит прокопченный киот
С всевидящим Спасом...

А дальше?..

Всего не упомнишь...

Но глас Аввакума взрывает дремучую тишь:
Отчизна! Ты помнишь своих бунтарей и пророков?!
И, мирно играя у башни острожной, малыш
Впервые услышит столетий прерывистый рокот,
Впервые почует холодную даль и печаль
Заречных просторов,

оранжевый всполох осенний,

Ленивых костров лиловатый удушливый чад
И гул самолетов, похожий на шум вознесенья...

Маргарита Алигер

КОНЕЦ

Анна Ахматова умерла в санатории
«Подмосковье» 5 марта 1966 года.

Она внесла торжественное тело,
высокомерно посмотрев вокруг.
Огромная столовая гудела,
как в жаркий полдень медоносный луг.
Огромная столовая жевала
и обсуждала, какова еда.
К ней обращались,

и она кивала

и отвечала коротко: «Да, да...»

И, может, вспоминала ненароком
свой город, обезлюдивший, глухой...

Там жизнь прошла...

Но в жарком и далеком
Ташкенте тоже хлеб бывал сухой.
Она прошла по светлым коридорам,
среди кактусов, цветов, цветочных ваз,
с единственным достоинством, которым
навсегда отличается от нас.
И, поправляя на ночь изголовье,
она сказала спутнице своей:
– Прелестное, однако, «Подмосковье».
Давайте поправляться поскорей.

Она уснула или задремала
иль не смогла уснуть иль задремать.
О господи, мы знаем слишком мало,
и самой сути не дано нам знать.
И не дано нам знать, ни что ей снилось,
ни что ей вспоминалось наяву.
Она блаженствовала или же томилась,
но твердо понимала: «Я живу».
И может статься,

очень может статься,
в единственный неповторимый миг
она решила,

нет, ничуть не сдаваться,
а стать сильнее людей, событий, книг,
последней книгой, чистой и вечной,
не знающей обиды и суда.

Она проснулась в радости беспечной,
приняв решенье: это навсегда.
Она проснулась, улыбнулась людям,
сказала людям:

– Стоит ли спешить?

Вы как угодно, а вот мы не будем,
нам некуда... –

И умерла, чтоб жить.

А люди суетились, провожая
И отпевая.

И весна была.

И мы не понимали, сколь живая,
сколь, наконец, бессмертная она.
Сколь, наконец, он прям и независим,
ее безмерный путь, ее удел.
Она уже летела к синим высям,
а мир еще на мертвую глядел.

* * *

Все умерли,

а я еще жива

и помню все высокие слова.

Но кажется порой,

на склоне лет:

слова остались те же,

смысла – нет.

* * *

Проходит ночь – от света и до света.
И сутки – от луны и до луны.
Ни на один вопрос мне нет ответа,
а все они тревогою полны.
Ни ликовать, ни плакать не умея,
среди житейских тягот и забот,
мне кажется, что я живу в Помпее
и что Везувий тронется вот-вот.

Анфиса Иванова

МОЕ ПОКОЛЕНИЕ

Путь по пеплу,
Сквозь огонь и дым,
Выпал нам,
В то время молодым.
Шли мы по истерзанной
Земле
С вещмешком,
С винтовкой на спине.
Сколько б в мире ни было
Тревог,
Сколько б в мире ни было
Дорог, –
Пусть не будет
У детей пути
Тяжкого, что нам
Пришлось пройти.
Алый стяг подняли
Над рейхстагом
Наши кровь, и мужество,
И разум.
Наша воля к миру,
Наша честь –
Это в каждом русском
Было, есть.

Михаил Савельев

* * *

О мой незабвенный крестьянский род,
Ты – кладезь по-своему новых примет.
Проедет машина –
Никто не посмотрит ей вслед,
А кони промчатся –
У каждого сердце замрет.

Ну а давно ли мы в жизни искали иные черты,
Волновали тяжелую кровь,
Орали до ярости, до хрипоты,
Славили индустриальную новь!

И думали: главное в этом –
В грохоте мощномоторных вахт.
Теперь же все это, что нами воспето,
Привычно, как пенсионер-космонавт.

Открылась охота на бабкины прялки,
На вещи, где дышит вечность,
В них все-таки есть человечность,
Такие вот елки-палки!

Тому прибавляется, кто имеет.
Отнимается у неимущего.
Быть может, бывшее над нами довлеет
Сильней настоящего и грядущего?

И этот нежданно-лихой поворот
Бороздку по сердцу ведет...
Проедет машина –
Никто не посмотрит ей вслед,
А кони промчатся –
У каждого сердце замрет.

Александр Медведев

СУЖДЕНИЕ О НАРОДОСТРОИТЕЛЬСТВЕ

Бывает так: в течение стиха,
в чередованье мерных стоп и пауз
кометой

вдруг

вторгается строка
с огнем и мраком из вселенских пауз
иль как щелчок земной изглубока.

И тут мы чуем, как удар под дых,
какая совершается работа,
когда идет – не смена часовых,
а сдвиг эпох, базальтов временных
и самосотворение народа.

Не знаю, позавидуют ли нам,
помянут ли добром и миром даже,
но вижу я: как в мельтешне коллажа
в толпе событий и чрез весь бедлам
как бы лицо на холоде стекла
История творящаяся кажет.

Народ – он кто? Попробуй крикни: «Эй!» –
прохожей сутолоке площадей,
позору очереди магазинной –
и тех, кто обернется, рот разиня,
сочти народом – иль в ученой скуке
«что есть народ» отмеряй по науке
от нелюдей и от людей.

На оклики из той монгольской тьмы
опять оглядываются умы—
неужто рабство в нас извечно живо?
А где закладочка?—да вот она:
о русском нраве грусть Карамзина.
(Вот кстати к самокритике призывы!)

Мы помним, как же: «Кто с мечом придет к нам,
тот от меча...»—

а если враг тих?
Персты—то четки теребят, то к счетам
сухой щепотью тянутся... забота
единая и вечная у них!

Слабейший—побеждает; безоружно
над сильным воцаряется! Таков
закон, что крепче стали харалужной,
дамасских сизо блещущих клинков.

В селе у нас, где в тыщи верст округа
и поле в даль из дали—как волна,
мы говорим: «Народная заслуга».
Но как сказать: «Народная вина»?

Кто виноват? Куда-то в небо тычем,
на виноватых—судей снова кличем,
и вот—в косяк,
в этапный клин сгоняет стража их,
и—в дальний край, что бездне пограничен.
Так чья вина?—И делается всяк
косноязычен, словно этот стих.

Как горы содвигаются—в гримасах
сверженья и подъятия хребтов,
народный нором вдруг, единым часом
меняется в горнилах городов.

Мы слышим из глуби удары гула
предвестьями событий и трудов.
Столетия лепят строй души и скулы.
Но наш портрет не кончен, не готов.

Софья Петренко

* * *

Ты прости меня за постоянство.
Все еще лелею и таю,
Пронеся сквозь годы и пространства,
Нежность неразумную свою.

Кажется, что может сохраниться?
Был невинный—той поры—роман.
Вижу я: на вешалке лоснится
Меж других—твой кожаный реглан.

Я в карман его антоновское спелое
Яблоко кидаю поскорей—
И не в первый раз такое делаю.
Улыбнешься выходке моей.

И, к полету новому готовый,
Знаю, вспомнишь хоть на миг меня...
Упаси их, боже, от огня!
Да вернутся живы и здоровы.

Татьяна Веселова

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Как будто сговорились все поэты—
Писать о том, какую быть войне,
О том,

каким
предстанет лик планеты
По нашей, человеческой вине.

Никто воображеньем не обижен.
И вот, уже заранее скорбя,
Мы

страшные порой картины пишем
И чувствуем пророками себя.

Затем ли тщимся,
о язык родимый,
Употребить могущество твое,
Чтоб кто-нибудь
детальней и правдивей
Сумел изобразить небытие?

Доколе
это
нам считать за доблесть
И, прикасаясь к струнам вещей лир,
Лепить
войны
«художественный образ»—
Тогда как до конца не слеплен мир?

Ведь как бы мы о смерти ни писали
И что бы мы ни думали о ней,
В конце концов мы понимаем сами
То, что реальность может стать страшной!

Какой же толк от нашего служенья,
Когда мы знаем все наверняка,
Что описание средств уничтоженья
Не поддается средствам языка?

Страх умереть—простительное чувство,
Поскольку смерть—исчезновенье, прах.

Но в наше время
 грош цена искусству,
Которое из страха сеет страх!

Я вижу в нем не просто беспокойство,
А чуть ли не с провиденьем родство.
Но отдает покорностью какой-то
Зловещая догадливость его.

Иль мы слабы? Иль мы не служим людям?
О кто-нибудь,

 в конце концов решишь
Произнести: «Я знаю –
 город

 будет!» –
Не смерть предвидя в будущем, а жизнь.
И тот пророк, кто веру даст народу,
Великому народу своему.

А вещей дар, отпущенный природой,
Сослужит службу добрую ему!

Лада Одинцова

ПРИВЕТ РЕВОЛЮЦИИ!

Пройденное,
 отпусти, прошу добром.

Прошлое,
 ты молниєю перечеркнуто.
В гуле сотрясается ракетодром.
 Гладкость – к черту!

Жизнь, скажи, что сделала со мной?
Вся я – забинтованная робостью.
Но вихор пробился золотой
 гребною лопастью.

Отдеру от старых ран бинты –
Все равно не заживают!
С теми, кто боится прямоты,
 разрываю!

Сатанинское лукавство бытия
Лет семидесятых

 изъедало
Сердце мне.
 О, как я выживала!
За спасенье чем платила я!

Ложь въедалась, как табачный дым.
На пирушке хрипла я в веселье винном.
Я платила голосом своим –
 больше было нечем –

Соловьиным!
Проходила молодость вот так,
Юные вот так летели годы.
Ни тебе сражений, ни атак,
Ни боевых походов!

Было все у нас как будто тишь да гладь
Всюду: справа, слева от Урала,
Что хотелось лечь да помирать.
Я и в самом деле помирала.

Если деды гибли в семнадцатом от пуль,
Если в сорок первом

 отцы
 ремни затягивали туже.
То и мы хотели
 взяться за державный руль.

Чем мы были хуже?

«Молоды!» – с трибуны сволокивали нас.
«Поучать старейшин? Непочтительно и рано!
Повоюйте с наше!» – укоряли ветераны.
Молодецкий пыл бунтовал и гас.

Если нравственные ценности семидесятых лет
Создавались кем-то у барной стойки,
То сейчас мы боремся за перестройку!
Новой

 революции
 привет!

Николай Котенко

ИСХОД

Как еще все это было так недавно:
Как легко снимали мы любой вопрос!
Знать, недаром все нагрянуло. Недаром
Нам грозил стихийным бедствием прогноз.

Но прогнозам в наше время – кто же верит?
Мы беспечно продолжали наблюдать
Те тайфуны из Австралий и Америк,
Что экраны успевали передать.

Мы экраны на футбол переключали,
Мы в честь гола поднимали звучный тост.
Мы не ведали, не думали, не ждали,
Что однажды к нам заглянет этот гость.

Что ж, теперь мы – в самом череве тайфуна,
Нас не минул, поглотил нас этот ад.
Здесь ни сметливость не выручит, ни шхуна,
Смерть – по курсу, и отрезан путь назад.

Мы надеемся еще помочь друг другу.
Но в хаосе растворились голоса.
Я еще тебе протягиваю руку,
Но беспомощна она, как и глаза.

Вот такая, значит, плата за беспечность...
А ведь нас предупреждали – не ловчи!
Под ногами – ощущаешь? – бездна-вечность,
Хоть над нею не юродствуй – помолчи...

Владимир Савельев

* * *

Только ты себя побереги...

Т. Кузовлева

Жизнь мы прожили за половину.
В Красновидове клен да рябину
посажу я под нашим окном.
В цепь золотую впелись мы судьбою,
в той цепи оказавшись с тобою
не последним, похоже, звеном.

Мы и выси, и глуби, и дали
накопили, а не повидали.
И, в своей ощущая крови
вещий оклик семейного долга,
буду жить я, клянусь тебе, долго –
только ты меня переживи.

Передумай меня. Перепомни
все и полночи наши и полдни.
Клен глядеть будет в наше окно
да рябина – как дочка на выданье.
Жить да жить нам с тобой в Красновидове –
в том, что сутью и видом красно.
Станут в гости к нам жаловать внуки.
Наши встречи и наши разлуки
не допустят размыва любви.
И, покорный призыву наитья,
постараюсь подольше прожить я –
только ты меня переживи.

Борис Авсарагов

* * *

Плоть, безумствуя, требует свадеб,
Карнавалов, оркестров, пиров.
И беснуется ряженым сватом
Наважденье из винных паров.

Только возраст глядится смиренно
В зеркала – и теснит тебя страх.
И похоже, что самозабвенно
Ты стареешь во всех зеркалах.

Мне б дожить до последнего тоста
В состязанье с бесплотной судьбой.
И тогда я умру от несходства
Этой жизни с красавицей – той.

Валентина Коростелева

* * *

Не молчим, не стонем боле.
Пишем без прикрас.
Но зачем, как с флагом, с болью –
Миру напоказ?

Впитаться в прошлое зубами –
Завтра не видать.
Наши боли – наша память.
Что ж о них орать?

Чтоб понравиться Европе,
Рифмою звеня,
На тревожном повороте
Камни – под коня?!

...Так один-то по тревоге
На подмогу мчит,
А другой-то у дороги
«Караул!» кричит...

Диомид Костюрин

* * *

Я поехал туда,
Куда жаждут немногие,
По дороге прямой –
Нет дороги прямой.
Я поехал туда,
Где ютятся убогие
Ветераны Священной войны
Без семей.

Их вносили,
Вводили
В халатах служители.
Мало сам кто пришел.
Собрались наконец.

Орден густота
В сей непышной обители
Вопрошала:
«Зачем ты собрал нас,
Юнец?
Что ты скажешь нам,
Коли такое всем выпало,
Что не дай бог услышать,
Не то что узнать?..»

Со стихами тетрадка
Из рук моих выпала.
«Я убит подо Ржевом...» –
Громко начал читать.

Тут знакомо им все,
Я подумал,
Как в скверике.

...Со Звездой Золотою
Боец без лица
Вдруг упал,
Покатился,
Забился в истерике:
«Я убит подо Ржевом»,—
Твердя без конца.

Леонид Хрилёв

* * *

Как долго правда к людям шла!—
ее не раз беда встречала,
с весною жизни разлучала,
лишала радости, тепла.

Кто брал ее под локоток,
кто мрачно думал: «Доигрались...»
Ее лучи зажечь старались
В душе ответный огонек.

Брела дорогою своей.
Пришла. Упрямая. Святая.
На нас глядит, как мать седая
на повзрослевших сыновей.

Сергей Поделков

ГЕРБ ГОРОДА СЫКТЫВКАРА

Медведь, ты—сердце мое в берлоге.
Из раннего стихотворения

Он иноходью шел через лето,
малину ел, наслаждался вволю
и в сентябре тайком на рассвете
лакомился на овсяном поле.

Когда в предзимье вступала осень,
мороз усилился понемногу,
среди тонких ржавых мачтовых сосен
он лапами рыл себе берлогу.

Сначала он обошел окрестность,
нет ли вблизи следов человека;
стал выгребать, топчась на месте,
глубь земли в одряхлевшей засеке.

Прядала белка, шишки роняя,
и треск сорок долетал все реже.
Он встал, работой обуреваем,—
справно ломила сила медвежья!

По чурбаку с боков положил он,
долго с бревном возился, упрямо,
так, что в теле напряжились жилы...
Под лапником зазяла яма!

Залегши грузно, как рыцарь, в гроте,
закрывши лаз лещиной, как тенью,
голые пятки поджав, в дремоте
видел медовые сновиденья.

А время плыло—морозно, жгуче,
а время в снегопаде качалось,
и заносило медвежью участь
бугром сугроба... Спи, спи, усталость!

Блаженствует добровольный узник,
он похрапывает величаво...
Как же случилось, как он был узан,
как окружила его облава?

Там, где парок плыл, там холм отлогий,
собачья свора брала медведя,
и с ревом, заспанный, из берлоги
он зябко вылез, космато-меден.

Собаки, лая, рвались, смелели,
собаки отскакивали невольно.
А на глазах его сны висели,
пасть—как колокол на колокольне.

В снегу, пошатываясь косолапо,
дышал встревоженно, как астматик,
шел как ребенок, вздымая лапы,
на острие двух косых рогатин.

Стой, стой!
Еще лишь одно мгновенье,
на острие напорешься грудью...
Зверь, дорогой мой, мое виденье,
я им скажу, ненавистным людям:

«Что вы сделали, браконьеры?»
Заряды выбрасывают из ружей,
ломаю рогатины—их веру!—
отгоняю псов разъяренный ужас.

Вернись обратно, широкогрудый,
вернись скорей, не реви так яро,
в берлогу ляг и гляди оттуда,
будь навсегда гербом Сыктывкара.

ОПРОКИНУТЫЙ СОНЕТ

Ночь. Степь. Ты слышал ли когда-нибудь
в распадинах, в оврагах, на равнине –
детеныши сосут природы грудь?

Остановись! Замри посередине,
почувствуй наслажденья всхлип и всхрап,
и всплеск воды, и перебежку лап.

И тени хмурые вблизи видны,
и ржанье жеребенка издалёка.
В логу, в кустах – тумана поволока,
при волчьем солнце пашут кабаны.

Мышкуют лис, двух перепелок спор,
рев выпи, скрип угрюмый коростеля,
сосцы травы хрустят, трещат растенья...
Вдали упавшая звезда – костер.

Виктор Смирнов-Фролов

* * *

Спрессовано было
В ней много труда.
Живою была,
А теперь вот –
Мертва...
На улице Разина
Рокот и пыль –
Зачем же я
Древнюю кладку
Разбил?

Не кладка! –
Узоры!
Гляди –
Не дыши!
Не кладка,
А залежи
Русской души!

Шар-баба, шар-баба,
Ты – мощный снаряд...
Однако
Чему ты, начальник,
Рад?..

На улице Разина
Рокот и пыль –
Зачем же я
Древнюю кладку
Разбил?

Ярослав Васильев

ВЕСНА НА РУДНИКЕ

Огрузший снег. Помои у барака.
Повсюду угольная пыль.
Все это выплыло из мрака,
И звонко лаяла собака,
А на сарае прел горбыль.

И очерстевшие от стужи,
В одежде горного труда,
Шутили люди неуклюже,
И руки стискивали туже,
И шли под землю, как всегда.

И только там, во тьме кромешной,
С немой рудой наедине,
Вгрызаясь в недра безутешно,
Они смеялись так безгрешно,
Что камень цвел на глубине.

Виктор Федотов

ЕЩЕ ВЧЕРА

Я вижу ленты за ранение
на офицерских кителях,
как нам, им выпало сражение
на окровавленных полях.

С героями Афганистана
мне интересно говорить,
мне не одна досталась рана,
и я убитым мог бы быть.

Десантной роты капитану
с такой знакомою судьбой
напоминать о том не стану,
что знал и пострашнее бой.

Но отчего-то, отчего-то
в душе завидую ему,
еще вчера за ним шла рота,
ему лишь веря одному.

Сергей Крыжановский

ЖРЕБИЙ

Еще он жив,
Твой самый кровный враг,
Он спит и видит,

То под видом юриста,
То под видом русиста,
То под видом сексота,
То под видом марксиста.

До чего же я знаю
Всю-то вашу породу.
До того уже знаю,
Что хоть с камнем да в воду!

Ибо все-то мы вместе
Любим выпить по двести
И мухлюем свой грошик
Из проржавленной жести...

Ах ты Кузя мой, Кузя,
Дорогуша братеник!
Заложил ты, брат, совесть
За мочалку и веник,

Заложил ты, брат, совесть
Да и пращуров тоже.
Получай же, салага,
Да по родственной роже!

И пускай это слово
Для тебя и не ново,
Получай это слово
И глотай его снова –

За всю жись твою честну,
За ухмылку известну...
А не то и взаправду
Кулаком тебя тресну.

ОБРАЩЕНИЕ НЕОФИТА К НАРОДУ У ДВЕРЕЙ ПЕРВОГО ХРИСТИАНСКОГО ХРАМА

Древним проповедникам

Это – скиния такая, это – горница святая,
Это – Господа Иисуса Дом Воскресшего Царя,
Посмотрите, посмотрите: это – скиния такая!
Это – храмина святая! Это – Новая Заря!

Это – хижина совета, церковь Нового Завета,
Ибо Старого Завета закрывается Ковчег!
Посмотрите, посмотрите: сколько ласки и привета!
Сколько радости и света, несказанного навек!

И гласится в этой вере: будьте люди, а не звери!
Это нам в небесной сфере золотой сияет крест!
Это я вам – Неизвестный – говорю у этой Двери:
Заходите, заходите! Не гнушайтесь этих мест!

Эти гулкие хоралы! Эти свечи, эти Лики!
Эти своды и порталы, что восходят над толпой!
И склоняются пред ними в прахе римские владыки,
Простираются, рыдают и стучатся головой.

И пускай там запустела и сгорела Самария
И под цезарской стопой издымился Рушлаим,
Заходите, заходите, истомленные, глухие,
Воздохните за вратами, пред которыми стоим.

Заходите, заходите, будьте люди, а не звери.
Эй вы, отроки и дочери у погасших алтарей!
Это я вас призываю: заходите в эти Двери!
Ибо стал я христианин, а вчера был фарисей.

Посмотрите, посмотрите: сколько ласки и привета!
Сколько радости и света, несказанного навек!
Это – храм земли грядущей, церковь Нового Завета,
Ибо Старого Завета закрывается Ковчег.

АЛЕКСЕЮ ВОИНУ

Ах, Алеша, Алеша! Тяжела твоя ноша,
Тяжела твоя ноша – обопрись на костыль.
Ах, не ты бы, Алеша, – нам давно бы – калоша,
Дорогой наш Алеша, золотой богатырь.

Эти подлые свеи! Эти злые евреи!
Эти все Асмодеи – и Давид, и Расул!
Без твоей булавини, без твоей здоровини
Кто бы их отодвинул, кто бы их припугнул?

Ты как буря явился и всю жизнь с ними бился,
Ты над ними носился, словно дух Азраил.
Дорогой обличитель, удалой сочинитель,
Золотой охранитель наших древних могил!

В самый раз ты явился. Точно с неба свалился!
До чего ж пригодился исполинский твой меч!
Дорогой избавитель! Алексей Победитель!
Разрешь эту свечку пред тобою возжечь.

Ах, Алеша, Алеша! Тяжела твоя ноша,
Тяжела твоя ноша – обопрись на костыль...
Только вот что, Алеша: не твоя ли калоша
У меня под ступенькой позапрятана в пыль?

Игорь Ляпин

* * *

Стою спиной не к стенке, а к стене.
Сейчас я все приличия нарушу,
Сейчас весь гнев свой выплесну наружу,
Поскольку мой товарищ сатане,
Осатанев, закладывает душу.

Он говорит мне: – Ты не горячись,
Не торопись бросать в меня камень.
Я потерял истоки вдохновенья,
И гонор мой перемолола жизнь.
Куда ни ткнусь – кругом одни сомненья.

Подыскивая верные слова,
Он говорит, что смотрит нынче трезво,
Что кипятиться в жизни бесполезно
И что она по-своему права,
Хотя насколько – тоже неизвестно.

– Она меня ломала – я стоял! –
Взорвался он. – Поила – я не спился!
Но, видя, кто, чего и как добился,
Я здесь вот, в сердце, что-то потерял,
Внутри как будто стержень надломился.

Я не титан, – кричит он, – не титан!
Я человек, и я имею слабость.
Такая давит на душу усталость,
Такой в глазах качается туман. . .
Хочу пожить, ведь сколько тут осталось. . .

Не выдержал товарищ бедный мой.
И, не в одной бывавший переделке,
Стою спиной к стене, как будто к стенке
Поставленный трагедией самой,
Бушующей в хорошем человеке.

Валентин Сорокин

БЫТЬ РУССКИМ

На Руси родиться – распротиться
С радостью и с дедовским крестом.
На Руси родиться, как явиться
Атаманом или же Христом.

Если снова ангелы и черти
Нагло оседлали бунтаря,
На Руси недалеко до смерти,
До расстрелов, проще говоря.

На Руси мятеж не дольше лета,
Он к зиме кончается тоской.
На Руси благодарят поэта
Гробою прочною доской.

Ну зачем ты смотришь волооко,
Почему не рада ты, луна, –
Неужель от Пушкина до Блока
Речка жизни кровью не полна?

На Руси никто не отвечает
За себя, и целые века
На Руси нерусских привлекает
Русская державная рука.

Сколько сгасло по тропинам узким,
Сколько слез умыкала верста?
Потому

и быть на свете
русским –

Выше атамана и Христа! . .

Геннадий Ступин

* * *

Возле шумных учреждений
Неприкаянно хожу
И сердечных наваждений
В урнах каменных гляжу.

Только там одни окурки,
И пустые коробки,
И объединенные корки,
И зеленые плевки.

В двери шумных учреждений
Я несмело захожу
И сердечных наваждений
В лицах кожаных гляжу.

Только там пустые маски,
И улыбки из зубов,
И глаза полны опаски,
И косые кости лбов.

Прочь от шумных учреждений
Торопливо ухожу
И сердечных наваждений
На окраинах гляжу.

Только там дома́ печальны,
За забором лай собак,
Люди редки и случайны,
Пыль, и гиль, и просто так.

Утомленный от хождений,
Возвращаюсь в дом пустой,
И – сердечных наваждений,
Одиноких долгих бдений
В воздухе настой густой. . .

* * *

Мир мой любимый, благословенный!
Звезды как очи в ночи. . .
Мир мой, единственный во Вселенной. . .
Горе разлуки, молчи.

Ветер вздыхает, и замерли ели,
И, кроме звезд, ни огня...
Ты ли так дышишь, мой мир, еле-еле,
Чтобы не сдунуть меня?

Ах, сорвалась звезда и сгорела...
Не загадал ничего.
Вечное дело – печальное дело,
Нету печальней его.

Ясен и чист сокровенный твой воздух,
Тверд, высекает слезу.
Так и уснуть бы мне – глядя на звезды,
Слушая вздохи в лесу...

Чтобы кропил меня свет негасимый,
Млеком по ветру пыля...
Небо полночное, кров мой родимый...
Ложе родное, земля...

О ГЕОРГИИ ОБОЛДУЕВЕ

Нелюдимо наше море.

Языков

Нелюдимо наше горе.

Оболдуев

Он запомнился (он не мог не запомниться) подвижным, озорным, остроумным, улыбчивым, подчеркнуто почтительным, особенно по отношению к женщинам, потешным. А был он, Георгий Николаевич Оболдуев, человеком серьезным. Настолько серьезным, что старался скрыть это, пригасить блеск своего ума, встретить и проводить человека этойкой шуточкой, таким каламбуром, присловием, раешником, этойкой подчас лукавой клоунадой. Вершину тюбетеечки тремя пальцами, как шепотку соли, подхватит, снимет, согнется и низко-низко поясным поклоном поклонится. Как он это умел делать, столбовой дворянин... Это совершалось изящно, весело, искусно, главное – легко.

Да, с ним было легко. Легко было с этим человеком, человеком тяжелейшим образом сложившейся жизни. Намаялся, нанюхался пороку, истоптал не одну пару сапог. Он терпеть не мог рассказывать о мучительствах, испытанных им, приводить страшные эпизоды времен репрессий (для него 1933–1939). Иной раз к слову говорил о войне, на которой служил разведчиком в разведывательном противотанковом дивизионе. Да мало ли о чем он рассказывал! Житейский опыт был богат, а умение говорить о людях, о поэзии, о музыке было в нем сильно развито. Говорил мало, емко, содержательно. Щедро пускал в разные стороны оперенные стрелы своих устных афоризмов.

Всего чаще встречались мы в Голыцино, в доме Оболдуева и его жены, примечательной нашей поэтессы Елены Благиной. Это был хлебосольный дом, где охотно собирались люди и слышалась курская народная и в то же время изысканная речь хозяев.

Знания, приобретенные в Высшем литературном институте им. В. Я. Брюсова, Георгий Николаевич множил на чтение, собеседования с достойными людьми, самообразование. Читать ему было для меня сущим удовольствием. Можно было узнать правду о прочитанном. Не лукавил, не льстил. Природный импровизатор. В поэзии и в музыке. На ходу сочинял эпиграмму, не записывал, бросал на ветер.

Мне посчастливилось музицировать с Георгием Николаевичем. Это было в Хоромном тупике у Веры Клавдиевны Звягинцевой. Ставилась на попиктр пианино незнакомые ноты. Он взглянет на них и – кивнет головой, мол, можно моей скрипке начинать. И он понимающе на ходу подхватывал, и не отставал, и не торопился, а знал дело. А уж второй и третий раз он аккомпанировал с блеском. У него были свои излюбленные мелодии. Его перу принадлежит либретто музыкальной комедии Доницетти «Свадьба при фонарях» и оперы «Васкиса Прекрасная».

Стихи его пробовал я передавать редакциям. Так и не напечатали. После смерти поэта (1954), лет через 12–13 мне удалось опубликовать его «Серый взор» в антологии «Песнь любви». До сих пор стихотворения поэта (он назвал рукопись книги своей – «Устойчивое неравновесие») и его роман в стихах неизвестны читателю. Пользуюсь случаем – передаю «Дню поэзии» цикл стихотворений Георгия Оболдуева и выражаю надежду, что не за горами издание его книги.

Лев Озеров

Георгий Оболдуев 1892–1954

* * *

Я потерял живую нить –
Своей поэзии окрестность:
Не знаю, как остановить
Грехопаденье в бессловесность.

Наверно – это результат
И одинокости, и свинства:
Их даже среди людских громад
Повсюду властвует единство,

А здесь, в глуши, наперечет
Не только люди без гипноза,
Но просто весь живой народ,
Который не взяла угроза.

И путь, по мыслям и делам,
Далек от одного к другому:
Пойдешь, да удивись сам,
Да повернешь обратно к дому.

И страшен дом, когда в дому
Хотя б единое биенье
Совместно сердцу твоему
Хотя б в единое мгновенье.

И безответна пустота,
Которой даже нет названья,
Которую душа и та
Не выбрала б для умиранья.

И вот ты понял, почему
Я променяю без оглядки
На боль, на голод, на чуму
Болото здешней лихорадки.

* * *

Ни насмешки, ни гаерства,
Ни крупницы озорства
Не хотело мое сердце
И не хочет голова.

Человек, как и другие,
Говорю, кричу, шепчу:
«Дорогие, дорогие,
Оглянитесь, гляньте, чу!»

Только, правда, не забочусь,
Оглянулись или нет.
Эта почесть мне не в почесть,
И не в этом мой завет.

Я хочу, чтоб всяк двуногий
Под заботой и трудом
Хоть посильно, хоть немного
Шевелил своим мозгом.

Верь (не верь!) – во что угодно,
Знай (не знай), на что горазд:
Это – пусть и неудобно! –
Так зато уж не продаст.

ДРОЖЖИ

Я пылок был, как сто чертей,
И зол, как сатана;
Пугала мной моих детей
Красавица жена.

Домой вползал трезвым-трезв я, –
Она – нежным-нежна;
А пьян – нежным-нежней моя
Красавица жена.

Какого ж черта-сатаны
Мне было внушено,
Что у красавицы жены
Любовников полно?

Я изменял налево ей,
Направо изменял, –
Ей-ей, я стал как дуралей,
Менялой из менял.

На женщин я смотрел как на...
Ну, это – все равно!
Жена, красавица жена –
Моя, мое звено.

Потом, сначала все начав,
Очей любви полна,
Ко мне ласкалась по ночам
Красавица жена.

Потом, сведя конец с концом,
Исчезла как волна;
Покинула презренный дом
Красавица жена.

Любовь моя – причина бед –
Кому теперь нужна,
Когда ушла на этот свет
Красавица жена?

Мне снится смерти трын-трава,
На кой же, дьявол-черт,
Она мертва, она мертва...
Иль это я был мертв?..

Лежать в могиле, ой, свежо,
Мне жить – не горячей:
Ну ладно, погоди – ужо
Забуду свет очей.

Забуду то, над чем дрожат
Миллионы мужиков;
То выброшу, чем дорожат
Хранители оков.

Ее пригрев и осеня,
Звенит, звенит земля...
Прости меня, прости меня,
Вдовца и бобыля!

Любви загвоздка не божбой –
Проклятьями сильна...
Хочу тебя, к тебе, с тобой,
Красавица жена.

ОКНО

Жизнь хороша не от того,
Чего имеешь очень много,
А чаще лишь от одного,
В чем вся любовь и вся тревога.

И часто это-то одно
Так сильно мучает и манит,
Как вдаль – открытое окно,
В которой ни краев, ни дна нет.

Ты знаешь, что в твоём доме
Окно выходит в море взором,
Ты можешь подойти к нему,
Свободен вопреки затворам.

От пойманного пустяка
Пахнёт в лицо такая свежесть,
Что станет уж не так тяжка
Игра пророческих невежеств.

Мы счастливы не от того,
Чего имеем очень много,
А только лишь от одного,
В чем вся любовь и вся тревога.

* * *

Ты хочешь песен, краля,
О тоненькой весне?
Одной из них сияли
Твои глаза во мне.

Другая песня – рядом,
Со мной всегда она,
Твоим любовным взглядом
Во мне отражена.

И третью песню спел мне
Твой темно-серый взор,
Но вдруг седым, смертельным
Стал серый тот костер.

Он серый, он отцветший...
В нем пепел и зола...
Неужто ты – да нет же! –
Так поглядеть могла?

В нем сталь, в нем ложь и опыт:
Торчит он – нож в спине.
А в сердце тот же шепот
О серенькой весне.

НЕ ЗРЯ

Ништо, мой друг, ништо: мы выпрем,
Протянем очередь звена.
Не зря мы закалены вихрем,
Которому не грош цена.

Не зря мы были, есть и будем –
Бездельники и колдуны.
Без нас неинтересны людям
Избытки собственной мошны.

Спокойно бодрствуй на причале:
Еще настанет час весны...
Не зря два мира нас рожали,
Не зря долбали две войны.

ПОЭТУ

Не подвиг бывает предпринят,
Когда, под влияньем шлеи,
Подумает и отодвинет
Запетую нитку любви.

Он понят. И в нем ничего нет
Такого, чего нет в других.

Он не закричит, не застонет –
Доверчив, сконфужен и тих.

А голос божественно свежий
Бессмысленно радостных птиц
К нему залетает все реже,
И он говорит ему: «Цыц!»

Он – странен, как старый крестьянин
Поблизости с конферансье –
Любой пустяковиной ранен
В своем раскаленном житье.

Как карканье древней Кассандры,
Все – тянет в безвестную тьму,
Все – давит. Хотя оркестранты
Поют славословья ему.

ПОХОРОНКА

Он лежал не один: шевелилось внутри и вокруг
В жизнерадостном трепете разнообразное тленье.
Он постиг, он проведаль: попав под солдатский каюк,
Он стал частью родимой ландшафта, земли и
растенья.

Плугом врезался в землю разорванной пушки
лафет:
На ничейной поляне качались высокие травы,
Новый, смиренный жилец, ежесуточным солнцем
прогрет,
Обживал обыденность необыкновенной опоры.

И шаги раздались, и солдат подошел к мертвяку;
Взял кисет, что лежал в стороне,
усмехнулся невзрачно,
Постоял, поглядел, не спеша завернул табачку,
Еще раз ухмыльнулся мужчина, недобрый и
мрачный.

И батальные сцены с Гомера до наших времен,
И подробности старых картин, и позднейшие
фрески
Пробежали в сознание свидетелями похорон
Непонятно и чуждо, как надпись по древнееврейски,

На войне, на войне, на войне, на войне; на войне
Надо счастливую быть, чтобы так умереть
превосходно.
Чтобы трупом вполне уцелеть, надо счастья
вдвойне.

Так как будет так точно, как случаю будет угодно.

Мысли лучше не стали и легче не стал карабин,
Когда двинулся прочь брат солдат, утомленный
и тощий.

Поминай высоту двести тридцать один ноль один,
Где, сражаясь с фашистами, пал неизвестный
близ рощи.

Михаил Львов
1917–1988

Буквально накануне своей неожиданной кончины Михаил Львов передал редколлегии новые стихи и главы воспоминаний, посвященные в основном другу – Михаилу Луконину, который отметил бы в этом году 70-летие.

«Посмотрите, – сказал Львов своей характерной энергичной скороговоркой, – доверяю вашему вкусу, выбирайте. Воспоминания можете сократить. Хоть до нуля...»

Не стало еще одного поэта фронтового поколения. Давайте, читатель, снова вспомним Луконина, Наровчатова, Львова...

О ДРУЗЬЯХ-ПОЭТАХ

...Дружба Сергея Наровчатова и Миши Луконина была и дружбой и любовью, порой – и соревнованием... О чем, конечно, можно только в большой психологической прозе рассказать... Но – можно привести отдельный «кадр». Со слов Наровчатовой и моей жены знаю такое: когда-то Сергей сидел в Клубе в «состоянии большого пропадания»... будто бы – в это время – мимо него прошел Луконин, уже «вознесенный» в должности, в регалиях и т. д. – и будто «не подошел даже» к Сергею...

Не очень верю в это... Не спрашивал ни у Сергея, ни у Луконина.

Возможно, Сергею так показалось – и он сказал об этом Галине Николаевне – дома.

И... Сергей будто был невероятно «уязвлен», «потрясен» – и решил «выбраться» из своего «некоронного состояния», почти «похоронного», «вытащить себя» – хоть за волосы, как Мюнхгаузен из болота за волосы вытаскивал себя.

Во всяком случае, это «негласное» соревнование тогда «взметнуло» Сергея вверх – он «взял себя в руки», снова стал много писать, в том числе великолепные критические обзоры текущей поэзии, мы их все хорошо помним...

Потом они долго шли, как говорят, «ноздря в ноздрю»...

Этот дух соревнования обоим им помогал, нам – тоже.

Их пример был эталоном для многих – из поколения нашего.

Не говоря уже о том, что оба были непререкаемыми авторитетами в творческих вопросах.

Они дополняли друг друга.

В 1969-м, 3 октября в большом зале ЦДЛ мы отмечали 50-летие Сергея Наровчатова. Луконин выступил с прекрасной речью. На

глазах его были слезы. Закончил он свое выступление так:

– Я думал, что тебе подарить сегодня? И вот принес я тебе парадную саблю немецкого генерала, с которой он хотел пройти по Красной площади. Мы лишили его этой возможности. Вот эта сабля, ты ее заслужил.

И – не в руки передал, а бросил на пол перед юбиляром, и Наровчатов наступил ногой на эту саблю. Раздался гром аплодисментов. Великолепная сцена! Глубоко символичная!

После войны вокруг Луконина собрались в Москве поэты-ровесники. Он объединял, собирал.

...Наровчатов не раз говорил, что Луконин в нашем поколении был опорой, «он был тараном!». Не помню случая, чтобы Луконин не «пробил» какое-нибудь нужное, важное и справедливое дело, решение, издание.

На редколлегии одного из центральных журналов, отстаивая поэму товарища (от которой он был в восторге), он заявил:

– Если эта поэма не будет напечатана – я уйду из редколлегии (в 1950 году!).

Когда он был убежден, он шел бесстрашно в бой. Можно бы вспомнить множество случаев, когда он отстаивал поэтов, поэзию, высокий уровень – и дома и за рубежом. Он был блестящим полемистом, остроумным и ярким.

...После войны мы общались ежедневно, порой – круглосуточно. Это был университет дружбы. Учеба дружбой. В этой учебе мы росли не только вверх, но и внутрь, вглубь. Мы были, я уже говорил, «как сообщающиеся сосуды», впечатления, строки, убеждения «перетекали» от друга к другу...

...Луконин признавал «действенную дружбу». Он опубликовал в «Правде» свои новые переводы стихов Григола Абашидзе. «Течет Ингури в великолепье вольности и мощи». При встрече я горячо отозвался об этих переводах.

– Дружбу надо поддерживать! – ответил Миша.

Жизнь его была глобальной.

Он дружил с поэтами Татарии, Башкирии, Казахстана, Грузии, Белоруссии, Узбекистана, Чехословакии, Болгарии, Вьетнама. Он был прекрасным переводчиком и пропагандистом поэзии.

И в творчестве, и в жизни, и в быту он был светящимся советским интернационалистом!

Всегда был окружен молодыми поэтами и читателями. Помогал, беспокоился о них.

– Мы выделены, мы обязаны помогать другим, – говорил он.

Если кто-то из собеседников «заговаривался», он любил говорить:

– Отдохни.

В этом были и такт, и оценка, и терпимость, и мудрость житейская.

Многие его фразы, формулировки и правила вошли в наш литературный быт.

Он нам советовал быть добрее, внимательнее и терпимее и к не очень «успевающим» ученикам «школы поэзии».

– Мы – выделены! – объяснял он (я возвращаюсь – снова – к этим его словам. Когда я «забывался» в литературной «гонке», я себя «одергивал» этими словами Луконина).

– Я двадцать лет тащу его на спине, – говорил он об Окуневе, которого нежно, по-братски любил.

Притом некоторые ровесники считали, что «Луконину и Наровчатову просто везет»...

А между тем каждая их победа была оплачена потом, и кровью, и валютой биографии.

Борис Слуцкий
1919–1986

ОШИБКИ ГЕГЕЛЯ

Нас выучили философии,
но философствовать не дали,
Себя и нас не согласовывая,
шли годы, проносились дали.

И грамотны, и политграмотны,
ошибки Гегеля в подробности
сдав в соответствии с программами,
мы задыхаемся от робости.

Мы как Сократ. Мы точно знаем,
что ничего почти не знаем.

Миры шагами перемеря
в затылок впереди пошедшим,
мы, словно Пушкин перед смертью,
«Друзья, прощайте!» книгам шепчем.

А Гегель, нами упорядоченный,
конспектный Гегель и тетрадный,
свои ошибки осознавший
и прогнанный немедля взащей,

а Гегель, изданный, и купленный,
и листанный, но не прочитанный,
с небес, с верхушки самой купола,
нам улыбается значительно.

* * *

Последний был в отмену предпоследних,
Приказ приказывал не исполнять приказ
и трактовал о нем не выше, чем о сплетнях
из области штабных проказ.

С командной грациозностью шутил
приказ и применял гримасы стилия
над скудоумием штабных светил,
которые неправильно светили.

Тому, кто должен исполнять
последний, предпоследний и все прочие,
которые друг друга так порочили,
не оставалось времени понять.

На то, чтобы судить, чтобы рядить,
уже не оставалось ни мгновенья,
а надо было тотчас проводить
последнейшее самое решение.

Пока его отмена в роту шла,
траншеи вражды занимая с хода,
роняя на белы снега тела,
рванулась исполнять приказ пехота.

* * *

На русскую землю права мои невелики.
Но русское небо никто у меня не отнимет.
А тучи кочуют, как будто проходят полки.
А каждое облачко приголубит, обнимет.
И если неумолима родимая эта земля,
все роет окопы, могилы глубокие роет,
то русское небо, дождем золотым пыля,
простит и порадует, снова простит и прикроет.
Я приподнимаюсь и по золотому лучу
с холодной земли на горячее небо лечу.

Борис Лесняк

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О ВАРЛАМЕ ШАЛАМОВЕ

Больница Севлага

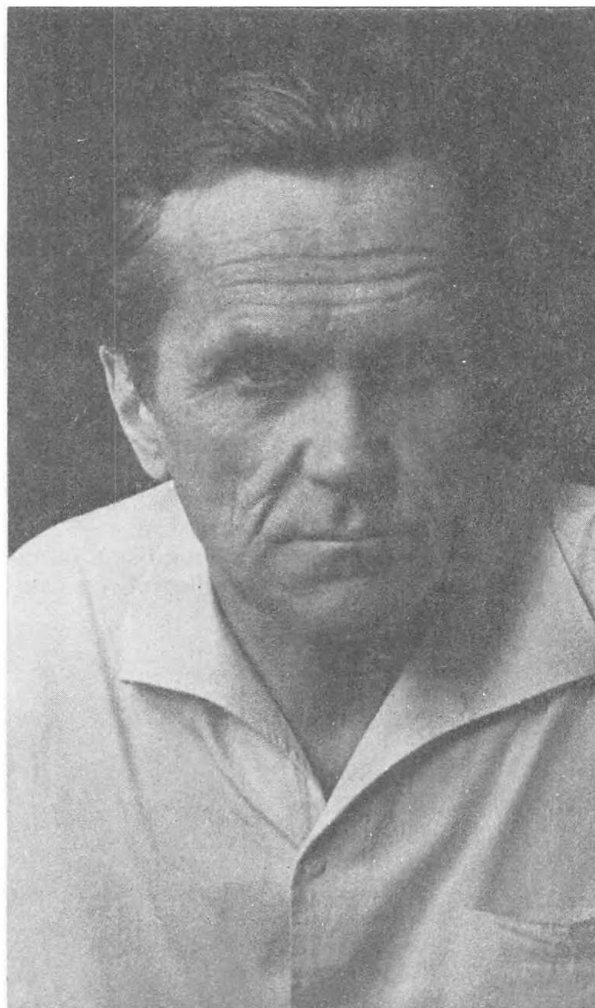
Этот человек обладал редкой особенностью: один глаз его был близоруким, другой — дальнозорким. Он способен был видеть мир вблизи и на расстоянии одновременно. И запоминать. Память у него была удивительная. Он помнил множество исторических событий, мелких бытовых фактов, лиц, фамилий, имен, жизненных историй, когда-либо услышанных.

В. Т. Шаламов родился в Вологде в 1907 году. Он никогда не говорил, но у меня сложилось представление, что он родился и вырос в семье священнослужителя или в семье очень религиозной. Он до тонкостей знал православие, его историю, обычаи, обряды и праздники. Он не был лишен предрассудков и суеверий. Верил в хиромантию, например, и сам гадал по руке. О своей суеверии он не раз говорит и в стихах, и в прозе. Одновременно он был хорошо образован, начитан и до самозабвения любил и знал поэзию. Все это уживалось в нем без заметных конфликтов.

Мы познакомились с ним ранней весной 1944 года, когда солнышко стало уже прогревать и ходячие больные, пододевшись, выходили на крылечки и завалинки своих отделений.

В Центральной больнице Севлага, в семи километрах от поселка Ягодное, центра Северного горно-промышленного района, я работал фельдшером двух хирургических отделений, чистого и гнойного, был операционным братом двух операционных, ведал станцией переливания крови и урывками организовывал клиническую лабораторию, которой в больнице не было. Свои функции я выполнял ежедневно, круглосуточно и без выходных дней. Прошло сравнительно мало времени, как я вырвался из забоя, и был непомерно счастлив, обретя работу, которой собирался посвятить свою жизнь, а кроме того обретал и надежду эту жизнь сохранить. Помещение под лабораторию было отведено во втором терапевтическом отделении, где с диагнозом алиментарная дистрофия и полиавитаминоз находился Шаламов уже несколько месяцев.

Шла война. Золотые прииски Колымы были для страны «цехом номер один», и само золото называлось тогда «металлом номер один». Фронту нужны были солдаты, приискам — рабочая сила. Это было время, когда



Варлам Шаламов

колымские лагеря уже не пополнялись столь щедро, как прежде, в довоенное время. Пополнение лагерей с фронта еще не началось, не началось пополнение пленными и репатрированными. По этой причине восстановлению рабочей силы в лагерях стали придавать большое значение.

Шаламов уже отоспался в больнице, отогрелся, появилось мясо на костях. Его крупная долговязая фигура, где бы он ни появлялся, бросалась в глаза и дразнила начальство. Шаламов, зная свою эту особенность, усиленно искал пути как-то зацепиться, задержаться в больнице, отодвинуть возвращение к тачке, кайлу и лопате как можно дальше.

Как-то Шаламов остановил меня в коридоре отделения, что-то спросил, поинтересовался, откуда я, какая статья, срок, в чем обвинялся, люблю ли стихи, проявляю ли к ним интерес. Я рассказал ему, что жил в

Москве, учился в Третьем московском медицинском институте, что в квартире заслуженного и известного тогда фотохудожника М. С. Наппельбаума собиралась поэтическая молодежь (младшая дочь Наппельбаума училась на первых курсах отделения поэзии Литинститута). Я бывал в этой компании, где читались свои и чужие стихи. Все эти ребята и девушки или почти все были арестованы, обвинены в участии в контрреволюционной студенческой организации. В моем обвинении значилось чтение стихов Анны Ахматовой и Николая Гумилева.

С Шаламовым мы сразу нашли общий язык, мне он понравился. Я без труда понял его тревоги и пообещал, чем сумею, помочь.

Главным врачом больницы была в то время молодой энергичный врач Нина Владимировна Савоева, выпускница 1-го Московского мединститута 1940 года, человек с развитым чувством врачебного долга, сострадания и ответственности. При распределении она добровольно выбрала Колыму. В больнице на несколько сот коек она знала каждого тяжелого больного в лицо, знала о нем все и лично следила за ходом лечения. Шаламов сразу попал в поле ее зрения и не выходил из него, пока не был поставлен на ноги. Ученица Бурденко, она была еще и хирургом. Мы ежедневно встречались с ней в операционных, на перевязках, на обходах. Ко мне она была расположена, делилась своими заботами, доверяла моим оценкам людей. Когда среди доходяг я находил людей хороших, умелых, работающих, она помогала им, если могла – трудоустраивала. С Шаламовым оказалось все много сложнее. Он был человеком, люто ненавидящим всякий физический труд. Не только подневольный, принудительный, лагерный – всякий. Это было его органическим свойством. Конторской работы в больнице не было. На какую бы хозяйственную работу его ни ставили, напарники на него жаловались. Он побывал в бригаде, которая занималась заготовкой дров, грибов, ягод для больницы, ловила рыбу, которая предназначалась тяжелым больным. Когда поспевал урожай, Шаламов был сторожем на прибольничном большом огороде, где в августе уже созревали картофель, морковь, репа, капуста. Жил он в шалаше, мог ничего не делать круглые сутки, был сытым и всегда имел табачок (рядом с

огородом проходила центральная колымская трасса). Был он в больнице и культторгом: ходил по палатам и читал больным лагерную многотиражную газету. Вместе с ним мы выпускали стенную газету больницы. Он больше писал, я оформлял, рисовал карикатуры, собирал материал. Кое-что из тех материалов у меня сохранилось по сей день.

Тренируя память, Варлам записал в двух толстых самодельных тетрадях стихи русских поэтов XIX и начала XX веков и подарил те тетради Нине Владимировне. Она хранит их.

Меня, провинциального паренька, такая поэтическая эрудиция, удивительная память на стихи поражали и глубоко волновали. Мне жаль было этого даровитого человека, игрою недобрых сил выброшенного из жизни. Я им искренне восхищался. И делал все, что было в моих силах, чтобы оттянуть его возвращение на прииски, эти полигоны уничтожения. На Беличьей Шаламов пробыл до конца 1945 года. Два с лишним года передышки, отдыха, накопления сил для того места и того времени – это было немало.

В начале сентября наш главный врач Нина Владимировна была переведена в другое управление – Юго-западное. Пришел новый главный врач, новый хозяин с новой метлой. Первого ноября я заканчивал свой восьмилетний срок и ждал освобождения. Врача А. М. Пантюхова к этому времени в больнице уже не было. Я обнаружил в его мокроте палочки Коха. Рентген подтвердил активную форму туберкулеза. Он был сактирован и отправлен в Магадан для освобождения из лагеря по инвалидности, с последующей отправкой на материк. Вторую половину жизни этот талантливый врач прожил с одним легким. У Шаламова в больнице не оставалось друзей, не оставалось поддержки.

Первого ноября с маленьким фанерным чемоданчиком в руке я уходил из больницы в Ягодное получать документы об освобождении – двадцать пятую форму – и начинать новую, «вольную» жизнь. До половины дороги меня провожал Варлам. Он был грустен, озабочен, подавлен.

– После вас, Борис, – сказал он, – дни мои здесь сочтены.

Я его понимал. Это было похоже на правду... Мы пожелали друг другу удачи...

ВОЙСКО ПЕСЕН

Юрий Гусинский

ПЯТЫЙ ЛОГ

Нас вожак покличет свистом,
И во двор влетают с ходу
Юрка – сын энкеведиста,
Валька – сын врага народа.

И еще полстайки разных,
Чьи отцы войной побиты,
Все в трусах и майках рваных,
К лету головы побриты.

Наше братство нерушимо,
Вместе выбрали дорогу,
Чтобы берегом Ишима
К пятому пробиться логу.

Пяты́й лог куда покруче
Всех оврагов, вместе взятых.
Пяты́й лог... Песок зыбучий
Дышит тайною заклятой.

Мы с легендой знакомы.
С этой кручи в самом деле
Члены первого ревкома
Головою вниз летели.

Пяты́й лог сыпучим мелом
Весь крошится не напрасно.
Здесь сперва стреляли в красных,
А потом стреляли в белых...

Нам пустой овраг не страшен,
С самой верхней, жуткой кручи
Мы к реке скользим отважно,
Нас несет песок текущий.

Нас к реке выносит с визгом.
Но внизу, на мокрой гальке,
Вдруг находят Юрка с Валькой
Свежие пустые гильзы.

Пяты́й лог. На глине пятна
То ли крови, то ли ржави.
Год идет сорок девятый
В грозной горестной державе.

Буду я во сне метаться,
Заходиться в смертной муке
И просить по-русски:
– Братцы, развяжите, что ли, руки!

Конвоир ответит юркий:
– На тот свет и так отвалишь!...–
Будет он похож на Юрку
Или вдруг похож на Вальку.

Босиком стою на круче,
Мокрой чувствуя спиной
Пяты́й лог, песок зыбучий...
Что же будет со страную?

Неужели на овраги
Вся и дальше разобьется?
Я проснусь белей бумаги,
Утро встретит дымным солнцем...

Век не смял огнем и сталью
Фотографии размытой,
Где, обнявшись, Юрка с Валькой
Смотрят на меня открыто.

Виктор Боков

* * *

Не веселье привез я
На Рижское взморье –
Усталость, и горе,
И стихи,
Что когда-то во мне клокотали,
Теперь перестали.

Мне не в пользу
Соленой водой обтиранье,
Так я больно ушибся
В застенках тирана.

Все мне кажется,
Ночью придут: – Собирайся! –
На допрос поведут,
Чтоб кричать: – Сознавайся!

Стал я тише воды,
Что в заливе лежит,
Как покойник,
Стал я ниже травы,
Что втоптали
Голодные кони.

Спит мой друг,
Что замучил меня,
В красном мраморе славы –

Рядом с гением века,
С великою мыслью державы.

Ото лба,
Как от конского зада,
Сивый волос растет
Грубовато,
В переносье – презренье,
жестокость,
Лицо рябовато.

Даже мертвый
Он просит особой охраны,
Я глядел, чтоб запомнить,
Как дремлют в гробницах
тираны.

Я глядел в низкий лоб,
Руки сами сжимались в кармане.
Как стоял на земле он?
Какими корнями?

Он по смелым, как по мосту, шел,
Труссы стлали ковры под ногами,
И стучал произвол
По подвалам темниц сапогами.

Сколько брошено в ров,
Сколько душ уничтожено, смято.
Сколько заткнуто ртов,
Что глаголили истину свято.
.....

А в заливе спокойно,
Солнце тихо притронулось к дюнам.
И свободно, свободно
От рабства проснувшимся думам.

Тонет парус вдали,
А залив бронзовеет телами,
Шевели, шевели,
Управляй, вдохновенье, словами.

Ты мне силу вернешь,
Ты мне лучшее в мире лекарство.
Вероломство и ложь
У тебя не воссядут на царство.

1955

КРАМОЛЬНИЦА

Платок пуховый пахнет миндалем,
Невинностью и горьким осмеяньем.
Он отделен от лета февралем,
Метелями и северным сияньем.

В глазах твоих печалинка живет,
Как с матерью, в обнимку с горем дремлет.
О времена! Какую ниву жнет
В лице твоём сегодня наше время!

Крамольница!
Тебе семнадцать,
А ты уже похожа на лозу,
Как рано разучилась ты смеяться,
Как рано научилась лить слезу.

Ты хочешь на Медынь,
К себе домой,
Ты проклинаешь день
Сибирский, хмурый,
Но рядом ревностный конвой
Блестит штыком
Железной диктатуры.

Не плачь!
Потуже застегнись,
Чтоб ветер по груди твоей не шарил,
Не опускай ресниц суровых вниз,
Хотя они кому-то помешали.

Все минет, что напутано теперь,
От радости и небо возрыдает.
Ты выйдешь, как голубка, из петель,
Навстречу голубь крыльями ударит.

Полюбишь ты на воле, будешь мать,
Снега растают от твоей улыбки,
Ты сыновей научишь понимать,
Как мы горбами правили ошибки.

* * *

Сам себе на уме,
Смелый и отчаянный,
Как-то я чихнул в тюрьме
В полное молчание.

Целый коридор воров,
Спohватившись моментально,
Пожелал мне: – Будь здоров!
И иди к нам на братанье!

Замахнулся я и – раз! –
Вот вам, сволочи!
Не хочу я от вас
Никакой помощи.

Их главарь нахально смотрит,
Будто я с ними свой:
– Замолчи скорее, контрик,
И Бетховена спой!

Вижу я, что шутки плохи,
Замордуют бедного,
Что мне после смерти вздохи
Эксперта судебного?!

И запел.

И воры,
Как березка на поле,
До вечерней поры
Слушали и плакали.

ОГЛЯДЫВАЯСЬ НА СВОЙ ПУТЬ

За все, что в жизни этой было,
Благодарю судьбу стократ.
За то, что женщина любила
И бросила – я виноват.

Благодарю судьбу за то, что
Я приглянулся чем-то ей.
Она мне бросила в окошко
Горсть горькой ягоды своей.

Не жалуясь, не обижаюсь,
Для мести не точу ножи
И никогда не унижаюсь
До жалобы на нашу жизнь.

1948

Анатолий Жигулин

ПАМЯТИ ДРУЗЕЙ

Имею рану и справку.

Б. Слуцкий

Я полностью реабилитирован.
Имею раны и справки.
Две пули в меня попали
На дальней, глухой Колыме.
Одна размозжила локоть,
Другая попала в голову
И прочертила по черепу
Огненную черту.

Та пуля была спасительной –
Я потерял сознание.
Солдаты решили: мертвый –
И за ноги поволокли.
Три друга мои погибли.
Их положили у вахты,
Чтоб зеки шли и смотрели –
Нельзя бежать с Колымы.

А я, я очнулся в зоне.
А в зоне добить невозможно.
Меня всего лишь избили
Носками кирзовых сапог.
Сломали ребра и зубы.
Били и в пах, и в печень.
Но я все равно был счастлив –
Я остался живым.

Три друга мои погибли.
Больной украинский священник,
Хоть гнали его от вахты,
Читал над ними псалтирь.
Он говорил: «Их души
Скоро предстанут пред богом.
И будут они на небе,
Как мученики – в раю».

А я находился в БУРе.
Рука моя нарывала,
И голову мне покрыла
Засохшая коркой кровь.
Московский врач-«отравитель»
Моисей Борисович Гольдберг
Спас меня от гангрены,
Когда шансы равнялись нулю.

Он вынул из локтя пулю –
Большую, утяжеленную,
Длинную – пулеметную –
Четырнадцать грамм свинца.
Инструментом ему служили
Обычные пассатижи,
Чья-то острая финка,
Наркозом – обычный спирт.

Я часто друзей вспоминаю:
Ивана, Игоря, Федю.
В глухой подмосковной церкви
Я ставлю за них свечу.
Но говорить об этом
Невыносимо больно.
В ответ на расспросы близких
Я долгие годы молчу.

САД

Здравствуй, родина,
Поле мое с васильками!
Здравствуй, сад
И заросший забор.
Этот сад посадил я
Своими руками.
Тридцать лет
Пролетело с тех пор.

Этот домик садовый
С отцом я построил.
Эти ели высокие
Я посадил.
Жаль, что годы шагают
Безжалостным строем
И уже недалек
Знак последних светил.

А на елях моих
Поселились веселые белки.
По садам из соседнего
Долгого леса пришли.
И резвятся и скачут,
Как будто секундные стрелки.
И сбегают бесстрашно
До самой земли.

И рассветы над лесом
По-прежнему неудержимы.
И роса по утрам
На деревьях чиста как слеза.
Сад еще плодоносит.
Родители стары, но живы.
Слава богу!
Чего еще можно сказать?

* * *

Памяти В. Д.

Ах, Виктория-Вика!
Как же так, в самом деле?..
Надломилась гвоздика,
А мы--проглядели.

Проглядели, хоть знали,
Что с тобою творится.
Ты прости нас в печали,
Свободная птица.

Отцвела ежевика
За садовой калиткой.
Не спасти тебя, Вика,
Ни свечой, ни молитвой.

Рок такой неминуемый,
Тяжелый и страшный!
Словно черная туча
Над черною пашней.

Не помочь ни обедней,
Ни болью, ни кровью.
Может, только последней
Запредельной любовью?..

Андрей Облог

ПАМЯТИ ВАРЛАМА ШАЛАМОВА

Лиственница жила ближе
к Черной речке, чем все
эти цветы, эти ветки –
черемухи, сирени.

В. Шаламов. Воскрешение

Запах лиственницы –
это дух победы,
Лиственница – дерево бессмертья.
Нежные зеленые побеги –
Горестная память лихолетья.

В комнате погибшего поэта,
В банке с обезжизненной водой
Жесткая изломанная ветка,
Воскресая, пахнет Колымою.

Двадцать лет. Откуда эта сила?
Двадцать лет – по сути,
без возврата.

Сколько сыновей твоих, Россия,
Полегло на Колыме проклятой...

В городах, поселках и станицах
Безымянных Колымы – помяньте.
Шелестят тяжелые страницы...
«Люди мира, на минуту встаньте!»

Николай Флёров

ПРАВДА

И ныне я не отрекаюсь
От всех пережитых годин,
И, может быть, в чем-то я каюсь,
Хоть был я такой не один;

И жили мы, двести миллионов,
В работе себя не щадя,
И били мы тыщи поклонов
Во здравье и славу вождя.

И, зная о горе и бедах,
Что часто терзали народ,
Кричали о всяких победах
И шли «все вперед и вперед».

Победы действительно были,
И мир о них часто гудел,
Но сколько в той «сказочной были»
И темных творилось дел?!

Мы только потом узнавали
О правде, и то не о всей.
Нам новую правду давали,
И снова мы верили ей.

Но были, да, были такие,
Кто знали, что все это ложь,
О том они вслух говорили.
Теперь их могил не найдешь.

Не жертвы невинные те ли
Причиною стали того,
Что внуки сегодня прозрели
И дело им есть до всего?!

И все же, и все же при этом
Минувшего я не предаю:
Верны мы боям и победам,
Крестьянским, рабочим делам.

Мы смотрим уверенно в завтра,
Но надо – такие дела! –
Чтоб наша последняя правда
Действительно правдой была.

Геннадий Фролов

РЕЭМИГРАНТ

Из долгих странствий возвратясь,
Припав к земле своей родной,
Ты можешь, плача и смеясь,
Пить воздух горький и хмельной.

Но что узнаешь ты, скажи?
Что сыщешь в пепле и золе?
И что поймешь о тех, кто жил
На этой горестной земле?

О тех, кто в сумерках дрожал,
Кто в страхе пробовал засов,
Но никуда не уезжал
От этих пашен и лесов.

Кто предан был и предавал
Себя, любимых и друзей
И, умирая, выживал
На ржавых плачах лагерей.

Чья кровь гудит в моей крови,
Чьи кости стали костяком
Моей страны, моей любви!
Куда? – летящей напролом!

И, словно люди разных рас,
Вы разойдетесь стороной,
Не поднимая жестких глаз,
Пугаясь истины чужой.

Поскольку есть одна судьба,
И жизни нашей краток срок,
И глушит времени труба
Души неслышный голосок!..

Григорий Левин

* * *

Что нам надо? Много ли нам надо?
Десять метров скудного жилья.
Ведь в гнезде рождается соната
И простая песня соловья.

Десять метров. А для наших песен –
Десять тысяч – право говорить
С улицей, с вожжами, с поднебесьем, –
Но не так, как в праздник звонари.

Говорить о самом о насущном,
Самом главном, самом дорогом.
Сторонись, доносчик и наушник, –
Мы в своей, в родной стране живем.

Михаил Матусовский

ВОСПОМИНАНИЕ

В декабре пятьдесят второго я был послан в командировку по заданию «Литгазетъ», чтоб в разгерметизованном репортаже или в очерке трехколонном, словом, в жанре газетной прозы рассказать об одной деревне, расположенной под Калугой и в военное лихолетье разделенной судьбу Хатыни; ехал в розвальнях по морозу, от которого все звенело, ехал так, что рубцы полозьев забинтовывала поземка, что пунцового цвета солнце всюду следовало за нами и держалось поверх сугробов.

Наконец-то мы дотащились до разрушенной деревеньки, где на чистом снегу темнели только вороны да воронки, где и нынче ютились люди в первобытных своих землянках, где на будущей стройке пахло окорованной сосною.

И случилось тогда такое: разузнав о моем прибытьи – как-никак человек из центра, – потянулись ко мне крестьяне со своею обидой каждый, со своею бедою каждый.

Как ни пробовал я отбиться, в меру сил своих объясняя непричастность свою к начальству, – ничего не желая слушать, люди дви-

гались друг за другом: шли калеки, скрипя по тропке самодельными костылями; шли, поставив перед собою как защиту и оправданье голопузых своих мальчишек, поседевшие рано вдовы; шли повязанные крест-накрест домотканую грубой шерстью, повзрослевшие рано дети; шли опухшие с недоеда и пугливые мужичонки, разменявшие в эту зиму кто седьмой, кто восьмой десяток. Шло отчаянье и терпенье, шло убожество и сиротство.

Вереницею шло крестьянство – кто с ходатайством о кормильце, незаслуженно осужденном, кто с мольбой прислать подтверждение инвалидности третьей группы, кто с надеждой скостить налоги и последний мешок картошек, если можно, оставить детям.

Что же мог я ответить людям, чем сумел я их обнадежить? Это были потомки тех же, за кого погибал Радищев; тех, кому посвящал Некрасов все стихи до последней строчки; за кого распрощаться с жизнью был готов Валентин Овечкин; те, о ком в запрещенной верстке не увидевшей свет поэмы горевал Александр Твардовский.

И поныне их вспоминаю в их потертых худых одежках, в их тулупчиках обветшалых, в их дерюжинах и обносках, в задубевших от лютой стужи, не снимавшихся с ног онучах, – и растерянность, и бессилье, и вину свою перед ними.

Верись, нет ничего дороже дотянуть до такого часа, чтоб без страха и без оглядки, без редакторских замечаний, без помарок на всех страницах, не смолчав пред самым собою, повинувшись одной лишь правде, рассказать обо всем, как было...

Феликс Чуев

МОЛОДОЙ ВЕТЕРАН

Вернулся к маме насовсем
от службы многотрудной...
Кому ты нужен и зачем,
калека бесприютный?

Коль нету ног аж до колен...
За них тебе воздали
как бы за каждую взамен
морозные медали.

Будь даже дважды ты Герой,
но памятнику все же
не встать на улице родной –
села-то нету тоже.

Село ушло, его снесли,
переселили в город.
Под снегом тление земли –
как будто тлеет порох.

В горах безводных для того
ты ползал в бронелатах,
чтобы блистало сволочество
в дареных бриллиантах?

В квартире новой городской,
в коляске, как на троне,
привыкнешь к доле холостой,
а маму похоронят.

И так еще придется жить
и долго небо видеть.
Сумел эпохе послужить –
устанешь ненавидеть.

Но эта ненависть – любовь,
но эта слабость – сила,
что русский пламень голубой
в очах не погасила.

СЕЛЬСКИЙ МЕМОРИАЛ

Хотя не очень-то дешевую,
достал, однако, повезло,
плиту большую и тяжелую
повез на поезде в село.

И думал: «Нынче-то не в гости я
и не в село – на край села,
где среди бурьянного спокойствия,
крестов, бутылок и стекла

уснула мама. Скоро стает ведь
холмишко, тронутый тропой...»
И он решил исполнить заповедь
свою – пред мамой и собой.

Весь отпуск
буковку за буковкой
он в белый мрамор набивал
с утра, пока закат обугленный
не проливал в траву металл.

В последний день пришел проститься он
и, одурев до немоты,
стоял над мелкими частицами
разбитой вдребезги плиты.

Кому-то, значит, не понравилась
среди ржавых прутьев и гнилья
такая искренняя праведность,
несовместимая, своя.

Да ведь иного не захочется,
как наплевать на честь и мать,
когда по мертвым лихо топчемся
и по живым – не привыкать.

И потому финал заслуженный,
как по башке из-за угла
тому, в ком память не остужена
и боль, как святость, не прошла.

Инна Лиснянская

* * *

Слыть отщепенкой в любимой стране, –
Видно, железное сердце во мне.

Видно, железное сердце мое
Вытерпит и не такое еще,
Только все чаще его колотье
В левое мне ударяет плечо.

Нет, это бабочка в красной пыли
Все еще бьется о сетку сачка...
Матерь, печали мои утоли!

Время уперлось в стенные часы,
Сузился мир до размера зрачка,
Лес – до ресницы, река – до слезы.

ПЫЛЕСОС

Какое несчастье, что я научилась смеяться!
Как быть и что делать – уже не задам я вопроса.
С тахты поднимаюсь, когда начинает смеркаться,
И движусь по миру, держась за кишку пылесоса.

Гуди и заглатывай все, что незримо и зримо,
И совесть, и память, и грифель толченый и пудру,
Отрепья сознания и струпья отпавшего грима:
Все это уже ни к чему мировому абсурду!

Заглатывай косточку яблока – весточку рая!
Какая потеха – вечерняя наша морока,
В единое нечто разрозненное собираем
В том хаосе, где и пылинки – и та одинока.

Своей насыщаться работой – не это ль порядок?
Гуди, пылесос, и заглатывай свежую пищу:
Засохшие бабочки, хлопья истлевших тетрадок,
И пепел табачный, и пепел того пепелища,
Где я научилась смеяться...

Леонид Завальнюк

* * *

Скитальцы думали: «На родину пойдём!..»
А родина стояла в отдаленье,
И были ее голые колени
Обрызганы таинственным дождем.
Она была, как солнце, молода.
И эти старцы ей внушали жалость.
Не молодость, хотя бы молодежь
Ей разглядеть хотелось в них тогда.
Но вечер тек туманом по полям,
И обострялись жесткие морщины.
И видела она, как старые мужчины
С щемящей кротостью молились тополям.
Но вот один поднялся. И, прозрев
В себе дорогу вечного распятия,
Смешал с молитвой неизбывный гнев
И прокричал слова любви-проклятья.
Он молод был тогда, как древний бог.
Он молод был, как вечный дух свободы.
Шуршащею листвою слетели дни и годы
И распростерлись родиной у ног.
И он переступил через нее.
И, к дальним звездам простирая руки,
Дорогою последней смертной муки
Ушел туда, в бессмертие свое.
...Поныне плачет родина, тая
Свой вдовий лик в легко плывущих тучах.
И посылает журавлей плакучих
В чужие, невозвратные края.

Вот что такое осень на земле.
Ее тоска бессмертию подобна.
Несбыточной мечтой
Она приводит ночь под окна.
И Млечный Путь любви
Горит, горит во мгле.

Вениамин Бутенко

* * *

Не верится: я вором был.
И настоящим вором.
Глад с мором по Руси ходил,
Глад с мором.
Колхозную я свеклу рвал,
Как ворон мертвечину...
От голода я воровал –
Определим причину.
С коня меня объездчик бил!
В цепи свистела сила!
(И имя «Светлый путь» носил
Колхоз, где это было.)

Но если не был бы я вором –
Плачь, совесть, грех свой замоли! –
Глаза мне выклевал бы ворон
И выкрошил зрочки мои.

ОТЦОВСКАЯ ТЕНЬ

1

Войну прошел ты от начала до конца.
Лишь кровью с жизнью связан был на фронте.
И тень твою – из дыма и свинца –
Я вижу по ночам на горизонте.

Она шагает – что дает ей силы? –
Уже по звездной, правда, мостовой...
Храню, отец, песок с твоей могилы
Я – в гильзе... Поржавевшей... Фронтовой.

Не вижу смерти собственной вдали,
Но завещаю сыну – раньше срока:
С моей могилы горсточку земли
Добавить в гильзу, спасающую Европу.

2

Я ночью на отцовскую могилу
Приеду – упадет метеорит!
И я почувствую в себе такую силу!
Взмахну рукой –
Пространство задрожит.
Все звери среди ночи вдруг проснутся,
Взлетят все птицы – крыльями забьют.
И мертвые воскреснут... И вернуться
К живым...
И о бессмертии споют.

Владимир Гнеушев

ОТЦЫ И МЕРТВЕЦЫ

По улицам проходят мертвецы.
По тихим самым
и по шумным самым.
Они нам набиваются в отцы
и лезут в председатели
и в замы.

А мы смеемся с вами:
«Ну и ну!
Отцы как будто кролики плодятся...»
Но все ли в эти должности годятся,
кто с возрастом имеет седину?

Но мой отец –
он умер слишком рано,
морской пехоты старший политрук.
На ржавый склон Малахова кургана
упал,
наган не выронив из рук.

И не сумел в тот день увидеть он,
как, нахлобучив старые пилотки,
успел прикрыть ушедшие подлодки
его коммунистический заслон.

Нам тот отец,
кто в край глухой и дальний
провел через суровый перевал.
И поседевший в битвах генерал,
и друг его –
конструктор генеральный.

И те, кто, поднимаясь повсеместно,
работая на совесть –
не за страх, сказали нам
с трибуны наших съездов
о сталинских
железных лагерях.

Из них любой доверия достоин!
Уж если за собою ты ведешь,
будь сам, по крайней мере,
храбрый воин,
шагай как вождь,
не ползай, словно вошь.

А эти – нынче те же, что вчера.
И лишь одно в их поведенье ново:
вчера
кричали Сталину «ура»,
сегодня шляпы носят «под Хрущева».

По улицам проходят мертвецы.
Их головы, похожие на бревна,
топорщат к нам
ушей своих торцы
и смотрят зло!
По-старому – сурово.

Приспособленцы всяческих мастей
да те еще,
отвергнутые миром,
ушедшие из дальних лагерей
по сокращенью штатов
конвоиры.

Они уходят, улыбаясь еле,
к бессмысленному бешенству близки.
И душат, будто шеи чьи,
портфели,
и давят на замки,
как на курки.

Опущен занавес... Пора
спешить за платою Иуды.
Но страж с ухмылкой задержал:
«Ты не спеши! Пожди покуда!»

Его свели в сырой подвал,
где ждал гример, седой от страха.
И понял он, что прогадал,
что ждет не золото, а – плаха!

Кто знает, как убили их.
Но на тюремной таратайке
той ночью вывезли троих,
чтоб закопать на грязной свалке.

Во всем их уравнила смерть,
хоть и не сделала друзьями.
Актер, гример и этот – третий
рядком гниют в могильной яме!

И – не один! На тот пустырь
исправно мертвых поставляли
и под покровом темноты
без гроба в землю зарывали.

Так привезли и судей тех,
и палачей, и прокуроров,
лишив чинов, наград, утех,
за рвение воздав сурово.

Там нет крестов, могильных плит,
на этом тайном пепелище.
И – тихо. Только пес скулит
да плачет оборванец нищий.

Владимир Карнеко

ОТЗВУК ВЫСТРЕЛА

Памяти А. А. Фадеева

Из дома так уходят
в детстве,
когда отброшены
забавы,
и в чем-то старшие
не правы,
и все испробованы
средства.

Все – дети.
Сыновья народа.
Чем дети больше,
чем взрослее,

тем их разлады
тяжелее,
непримиримей
год от года.

Всегда ли старшие
с вниманьем,
им не всегда, увы,
присущим,
относятся
ко всем растущим
и их
растущим колебаньям?

Вот потому,
почти как в детстве,
уходят
от любви и славы:
знать, все испробованы
средства,
знать, в чем-то
старшие не правы.

Так много пуль
тогда свистело...
Он много знал.
И дело в этом.
Одна из пуль
от тех расстрелов
в него влетела
рикошетом.

Геннадий Головатый

ПО УХОДЯЩЕЙ ВВЕРХ

Когда безверия порок
устой общества подточит,
тогда является пророк –
и веру новую пророчит.

Еще он – жалкий еретик,
но втайне с ним уже согласен
народ, в котором он возник.
И пламенный его язык,
как пламени язык, опасен.

Но не отечеству – жрецам,
нажившимся на старой вере,
да обывателям – творцам
гнилой трясины лицемерья.

О лицемерье, как глубокий
твой черный корень в сердце черни!
Голгофа ждет тебя, пророк:
ложь не прощает обличений.

Блюхер,
Гай,
Егоров,
Тухачевский!
Кто нам их заменит?
Кто вернет?
Может, скоро повидаюсь с внучкой,
А жену не видел тыщу лет...»

Над землей,
Над нами,
Над колючкой
Поднимался медленный рассвет!

Юрий Паркаев

ТАКАЯ ШТУКА...

– Мой сын–богоотступник и урод, –
стенала мать-старуха, умирая, –
он церкву рушил!
Он мутил народ!
Ему вовеки не увидеть рая!..

Прошли года...
Усталый человек
не спит всю ночь, ворочаясь на койке:
рай на земле он строил целый век,
и вот– настало время перестройки.

На днях его сразила наповал
претензия начитанного внука:
– Зачем старинный памятник сломал?.. –
И впрямь–зачем?..
Ведь вот такая штука!

Так что ж, выходит,
мать была права:
крушил, мутил. И что теперь в итоге?
Работал засучивши рукава,
а где они,
где райские чертоги?!

Есть районо, райком и райсовет,
есть райсобес, а рай...
А рая– нет!

ДВА БЕРЕГА

Тихо ответили жители:
– Это на том берегу...

Николай Рубцов

Покуда мы на этом берегу,
где вся земля в березовом снегу,

мы на другой с тревогою глядим:
он молчалив, угрюм и нелюдим.

Плывут челны, плывут по одному
в чужую даль, в неласковую тьму,
и знают все, кто смотрит им вослед:
из тех краев дорог обратных нет...

Покуда мы на этом берегу,
на золотом, на солнечном лугу,
мы не спешим задуматься о том,
куда река нас вынесет потом.

Текут века, дымятся облака,
и голоса слышны издалека,
но ничего –
как будто сквозь пургу –
не разобрать на этом берегу.

Мария Аввакумова

* * *

Дерево с обломанными ветками
снова размечталось о весне.
Дождики невидимые, редкие
падают откуда-то извне.
Падают, в туманы превращаются.
Падают, молотят землю в грудь.
Господи! Она еще вращается.
Все еще живая как-нибудь.

Платьница батистовы обляпаны.
Поредела барыня коса.
Хамскими бесчисленными лапами
кто не потаскал за волоса...
Родина, калика перехожая,
продержись! Превозмоги себя!
Пёсья и воронья–наша все же ты,
грязь твоя и та–моя судьба.
Никуда не денусь, бесноватая,
утопив в грязюке сапоги,
от вины (хоть в чем я виноватая?!).
Родина! Себя превозмоги!

Дерево с обломанными ветками
снова размечталось о весне.
И мечтанья солнечные, детские
прядают откуда-то извне.

* * *

Не хочу тряпьишком выделяться,
чтобы принимали за свою
разные плуты и казнокрадцы, –
я за честь свою еще стою.

Не хочу в отчизне хлеба с маслом,
если весь народ без масла ест.
...Вот и вру! Да не сморгнувши глазом:
«масло есть и даже мясо есть».
Не про вас припасы получаю,
и к больнице я прикреплена,
где и тех, кто перед сном икает,
за больных содержит вся страна.
Стала выделяться и тряпьишком,
и уже нервишки не шалят –
разве что из-за отсрочки книжки
(а на кой она – теперь-то! – ляд).

Не хотела выделиться эк-то.
Кто же так разделался со мной,
словно шкуру выделав на экспорт,
вытравив родимый дух квасной?
Разучаюсь крохами делиться.
Научаюсь языком ля-ля...
И себя в ежовых рукавицах
позабыла, честно говоря.

Между сытых долго оставаться –
грех большой, паскудство и беда.
Выручайте, кто живые, братцы! –
братья совестливого труда.

Алексей Марков

* * *

Беда не в том, что нету гречки,
Термометров в продаже нет,
Что на селе – не сложат печки:
Давно скончался мастер-дед!

Беда не в том, что память слабнет
О дне вчерашнем на Руси,
И даже не в улыбках рабьих
Толпы, стоящей в магазин,
Что нам пшеницу шлет Канада,
Калинином зовется Тверь...

Беда в другом: «Все так и надо!» –
Народу кажется теперь...

ДОЛГОЛЕТИЕ

Как воздух, нужно долголетье,
Чтоб доказать своим врагам,
Что не напрасно жил на свете,
Не падал сильному к ногам,
Не кланялся любым богам!

О, как хочу прожить поболее,
Чтоб хоть одним глазком узреть,
Как те, что нас лишали воли,
В стальную угодивши сеть,
О гуманизме станут петь!

О, как хочу пожить чуточек,
Чтоб истинный увидеть лик
Того, кто души опорочил
Опасной полуправдой книг.

Добавь мне, боже, лишний миг!

* * *

Потолок газетами обклеен.
Буквами аршинными статьи:
«Лучезарность сталинской идеи»,
«За высокий урожай бои»,
«В закрома засыпали пшеницу»,
«Строятся колхозные дома»,
«Коммунизма светлые зарницы»,
«Сталинские мудрые тома»...

Влажные разводы на газетах.
Дождь осенний... Потолок течет...
Бабка кукурузные котлеты
На сухой сковороде печет...

Из обрезков ладит одеяльце
Молодица... Видно, на сносях...
Ребятишки в уголке резвятся –
Делают из алой тряпки стяг...

Мы лежим с рыбалки невеселой,
От брюзжаний мелких далеки,
Благодарны добрым хлебосолам
За тепло и за половики...

Мы глядим на мокрые газеты,
Капель нависающих страшась,
Меж газетой и избенкой этой
Явную улавливая связь...

1954

Кирилл Ковальджи

* * *

От имени павших героев,
от имени славной страны
и ее священных устоев
внушали нам чувство вины:

народ, меняющий русла рек,
строил ГЭС в миллион киловатт,
а маленький человек
кругом виноват.

Судьи властью сильны,
ларчик просто у них открывается:
невиновный легко проникается
чувством вины,
если судит вождь-победитель,
созидатель, освободитель,
обожаемый обвинитель,
мастер вечной гражданской войны.

И старались его лжесвидетели,
чтоб забыл ты у той скамьи,
что ты сын великой семьи
и что судьи твои, благодетели –
это платные слуги твои.

Владимир Солоухин

ПРЕКРАСНА ЖЕНЩИНА...

Но верь мне, дева на скале
Прекрасней волн, небес и бури.

А. Пушкин

Сверкает молния во мгле,
Вскипает синяя громада.
Прекрасна дева на скале,
И спорить с Пушкиным не надо.

Очарованья образ полн
Купальщицы порой ночью,
Когда идет она из волн,
Посеребренная луною.

Прекрасна девушка. Смуться
От слов любовного признанья,
Глаза поднимет, а из глаз
Распространяется сиянье.

Прекрасна девушка втрое,
Что с розовой зарей на теле
Вся разматается во сне
В предутреннем жару постели.

Прекрасна женщина, когда,
От страсти закусивши губы,
Она стонет без стыда
В объятьях, что нежны и грубы.

Прекрасна пьющая вино,
Сулящая дары любви нам,
Бросающая нас на дно
И возносящая к вершинам.

Младенец. Женщина над ним.
Вот красота и вот единство!
Над ней, кормящей, как бы нимб
Мерцает светом материнства.

Но красотой до конца
Не наслаждался тот, кто все же
Не видел женского лица
Не на скале и не на ложе,

Не в теплой парковой ночи,
Когда цветы луной облиты,
Но в тихом отсвете свечи
Во время пламенной молитвы.

ИВАНУШКИ

Старик орает. Ткет холсты старуха,
Румяна дочка, полон сундучок,
А на печи, держа в руках краюху,
Иванушка – простите – дурачок.

В тонах доброжелательных и красках,
Русоволосы, мыслями легки,
На всех печках, во всех народных сказках
Иванушки – простите – дурачки.

На теплых кирпичках, объята ленью,
Считая мух, они проводят дни.
Зато потом по щучьему веленью
Все моментально сделают они.

Драконов страшных тотчас побеждают,
Им огненные головы рубя,
Невинных из темниц освобождают,
Берут царевен замуж за себя.

Забыв о печках, мамках и салазках,
На Сивках-Бурках мчат во все концы.
Как хорошо: во всех народных сказках
Иванушки выходят – молодцы.

Ах нет, и впрямь: и царство всё проспали,
И отдали в разор красу земли..
Царевен в сказках доблестно спасали,
А подлинных царевен не спасли.

ТРИ ПОЭТА

Когда ударил грозный залп «Авроры»
И взяли власть в стране большевики,
Служили революции опорой
Не только пулеметы и штыки.

Служило слово – письменно и устно –
Побольше слов, как можно больше слов!
Хотелось им привлечь к себе искусство,
Его уже известных мастеров.

Пусть этот – шут, а этот полон злобы,
А тот вещает гибель и конец,
Велели Луначарскому для пробы
Собрать их всех в Таврический дворец.

И вот призыв, подобие декрета.
Из тех, кто был поблизости и мог,
Пришли на зов всего лишь три поэта –
В. Маяковский, Рюрик Ивнев, Блок.

Казалось им (а каждый прям и честен),
Что их зовет история, страна.
Но брызжет кровь, и надо, чтоб за песней
Была стрельба в подвалах не слышна.

Казалось им – бессмертные страницы.
Сбываются мечтания и сны.
Но ворошатся царские гробницы,
И храмы все уже обречены.

Казалось им – возвышенная повесть,
Нет, летопись! Правдивый звон строки...
Но начинают действовать на совесть
На дальнем Белом море «Соловки».

Казалось им, что путь добра приемлют,
Но в хлопанье поспешных грязных ям,
Но в землю, в землю, в землю, в землю,
в землю
Ложатся миллионы россиян.

Их было трое. В круге этом узком
Звучал недолго благовестный стих.
Блок умер первым, ибо самым русским
И самым честным был он из троих.
Он умер не от тифа, не от раны
(Небрит, прозрачен, впалые виски),
Но от того, что понял слишком рано...
Сказать точнее, просто от тоски.

Марк Лисянский

МОЕ ПОКАЯНИЕ

Ту ночь я не забуду никогда.
Мы жили осторожно и тревожно.
Прошли года. Пройдут – уйдут года.
Забывать такие ночи невозможно.

Раздался среди ночи властный стук,
Он заглушил все остальные звуки.

Второй пытался встать на горло песне,
Что значит петь не сердцем, а умом.
Но час придет, и выстрел сухо треснет,
Прощай Москва – Гоморра и Содом!

Постигший бездну вовремя погибнет,
Возможность мук погибнет вместе с ним.
Я думаю, за что же Рюрик Ивнев
Особой казнью столько лет казним?..

Глядеть на все. Ползут десятилетия.
Все понимать. И помнить, черт возьми!
Россия. Блок. А эти... как их... эти...
Когда-то были все-таки людьми.

Он помнит, были. И Россия – тоже.
И сам он был как если бы во сне.
Ползут десятилетия. О боже,
За что печешь на медленном огне?

День настает. Разносятся газеты.
Из года в год один и тот же слог.
Их было три восторженных поэта –
В. Маяковский. Рюрик Ивнев. Блок.

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Печатаемая стихотворения Вл. Солоухина «Три поэта» и Ст. Куняева «Размышления на старом Арбате» (стр. 103), издательство отчетливо осознает, что трудные, болезненные проблемы, которых касаются в своих произведениях авторы, имеют и другие, прямо противоположные суждения и оценки, иные идейно-художественные решения. Эти оценки, суждения, решения также представлены в альманахе, более того, как нам кажется, определяют его идейно-художественную тональность.

При публикации спорящих между собой произведений издательство исходило из назревшей потребности в гласном высказывании разных точек зрения на сложные вопросы нашей общественной жизни, что, как нам представляется, является реальным и справедливым выражением социалистического плюрализма мнений.

Накинув старомодный свой сюртук,
Он дверь с трудом открыл. Дрожали руки.

Они вошли. «Вот ордер на арест!» –
Ему сказали. И ни слова – кроме...
Молчала вся вселенная окрест.
Тогда их ожидали в каждом доме.

Он над ребенком спящим помолчал,
Простился с побледневшею женою
И горько головою покачал:
– Знай, нету никакой вины за мною.

Она схватила сонное дитя
И закричала. Обнажились нервы.
А я подумал много лет спустя:
Страшней тридцать седьмой,
Чем сорок первый.

Мы жили рядом. Я не спал в ту ночь.
Меня считали другом и поэтом,
А я не смог ничем друзьям помочь.
И лишь сегодня написал об этом.

ШОЛОМ АЛЕЙХЕМ, ЕВРЕИ

Шолом алейхем, евреи,
Живые и мертвые, здрасте!
Скажу вам:
Чем люди мудрее,
Тем им недоступнее счастье.
Забота рождает заботу,
Тревога рождает тревогу.
Свеча озаряет субботу,
Дорогу, ведущую к богу.
Но бога ни здесь,
Ни на небе,
Он, может, в душе обитает,
И даже всезнающий ребе,
Где бог, если честно, не знает.
С печальной и горькой улыбкой
Вы в звездное небо смотрели,
И плакали нежные скрипки,
И матери рано старели.
Где бог?
Не ищите ответа,
Совсем непростая задача,
Не смог отделить
Тьму от света,
А мы не сумеем тем паче.
Вы с богом живете в разлуке,
Дорогу сменяет дорога,
И лишь в фаршированной шукке
На миг обретаете бога.
Биндюжники и водовозы,
Вы знали огонь и окопы,
И если собрать ваши слезы,
То море всю землю затопит.
Могильные ямы вы сами
Копали своими руками,
И вашими голосами
Запели деревья и камни.
Смотрю я в библейские очи,
Где светится даль небосвода,
И вижу сквозь дни
И сквозь ночи
Дорогу родного народа.

Шолом алейхем, евреи!

Валерий Краско

ВОСПОМИНАНИЕ О «ЗАСТОЙНЫХ» ГОДАХ

Кляня – в полупрофиль – усатых,
Пузатых и лысых – анфас,
Последним в шестидесятых
Я полз на российский Парнас,
Хмельной от эстрадного зуда,
От пылких и выпретенных поз,

Но не было Знака оттуда,
Куда я так искренно полз, –
Иные мотивы предстали
На песенный суд по ночам –
И дружно меня перестали
Печатать, почти не начав.

Какая печальная ноша –
Крыла волочить по земле!..
Какая нахальная рожа
Подмигивает в полумгле!..
Какое нелегкое бремя –
Кричать, веселя воронье:
«Какое нелетное время –
Но будет еще и мое!» –
Твердить – не в чести, но по Чести –
С какой-то нездешней тоской:
«Якир,

Косиор,
Тухачевский,
Багрицкий,
Светлов,
Луговской».

Шептать, улыбаясь устало
Годам, гомонящим вдали,
Что Время мое – не настало,
А лучшие годы – прошли...

Какие ненастные годы!
Какие смурные года!..

(Какие прекрасные годы –
Мы молоды были тогда...)

Татьяна Бек

* * *

...И эта старуха, беззубо жующая хлеб,
И этот мальчонка, над паром снимающий марки,
И этот историк, который в архиве ослеп,
И этот громила в объятиях пьяной товарки,

И вся эта злая, родная, горячая тьма
Пронизана светом, которого нету сильнее.
...Я в детстве над контурной картой сходила с ума:
«На Северный полюс бы! Или же за Пиренеи...»

А самая дальняя, самая тайная соль
Была под рукой, растворяясь в мужающей речи.
(...И эта вдова – без могилы, где празднуют боль.
И этот убийца в еще сохранившемся френче...)

Порою покажется: это не век, а тупик.
Порою помнится: мы все – тупиковая ветка.
Но как это пошло: трудиться над сбором улик,
Живую беду отмечая лениво и редко!

Нет. Даже громила, что знать не желает старух,
И та же старуха, дубленая криком «С вещами!»,
И снег этот страшный, и ливень, и зелень, и пух –
Я вас не оставлю. Поскольку мне вас завещали.

Лев Котюков

* * *

Обмяк на спинке стула китель.
Отец уснул. Не спится мне.
И слышно: громкоговоритель
Гремит на площади во тьме.

Чугунный голос в тьме ненастной
Вещает всем на всю страну
О том, что будет жизнь прекрасной,
Когда освоим целину.

Он в шесть часов отца разбудит,
Чтоб все сначала повторить...
Когда совсем прекрасно будет –
О чем он будет говорить?

Я засыпаю с этой думой,
Меж тем проходит тридцать лет,
И тишина в ночи угрюмой,
И нет отца, и дома нет.

Куда те годы промелькнули?
Сквозь сон пробьется мысль ко мне.
Очнись: отец сидит на стуле
И голос слушает во тьме.

* * *

«Никогда никого не жалея
На словах, коли впрямь не поможешь.
Никогда на чужие не пей
И не пей на свои, если можешь», –

Так покойный отец говорил,
А глядел на меня виновато,
Будто я его в чем-то корил,
Как унылая личность с плаката.

Мне далече еще до конца,
Ничего, что сурова година...
Я – печаль и усмешка отца,
Я – улыбка открытая сына.

И летит с древа жизни листва,
И шумит с древа жизни листвою,
И шумит древо жизни листвою,
Вспоминаю отцовы слова,
Вспоминаю с отцовской виною.

ДОРОЖНАЯ ПЕСНЯ

Что за город?! Да чтоб он пропал!
Пропадет – и дела наши плохи...
В старом сквере пустой пьедестал
Как свидетельство бывшей эпохи.

Всё впусую! Да чтоб я пропал!
Пропаду – и дела наши плохи...
И железобетонный вокзал
Как знамение новой эпохи.

Пропади оно пропадом все,
Коль взаправду дела наши плохи!
Но мое бытие и твое
Невозможны без этой эпохи.

Вечна жизнь на старинной земле,
Там, где наше не раз пропадало...
Тонет город в предутренней мгле, –
Никуда не уехать с вокзала.

Людмила Шикина

* * *

*Памяти
Евдокии Петровны Шиловой*

Я траве не удивлялась,
А косила и рвала...
Добротой не отличалась,
Может, доброю была,
Может, так,
А не иначе,
Только память не соврет.
Тот родился при удаче,
Кто не с жиру отдает.

И старуха-горевуха,
Что хозяйкою звалась,
Подарила мне старуха
Замечательную бязь,
Припасенную на случай,
Пережившую войну.
И кормила до полочки,
Не сердчая
На страну,
На меня – на квартирантку,
На собес –
Такой скупой.
Умерла старуха рано,
Долг оставила за мной.
Я по-старому считаю –
Не на новые рубли.
Доброта –
Она святая,
Как на небе журавли.

Владимир Осинин

* * *

Я знал его, сволочь такую.
– Вперед! – а сам по тылам.
И нынче он мудро толкует:
– Прекрасно, коль все пополам!..

Мы видели много идиллий,
И ты ерунды не морозь.
Вы с нами лишь беды свои делили,
А все остальное – врозь...

Анна Стругина

НАША ПОБЕДА

Со Станиславского, 24
Бежали – кто полугол, кто бос, –
Когда долгожданную весть о мире
Радиоголос ночью принес.

Изо всех дверей,
В темноте, на ощупь,
Наперегонки, скорей! Скорей!
Лавина катилась на Красную площадь.

Бежали на Красную площадь,
Впервые
Дали волю глоткам, слезам.
Отовсюду, кто есть живые,
Бежали и верили: выйдет сам.

Выйдет, устало плечи сутуля,
Тот, кто в сорок первом году
«Братья и сестры...» сказал в июле
И разделил с народом беду.

В сорок первом, когда качало
Землю под танковой ордой,
Бутылка о край стакана стучала,
Он каждый абзац запивал водой.

Выйдет сам... Однако не вышел
Отец двухсотмиллионной семьи,
Снова никто от него не услышал:
«К вам обращаюсь я, друзья мои».

Не вышел, не въехал в автомобиле
На наше горькое торжество.
В эту победную ночь заслонили
Тени погибших живого его.

Милана Алдарова

Из ненаписанных – виной война –
стихов моего брата.

БУДЕТ ЧЕСТЬ

Ох, не снимай с меня загодя мерку для ложа
последнего!
Ох, не заказывай, не запасай глазету
да гвоздиков!

На вчерашний мой дор не уложишь меня – короток!
Али резвые ноги рубить, али шалую голову!

А сколотишь дом-домовину, хоромы просторные,
размахнешься, зачуя силу мою великую, –

ан не вышло бы дыбой тянуть тонкие жилочки!
Чертыхаясь, ломать-дробить белые косточки!

Ты оставь ту думу-заботу – дознайся, что
впору мне.
Не пытай ни кофейное донце, ни звезды зоркие.

Народится еще мой Суд—
да не Страшный, поверь!—Праведный.

Будет молодцу честь—
под версту будет честь!—
а и Вечный Дом.

Олег Хлебников

* * *

Что касается тетки моей, то она
пострадала за анекдот.
Весела была тетка—даже война
не заткнула ей вовремя рот.

В это время любили тихонь и тех,
кто втихую тихонь не любил.
Анекдоты любили смешные. Смех
в это время раскатист был.

Этот смех раскатывался на всю страну:
от Коломны—до Колымы...
Выстояли Отечественную войну,
полегли в гражданскую мы.

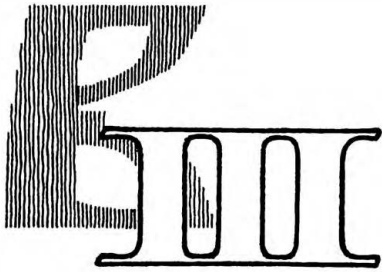
Олеся Николаева

* * *

Для того ли ты славы искал и просил—не по силам—
денег, власти, почета, чтоб ныне с пожухлым лицом,
получивши просимое, пить тазепам с барбамилом,
раздраженьем сочась, предынсультным налившись
свинцом?

Для того ль ты стучался, кричал, сотрясая высоты,
уводил у другого подругу и порохом пах,
чтоб всю жизнь с ней сводить застарелые мелкие
счета
и давиться зевотой, когда она плачет впотьмах?

Для того ль ты вздыхал об уделе, достойном
мужчины,—
продолжении рода, семейном борще с пирогом,
чтоб жилплощадь разменивать с сыном до самой
кончины
и с поимкою беглого зятя ходить в исполком?
...Обоюдно острѣ наши просьбы, как гибкие
бритвы,—
только жаль, что сберечь не смогли мы
на гибельный час
ни желанья крепкого,
ни дерзновенной молитвы,
а ведь вот—оказалось, что небо услышало нас!



АНКЕТА "ДНЯ ПОЭЗИИ 1988"

Мы обратились к критикам, пишущим о поэзии, с просьбой поразмышлять вслух над двумя вопросами:

1. Нужен ли всеобщий (массовый) интерес к поэзии?
2. Как вы относитесь к различным направлениям в поэзии восьмидесятых годов?

Формулируя эти вопросы, мы исходили из той очевидной озабоченности положением дел в поэтическом цехе, которая не оставляет в последние годы как писателей, так и читателей. Кроме того, нам хотелось побудить всех участников «Круглого стола» к лично заинтересованным, эмоциональным («неформальным», как теперь говорят) суждениям. Вот почему первый вопрос так раздражающе риторичен, на что обратили внимание почти все отвечавшие.

Перед вами ответы критиков разных возрастов, установок, вкусов. Им была предоставлена полная свобода высказывания. Многие в их ответах характеризует действительную ситуацию в современной поэзии, а многое по-своему подтверждает бесспорную, как нам кажется, истину: о ком бы мы ни писали, мы пишем о себе. Теперь очередь размышлять и судить за читателем.

Редколлегия

Валерий Лысенко

1. Вопрос симптоматичен. У нас как-то всё так, в метафорических крайностях: либо элитарный аристократизм, либо массовый психоз; категорический императив либо безбрежный релятивизм. То, что между крайностями, отвращает как неинтересное или непонятное. А между — это вся жизнь, на крайностях она-то как раз обрывается.

Что нужно и что не нужно массам, решают они сами. Наше дело — стараться добросовестно проникнуть в корневые пласты явлений и посмотреть открытыми глазами, что там, в корнях, происходит.

В чем причина всенародного, граничащего с поклонением, интереса к творчеству Владимира Высоцкого? Всё ли тут мы сумеем объяснить массовым существованием звукозаписывающих и воспроизводящих устройств?

Для меня Владимир Высоцкий — огромная личность и безусловно великий Поэт. Он единственный из работающих в искусстве умудрился почувствовать, схватить, воплотить в себе и передать про-

исходящий незримо (может быть, в мировом масштабе) поворот в сознании миллионов: ориентацию, как на высочайшую ценность, на слиянность духовного и практического, внешней деятельности и внутреннего мира личности. Ценность нерасчлененного единства духа. В мире, где все деформировано, смещено, растащено в стороны, раздвоено и расщеплено, совершается мучительно трудное усилие выработать бытийно необходимый идеал человека — цельного, гармоничного, искреннего, открытого, деятельного, при сохранении всех присущих человеку противоречий, дарований, причуд. Ну и, соответственно, усилие если не воплотить этот идеал в собственной духовной реальности, так хоть увидеть его в другом.

Началось все это, положим, не вчера, длится уже века, но масштаб такой и энергию обретает только сегодня.

И странен вопрос — нужен ли массовый интерес...

Да нет, я несколько не придираюсь к словам, я просто фиксирую одну из особенностей «старого» мышления (понеже распространенного и живуче-

го), – мышления невариативного, то есть неспособного на деле принять и признать ценность разнообразия. Разнообразия во всем: в природе, в человеческих отношениях, точках зрения, идеологических доктринах, образах жизни.

2. Мы давно живем в плюралистическом хаосе, думая, что нас сковывает кем-то злонамеренно введенная монотонность. Плюрализм – многообразие целеполаганий, мешанина и вражда. Вариативность – разнообразие в движении к одной общей цели. Где эта цель? Кто назовет ее?

Отсюда и мое отношение к поэзии 80-х. Собственно, поэзии как таковой я почти не видел, не ощущал, не переживал. Были и есть поэты, к которым всегда интерес (мой интерес) сохраняется, поэты очень разные: Белла Ахмадулина, Булат Окуджава, Владимир Соколов, Игорь Шкляревский, Олег Чухонцев, Валентин Устинов... Да, наверное, еще с добрых два десятка хорошо работающих в поэзии людей разных возрастов, к кому отношусь с уважением, мог бы назвать, но сказать, что именно благодаря им совершалась во мне, в моей душе деятельность по выращиванию нового, лучшего, – этого сказать не могу. Значит, интерес мой по большей части носит не чисто человеческий, а профессиональный характер. А виноват ли в этом я сам? – не знаю.

Перечитывать постоянно Пушкина, Фета, Блока, Заболоцкого, Пастернака – интереснее, полезнее, здоровее для души.

Короче говоря, в это десятилетие современная поэзия несла в себе мало ...поэзии. Что касается стихов, в которых так или иначе отразились талантливые или беспомощные попытки поэтически осмыслить и передать происходящее вне и внутри души, то о них, о стихах, скажу определенно и скупой: при всем многообразии манер, стилей, тем, образов и проч. одно свойство объединяет всех стихотворцев – профессиональный дилетантизм. И крепким, умело сделанным, и выразительным, даже щемящим может быть стихотворение – а не превращает меня и не заставляет идти к высоте, к новой, более пронизательной мысли о мире и обо мне самом, строящемся и растущем, к новому, ясновидящему чувству, к обнажению оболочки души и страху коснуться ее.

Сказал и вспомнил мысль М. М. Бахтина, которая всегда звучит для меня прекраснейшей поэзией:

«Оболочка души лишена самоценности и отдана на милость и милование другого. Несказанное ядро души может быть отражено только в зеркале абсолютного сочувствия».

Кто из современных стихотворцев хотя бы приблизился к такому подлинно поэтическому пониманию сущности человеческого отношения человека к человеку?

Никто. Или у меня – незрячий разум (что вполне вероятно).

Но не вижу настоящей, истинной лирики. Все побивает и забивает в стихах эпичность. Блуждающий взгляд. И то хочется выразить и описать, и это, и пятое, и десятое. Нюансы понимания замещены нюансами средств передачи понимания: такую тенденцию вижу. Она возникла давно и длится, не думая прерываться.

Конкретных примеров приводить не хочу. Критиковать, то есть отрицательно разбирать стихи с целью убедить читателя в их поэтической несостоятельности или низким ценностным уровне (что, впрочем, одно и то же), считаю для себя занятием бессмысленным и неодобрительно отношусь к тем, кто печатно объявляет о своем неприятии того или иного поэта, тех или иных стихотворных строчек и т. п. Критика, кстати сказать, тоже стала сегодня массовой профессией дилетантов. Хороший, настоящий критик – это критик-философ, критик-психолог, критик-аксиолог. А штамп сегодняшнего хорошего критика – это ругатель, ниспровергатель, то есть паразитирующий на образцах критики XIX века, когда любовь приходилось проповедовать враждебным словом отрицанья. События же нашего века показали, что построить на ненависти что-либо разумное невозможно.

Поэзия как стихотворческое ремесло становится массовой – это я тоже вижу ясно. Отсюда вопрос: нужно ли, чтобы все наши граждане владели культурой стихосложения?

Будь моя воля, я бы ввел в стране поэтический всеобуч. Нужно, чтобы все умели сочинять стихи и различали, о чем уместнее сказать прозой, о чем – стихами.

Это не значит, что все могут безнаказанно посылать свои сочинения в редакции. Так же, как человек, любящий петь, не может безнаказанно идти в оперный театр и требовать, чтобы его прослушали.

Но работа над художественным словом развивает ум и душу – это, по-моему, аксиома.

Для начала было бы неплохо ввести в школе обязательный курс стихосложения.

Может быть, попробуем? Совместными усилиями – добьемся, чтобы с первого по одиннадцатый класс школьники учились сочинять стихи всех жанров? И чтобы со временем массовый интерес к поэзии стал таким же естественным и будничным явлением, как чтение газет...

Павел Горелов

1. Условимся для начала говорить именно о поэзии, а не о том, что научилось представлять собой от ее имени или паразитировать на ней. Е. Баратынский писал о себе:

Мой дар убог и голос мой негромок,
Но я живу и на земли мое
Кому-нибудь любезно *бытие*,
Его найдет далекий мой потомок
В моих стихах...

Бытие в стихах... Не существование, в котором все же очень много случайного, хаотического и кажущегося, а жизнь, проникнутая целостной идеей и возвышенная тем самым до осмысленного бытия, – вот что достойно сказать о себе: «я живу». Вот что любезно «на земли», и вот к чему все, на ней живущее, призвано. И когда стихи, помимо таланта их автора, обеспечены еще и бытием поэта, у нас появляются основания для разговора о поэзии. В противном случае, перед нами окажется столь привычное сейчас печальное зрелище: несомненный талант, но внутренне лишенный способности сказать правду...

Возможен к стихам такого таланта всеобщий интерес?..

И еще: Пушкин обладал уникальной способностью «внимать арфе серафима» и при этом читать плоды своих «мечтаний и гармонических затей» – ни много ни мало – «старой няне». Как и всегда у Пушкина, здесь втихомолку выговорена незыблемая и вечная мера для подлинной поэзии, которая ведь не только – навсегда, но и – для всех. Сейчас же непременно норовят в каком-то «своем времени» найти какого-то «своего читателя», предполагая, что есть еще и все остальные – «не-свои». Так уже нашел кое-кто и «своего Пушкина» – «мой Пушкин!» Поэтом «гармонические затей» современных версификаторов «старая няня», сказками которой наш поэт восполнял недостатки своего воспитания, едва ли бы дослушала, если бы только стала слушать их вообще...

Почему так?..

Какой-то тайный духовный недуг мучит современную поэзию, иссушая в ее творцах полнокровную жизнь сердца, этой человеческой сердцевины и средоточия. Понимаете, когда во всеуслышание начинаются разговоры о том, «как делать стихи», ясно, что ни о какой поэзии не может быть и речи. Или противоположная, щедро явленная сегодня крайность:

Пускай он (поэт. – П. Г.) выболтает сдуру
Все, что впотьмах, чудотворя,
Наворочит ему заря...
Все прочее – литература.

Безвозвратно прошли уже те времена, когда существовала возможность «выбалтывать» поэзию «сдуру». Но времена-то прошли, а желающие «чудотворить впотьмах», к сожалению, остались, и в каком-то устрашающем избытке.

Должен сказать и еще об одном: как ни силюсь, не могу представить себе никого из наших классиков, хотя бы Тютчева например, с, так сказать, намертво зажатом в руках поэтическим пером.

Между тем современному поэту его Гений велит с этим пером просто не расставаться.

– Петь не могу! – признается поэт.
– Это – воспой! – требует Гений.

Хорошо, что нам уже известно то, чем кончаются добросовестные послушания подобным велениям... Очевидно, поэту есть кого слушать и помимо так называемого Гения, а проще говоря – Самого Себя. Как писал наш Пушкин:

Веленью Божию, о муза, будь послушна...

Такое послушание для музы – единственно правильный залог жизни сердца. О том же писал и Достоевский: «Правда выше Некрасова, выше Пушкина, выше народа и потому надо желать одной правды и искать ее...» Мне симпатичен поэтому образ поэта у Н. Заболоцкого, который, «бросая перо», «старается *сердцем* понять То, что могут понять Только *старые люди и дети*». Вот определение для содержания подлинной поэзии, вот: «собеседник сердца» – определение и для подлинного поэта. Ни к тому, ни к другому всеобщий интерес никогда и не угасал, если только ни то, ни другое не угасает прежде само.

Иначе говоря, всеобщий интерес к поэзии – неотменимый признак ее подлинности.

2. Должен сознаться, что не чувствую в себе непреодолимой потребности знать современную поэзию, не боюсь пропустить в ней что-то или с чем-то вовремя не познакомиться. И смею думать, что в этом, к сожалению, могу сознаться не я один. Теперешняя поэзия как-то и не пробуждает необходимости знакомства с нею, и, осмелюсь выговорить, незнание это даже не способно объединить моего современника, если, разумеется, речь пойдет о чем-то самом глубинном и главном для каждого человека и если современник мой, конечно, успел уже полюбить русскую поэтическую классику.

В современной поэзии мне близка чистая печаль Н. Рубцова, я помню светлые раздумья А. Прасолова и родную мысль А. Передрева, неизменно чту поэтическую тактичность В. Казанцева и привык уважать своеобразие Н. Тряпкина, всегда читаю, даже когда он блефует, будоражащего Ю. Кузнецова и верю прямому и горячему слову С. Куняева, из молодых же, которых знаю совсем мало, с интересом прислушиваюсь к строгому голосу А. Позднякова и честному косноязычию В. Карпеца, к лукавой неожиданности В. Казакевича и пленительно-чистым звукам еще только начинающего А. Роскова... Не могу без содрогания читать «экспериментальное» синтезаторство, если бываю вынужден его читать...

Вообще же направление у поэзии было (до 80-х), есть (в 80-х) и будет (после 80-х) только одно – сама поэзия. И важно не подменять ее – разговорами о ней. Особенно сейчас. Позволю себе напомнить, что

1988 год – это год 1000-летия русской книги: «...в 6496(988) году... Владимир... Послал собирать у лучших людей детей и отдавать их в учение книжное... тем самым сбылось пророчество на русской земле: «В те дни услышат глухие слова книжные...» («Повесть временных лет»).

Так что нынешний «День поэзии» должен быть обеспечен тысячелетием поэтической традиции. Именно этот 1000-летний масштаб дает нам право выверять сейчас в поэзии все подлинное и мнимое его мерою, а вовсе не жалкой линейкой, рассчитанной по противоположности к «застойному периоду». Согласимся, что многие произведения, в этот самый период «застоявшиеся», как «утопленник» Пушкина, стучатся сейчас у нас «под окном и у ворот» только потому, что мы их в свое время от всех редакционных берегов опасливо отталкивали. А всего-то и стоило – их опубликовать для правильной смерти.

В связи же с упомянутой годовщиной у нас появляется дополнительная возможность присмотреться духовно еще раз к забитому, заваленному руслу живого истечения нашей народной силы и расчистить ее вековые источники, применительно к поэзии, например, гимнографию. Это, без сомнения, поможет и нам собраться с самых далеких распутий не нашей жизни и не нашей мысли и поэзии нашей поможет сохранить ее главную заповедь: «чистой душою правду блюсти» (А. С. Пушкин).

Вадим Дементьев

1–2. У нас любят порассуждать о читателе. И так и эдак склоняют его пристрастия, вкусы, потребности и интересы. С легкостью необыкновенной (особенно критики) произносят это магическое слово-понятие. Но имеем ли мы реальное представление об этом явлении и что мы можем конкретно сказать о современном любителе поэзии, если воспользоваться этим несколько слащавым определением? Ведь без такого объективного знания любой разговор о популярности «все это так – из головы».

Вообще, сам вопрос о необходимости широкого отзвука для поэзии выглядит риторическим. Он возникает, если налицо две крайности – либо стихи пользуются массовым спросом, народной популярностью, либо когда есть ощущение, что поэзия не «звучит», особенно современных авторов. Мне думается, что в 80-е годы одновременно присутствуют эти две полярные тенденции интереса к поэзии. Впрочем, они всегда были характерны для отечественной литературы.

С одной стороны, степень просвещенности народа, его культурного потенциала заложена именно в интересе к поэтическому слову как «коренному» в искусстве. Классика поэзии у нас глубоко чтима,

пользуется народным откликом. Достаточно сослаться на последний рекорд в издании поэзии – двадцатидвухмиллионный «безлимитный» Есенин. Что тут можно возразить?!

Но с другой стороны, были и есть поэты с негромким голосом, не рассчитанным на массовую аудиторию, которым не «одинок» и со своей славой. Их книги ищет тот, кто знает, что он в них может найти.

Но для тех и для других поэтов имеется немало общих точек соприкосновения, главная из которых заключается в том, что их поэзия была или существует ныне «чуть выше» современных умонастроений. Говорю не о какой-то избранности (хотя и она реально существует, сколько бы мы ни подгоняли живую жизнь под единые показатели), не о надмирности позиции творца, а всего лишь о характерной особенности жанра. Всё, что иной раз выглядит новацией для большинства, поэзия выразила гораздо раньше, не между строк, а в самой атмосфере стиха, в его дыхании, в образном видении, в неоднозначности оценок. А что ждет нас в будущем, она столь же интуитивно выражает сейчас. Это, если хотите, тайна, но тайна, открытая для всех.

Вот почему поэзия столь явственно необходима всем и каждому, вот почему она в одно и то же время массово популярна и замкнуто одинока. Отсюда и интерес проявляется, либо в рассеянном отражении (большой читатель), либо в направленной концентрации (малый читатель).

Развиваясь одним потоком, единым организмом, отвергая наши субъективистские оценки, типа деления на десятилетние среды или же разграничений лирики на «тихую», «громкую», поэзия плодотворна разнообразием своих внутренних поисков, течений, даже споров. Лишь бы не было «школы равнодушных» (Николай Тихонов).

Такая «всеядность» представляет собой отнюдь не дань времени. Мы устали от искусственного насаждения одной точки зрения, от агрессии одного взгляда и разумения. Широта приятия мира, его неоднозначности сегодня вступает в явное противоречие, даже борьбу с доморощенным эстетством и «охранительной» функцией. В этих крайностях, думается, уже не высечь никакой искры нового откровения.

Вместо показа истинного богатства, поддержки разнообразия и полифонизма традиций мы усредняли дарования, принижали их, боялись истинного раскрепощения духа. Вместо понимания сложной диалектики революционного и эволюционного путей развития культуры мы схоластически уповали лишь на первый, отсчитывали от него все достижения и успехи, забывая, принижая эволюционный путь развития, находившийся, естественно, в неразрывной связи с революционными изменениями. Сегодня потери в каждой литературе всплыли особенно явственно – это и духовное наследие прошлого, таившееся за семью замками, и новаторская

сущность тех, кто « всю жизнь стремились быть как все ».

Не знаю, нужен ли этот разговор в московском « Дне поэзии ». Но мне кажется, что по традиции столичная поэзия собирательна, она вмещает в себя всю боль и всю радость отечественной культуры. Собирателен и наш поэтический ежегодник.

Владимир Куницын

1. А нужен ли массовый интерес к ботанике или химии? Массовый интерес не зависит от наших хотений или волевых рекомендаций.

Он формируется загадочно, изнутри себя, но и поддаваясь столь же таинственным процессам социально-духовной ситуации, реагируя на нее. Впрочем, не всегда здесь возможно уловить прямые закономерности.

В конце 50-х – начале 60-х массы прильнули к поэзии. Сегодня – не то. В лучшем случае вялый, сомневающийся, скептический интерес.

Ну и что? Это вовсе не говорит о том, что качество поэзии стало хуже, что нет или мало превосходных поэтов. Все разговоры о кризисе современной поэзии, на мой взгляд, результат некоего « рыночного » подхода к духовным процессам.

Короче говоря, я вообще не верю в серьезность массового приобщения к столь интимному и таинственному событию, как встреча со « своим » поэтом. Ибо из всего литературного богатства родов и жанров поэзия – наиболее сокровенное чудо, самое тесное слияние двух одиноких душ.

2. Поэзия 80-х это прежде всего, как мне кажется, молодая поэзия. Поэзия дебютантов.

Мое отношение к этой поэзии самое оптимистическое. Этот оптимизм питает прежде всего обилие очень одаренных людей среди дебютантов 80-х. Это М. Шелехов, М. Попов, В. Казакевич, И. Жданов, В. Лапшин, О. Кочетков, М. Гаврюшин, В. Артемов, Н. Мирошниченко, Т. Реброва, Т. Смертина...

Один ряд. Но есть и другой: А. Парщиков, В. Коркия, И. Иртеньев, М. Поздняев, В. Салимон, В. Долина, А. Чернов, А. Лаврин...

Я не продолжаю « списки », лишь обозначаю.

К сожалению, эти два ряда так в критическом сознании и противостоят друг другу, подчас и помимо воли самих поэтов. Возможно, это неизбежный и необходимый период – период размежевания. Естественная болезнь, в которой высокая температура неприятия чужих творческих установок и позиций должна в итоге привести к кристаллизации своих обретений, а также потерь.

А уж потом – *понять* других, непохожих.

Наиболее грубо борьбу (или соперничество) этих двух основных направлений в молодой поэзии я бы определил как борьбу *демократического* слова со

словом *эстетствующим*. Ведь даже на, казалось бы, широко открытой иронии И. Иртеньева (явно тяготеющей к стилистике обернутов, того же Хармса или Н. Олейникова) лежит осязаемый слой эстетизма, часто роднящий эту иронию, увы, с презрительным отношением к вероятному культурному и нравственному достоинству читателя или слушателя. Игра на грани фола.

Однако мне эта борьба интересна. И хотя я отдаю предпочтение поэзии открытого чувства, при всем возможном разнообразии форм, от Пушкина до позднего Пастернака, мне кажется, что и эстетические поиски даже в крайней степени выражения – бесполезны для нашей поэзии вообще.

Здесь, конечно, нужна оговорка: два приведенных мною ряда поэтов – упрощают и заостряют картину в целом. Эти две « стаи » уже сегодня не однородны. Их сбили вместе, как мне кажется, во многом и приводящие обстоятельства, мало имеющие отношение к собственно поэзии. « Птицы » неизбежно начнут, и очень скоро, откалываться от совместного полета.

В любом случае очевидно то, что кладбищенская тишина и единомыслие нам в поэзии не грозят. И слава богу.

Очевидно и другое – там, где душа обретает свет, она неизбежно расстается с коростой словоблудия.

Владимир Бондаренко

1. Я бы не ставил вопрос так определенно. Полезен ли? Несомненно. Бывал ли в прошлом этот массовый интерес? Неоднократно, да еще какой! Ожидается ли в будущем? Опять же несомненно и неоднократно. Думаю, что массовый интерес к поэзии не столько зависит от самой поэзии, ее качества, наличия больших поэтов в ту или иную эпоху, сколько от содержания самой эпохи.

На гребне массового интереса шестидесятых годов даже весьма средние поэты обретали чуть ли не всенародную популярность. Только в то время такая камерная поэтесса, как Б. Ахмадулина, смогла стать широко известной. Даже те, кто стихов не читает, знали ее имя.

Последним популярным поэтом за минувшие десятилетия стал Николай Рубцов. А, скажем, такой, на мой взгляд, крупный поэт, может быть, наиболее заметное явление в поэзии семидесятых годов, как Юрий Кузнецов, несмотря даже на шумную газетную полемику вокруг его имени и нескольких эпатажных строчек, самому широкому читателю неизвестен. Да и влияет ли массовый интерес к поэзии на саму поэзию? Не один раз времена мнимого затишья давали в отечественную и мировую классику гораздо больший поэтический урожай, чем времена массового интереса.

Шестидесятые годы породили «звездную болезнь» в поэзии. Зараженные ею такие кумиры толпы, как Е. Евтушенко и А. Вознесенский, не могли уже и месяца прожить без шума вокруг своего имени. Весь застойный период они вынуждены были, чтобы удержаться на плаву, откликаться на массу ненужных вещей. Критики пари между собой держали, кто из них первым отзовется на любое крупное (или мнимокрупное) общественное событие. В конечном счете это сказалось и на качестве большинства стихотворений этих двух несомненно талантливых литераторов. Так что массовый интерес к поэзии может и погубить того или иного поэта, загубленного ненужной популярностью.

Несомненно, поэзия первой откликается на истину революционные события. Массовый интерес к поэзии связан с возбуждением в обществе. И если сегодня еще нет нового поэтического взрыва, говорит это не о состоянии современной поэзии, а о медленном пробуждении общества.

2. Отношение самое положительное к самому наличию различных направлений в поэзии любых лет. Я – за создание журнала «Эксперимент», где бы печатались любые экстравагантные, ультраавангардистские стихи. За метафористов и традиционников.

Прежде всего – за талант. А талант заметен в любом направлении. Мне самому, как читателю, ближе поэзия Ю. Кузнецова и В. Устинова, О. Чухонцева и С. Куняева, Н. Тряпкина и В. Кочеткова. Но всегда читаю с интересом стихи И. Жданова, Г. Калашникова, И. Шкляревского.

Как на детские забавы смотрю на голое экспериментирование, все эти поэтические акты и ребусы Пригова, В. Некрасова и других. От чего нам надо решительно избавляться, так от ненужного шума вокруг подобных экспериментов. Помню, как в Югославии, на конгрессе Пен-клуба, нас забрасывал брошюрами местный экспериментатор, как старательно зазывали немногочисленных слушателей поэтические экспериментаторы в Варшаве. Давайте же снимем с наших «изобретателей» флер запретности, на которой и держится во многом их слава. Пусть выпускают журнал тиражом двести экземпляров – больше подписчиков не наберется.

А главное направление в нашей отечественной поэзии, думаю, связано не столько с той или иной формой стиха, сколько с духовным наполнением его, с обращением к ЧЕЛОВЕКУ.

Сергей Чупринин

1. Уверен, что необходимо различать интересы читателя – и общества в целом, потребности поэта – и поэзии в целом как сложно организованного «экологического» единства.

Читатель, отдельно взятый, может распрекрасно прожить вообще без стихов, найдя откровение и

утоление, заветное слово либо в художественной прозе, либо – еще чаще – в прозе деловой, в разного рода инструкциях, постановлениях, докладах, служебной переписке и т. д.

Это аксиома.

Поэт, отдельно взятый, может – добровольно ли, вынужденно ли – прожить без читателей, обращаясь либо к богу, к потомкам, либо – что точнее – к предельно узкому кругу посвященных – как, допустим, зрелый Тютчев или – воспользуемся более близкими к нашим дням примерами – как Мандельштам в тридцатые годы, Заболоцкий в сороковые, Тарковский в пятидесятые, Бродский в шестидесятые, Айги в семидесятые и молодые «нонконформисты» в начале восьмидесятых...

Это тоже аксиома.

Но что из сказанного явствует? Ничего, кроме того, что не существует правила без исключений. А правило это все-таки в том, что общество и поэзия друг без друга обойтись не могут. Размолвки между ними, конечно, возможны, особенно в тех случаях, когда в дело вмешивается «третий лишний», например цензура; неважно, политическая или вкусовая – так сказать, «эстетическая». Но даже и в эпохи глубокого, казалось бы, взаимонепонимания (их обычно называют «непоэтическими») не вовсе вымирают, во-первых, те из читателей, кто хранит непоказную верность Прекрасной Даме русского стиха, а во-вторых... если гнать природу в дверь, то она входит в окно.

Так – вопреки запретам, а в известной мере и благодаря им – в списках, в ксерокопиях, в тысячестой молве вошел к нам Бродский, и вошел в те еще шестидесятые, когда обществу и знать-то о нем не полагалось.

Так – не увидев своих стихов в печати – Высоцкий и поэты его круга рыдающим гитарным перебором компенсировали выполку с печатных страниц всего, что впрямую, без опосредований было связано с гражданской болью, с жизнью улицы, с протестом против мертвящей бюрократической этики и эстетики.

Можно ли назвать интерес к Бродскому, к Высоцкому всеобщим? Уверен, что да, хотя степень расслышанности в каждом из этих случаев, конечно, различна. Дух дышит где хочет, не сверяясь ни с инстанциями, ни с литературно-критическими святыми, и читательская заинтересованность перемещается в этом смысле вслед за ним, покидая обжитые пределы, но не предавая, впрочем, тех, кто этой преданности достоин, ибо Самойлов и Шкляревский, Ахмадулина и Чухонцев, Соснора и Кушнер, Вознесенский и Жигулин не растеряли своих читателей на пути сквозь недавнюю, слышущую «непоэтической» эпоху. Лучшие наши поэты убытка в эти годы не понесли, лучшие наши читатели тоже, чего не скажешь о поэзии в целом. И об обществе в целом тоже.

2. Теперь – о направлениях.

Зрелый поэт в них, конечно, не нуждается, как не нуждается и в массовом отклике. «Усовершенствуя плоды любимых дум», он зачастую, по пушкинскому слову, «уединяется совершенно», как бы выпадает из литературного процесса с его борьбой направлений, раздорами (иногда случайными) и единением (сплошь и рядом иллюзорным) подобно тому, как кристалл выпадает из переставшего ему быть необходимым перенасыщенного раствора.

Это нормально. Но чтобы нормально вылезть, поэту – даже и очень в перспективе крупному – в любом или почти в любом случае нужно пройти сквозь этот «раствор», выверить себя, сполна ощутить и свою особость, и свою неодинокость в литературе. Футуризм, конечно, обязан Маяковскому многим, но и Маяковский обязан футуризму вред ли меньшим.

Молодые поэты, не набравшие еще силу, равно как и поэты небольшого калибра (тоже ведь весьма небесполезные в плане экологии культуры) интуитивно чувствуют потребность в катализаторах и в «коллективности». И не их вина, что в семидесятые годы, когда силы разобщения взяли верх и каждый принужден был сопротивляться и расти в одиночку, катализирующее «направленчество» было словно бы изъято из литературного процесса, заменено принудительной и внутренне фальшивой, ханжеской «консолидацией». Выжить удалось, кажется, только сообществу поэтов, работающих в жанре «авторской песни»...

Сейчас литературный процесс возвращается, надеюсь, к норме, и не случайно, что первыми стали сбиваться в «направления» (концептуалистов, метаметафористов, полистилистов и т. п.) именно молодые поэты. Логика времени, логика процесса вызовет, думаю, самоопределение и других творческих общностей. Когда это произойдет, определится и отношение критики к каждому из направлений.

Юрий Болдырев

1. Интересно, сколько лет еще будет висеть над нами, давить на нас, вспоминаться и вызывать на подобные вопросы, которые, кажется, еще в первой трети нашего века никому в голову не приходили, поэтический бум 50–60-х годов? Наверное, пока не уйдет из жизни его последний участник и свидетель. И тогда свободные от его гипноза потомки, случайно наткнувшись на эту старую для них книжку и напорвшись на этот вопрос, резонно подумают: а в своем ли уме были наши предки?

Во-первых, массовый интерес к поэзии невозможен. Поэзия – не массовое искусство, не кино и даже не театр. Стихотворение адресовано читателю – тому, который его в этот момент читает. То, что

адресовано слушателю, толпе слушателей, – в подавляющем большинстве случаев плохое стихотворение. Хорошее же можно прочесть в зале и на стадионе, но оно при этом исказится, огрубеет. Тот, кто не преодолеет стадионного впечатления перечитыванием этого стихотворения, вниканием в его смысл и красоту, – так и не откроет их для себя.

То, что было в 50–60-х годах, не интерес, а бум, а если и интерес, то не к поэзии, а к публицистике, часть задач которой взяла на себя тогдашняя поэзия. И очень многие из тех, кто рвался тогда в Политехнический музей и в Лужники на поэтические вечера, давно не читают стихов вообще, а тот, прежний интерес, если он не растерялся и не затух совершенно, совершенно закономерно перенесся на статьи Н. Шмелева, А. Стреляного, Ю. Карякина и других блистательных журнальных ораторов наших дней.

Тогдашний бум, внешне поспособствовав поэзии (как возросли тиражи! как разбухли полки со стихами в домах и в библиотеках!), внутренне очень навредил ей. На долгие годы у читателей и у стихотворцев испортился вкус, искалечился слух, исчезло золотое чувство меры. И как же этим воспользовались поэтически проходимцы!

Интерес к поэзии не должен быть ни массовым, ни элитарным. Он должен быть нормальным.

2. И этот вопрос мутен. Выслушивая иные вопросы, ловишь себя на том, что хочется сильнее тряхнуть головой, чтобы избавиться от дурмана алогичности.

Поэты старшего и среднего поколений выпростались из коконов направлений и, если не уткнулись в тупик, следуют каждый своим единственным путем.

Среди молодых самое шумное и самое известное направление – метаметафористы. Так вот, к Жданову у меня одно отношение, к Парщикovu – другое. А к направлению нет никакого отношения.

В стаи более пристало собираться молодым волкам. Старый волк охотится в одиночку.

Человек, если ему вообще нужна поэзия, если в своей духовной жизни он не может обойтись без стихового чуда и без чудесного стиха, не нуждается в направлении. Он нуждается в поэте.

Евгений Сидоров

1. «Всеобщий интерес к поэзии» – это было бы ужасно! Это означало бы, что поэзия умерла, вернее превратилась во что-то другое, чему пока не придумано названия. Массовое читательское чувство к современному поэту и к поэзии возникает как реакция, как тайный ответ на подавление свободы выбора в общественном, но не в художественном смысле (В. Высоцкий). Глубокие эстетические причины объединяющей роли здесь не играют, и это

счастье для искусства, которое по природе своей не может быть компенсацией чего бы то ни было.

2. Меня, как читателя и критика, больше интересуют не направления, а поэты. Это достаточно интимное чувство, напоминающее общение с хорошей музыкой. Пожалуй, я согласен с Александром Межировым: «Читателем поэзии не становятся, а рождаются». И поэтов любишь не целиком, а только то, что тебе в них близко, пусть даже это будут Пушкин или Есенин.

Вообще крепостная зависимость от литературных суждений, ставших общепринятыми, серьезная беда нашей поэтической критики, которая больше занята именно «направлениями» и «группами», нежели собственно поэтическими текстами и тем, что стоит за ними. Ведь только преодолев направление, стихотворец становится поэтом, выразителем своего времени. Такова, к примеру, судьба Бориса Слуцкого.

Есть ли у нас новая молодая поэзия? Думаю, что есть. Просто нам некогда ее услышать и понять. Слишком сильна инерция критического мышления, настроенного, как правило, на идейно-тематический лад, на стилевую усредненность. Мы все время толкуем о традиции, забывая, что каждая большая традиция была в свое время оглушительной, праздничной новизной.

Лев Аннинский

1. Вопрос поставлен так, что каждое слово хочется пошатать.

Почему популярность – необходима? Поэзия свободна быть или не быть популярной. В ней есть ценности, которые могут стать популярными, и наряду с ними ценности, которые предназначены для индивидуального, даже интимного отклика.

Почему популярность – всеобщая? А если она умеренная, относительная, как, скажем, популярность Вознесенского – преимущественно в кругах городской интеллигенции – или популярность Рубцова – в кругах интеллигенции сельской (не по прописке, по внутренней ориентации)? Всеобщая – «китайское» какое-то слово, я его плохо понимаю. Чем более «всеобщей» становится популярность Высоцкого, тем меньше хочется ступать в этот след. То, что Вл. Корнилов «непопулярен», не мешает мне считать его лучшим поэтом моего поколения.

Короче говоря, поэзия сама по себе, популярность сама по себе. Связь тут изменчива. Некрасов был очень популярен к концу жизни, а Фет сидел в глухом лирическом одиночестве; прошло сто лет, и выяснилось, что Фет необходим тем же миллионам людей, но не для манифестации чувств, а для тихого

вживания. Аналогичная пара: Маяковский – Мандельштам. Когда кто нужен? Это вопрос ситуации. Где критерий популярности? Это решается практически. Заранее не угадаешь.

2. Если считать главным поэтическим направлением 80-х годов «метафористов», то я отношусь к ним со спокойным уважением и вежливым любопытством. Тут много одаренных людей (в России их везде много), но их опыт от меня далековат. Мир, рассыпанный на элементы, не увлекает меня как объект эстетического переживания, потому что это для меня источник бытийного ужаса. Иосиф Бродский, «из которого» вышли теперешние «метафористы», этот ужас вместил, и я его принимаю, а его последователи работают в технике ужаса, и я не могу принять эту игру в обломки как в игрушки. Конечно, их эксперименты – тоже реальность, но я-то – другой.

Что до прочих направлений («гражданская лирика», деревенская ностальгия и пр.), то тут в 80-е годы ничего принципиально нового не появилось, и, соответственно, нет у меня никаких новых чувств и мыслей.

Ирина Роднянская

На вопрос о течениях в сегодняшней поэзии я, как умела, ответила статьей в № 3 «Нового мира» за 1988 год. По другому же поводу – относительно отсутствия массового интереса к поэзии – в голову приходят два соображения: ближайшее, лежащее на поверхности, – и вдогонку – его опровергающее или, во всяком случае, поправляющее.

Ближайшее состоит в том, что стихи не могут и не должны быть предметом массового потребления. Что тут всеобщий интерес к публичным выступлениям поэтов нового поколения, к первым сборникам их стихов, какой имел место четверть века назад, был вызван не столько жаждой напиться из ключа Ипокрены, сколько жаждой услышать свободное злободневное слово – броское, лозунговое, раскупоривающее гражданские эмоции, высвобождающее энергию личности. Сейчас это слово звучит в публицистике, и ее читают шире, чем поэзию, – во всяком случае, прежде поэзии и даже прежде прозы. Что до поэзии – тут уже успел «отстояться» круг своих читателей – менее многочисленных, но более, так сказать, надежных. Посмотрите на прилавки книжных магазинов: все сколько-нибудь яркое раскуплено, «селекция» проведена почти безупречно, – а лежат и пылятся материализованные ошибки издательской политики...

Все так, но тревога не покидает. Малотиражность многих поэтических книжек, общая ситуация книжного голода вуалируют тот, неоспоримый все

же, факт, что *потенциальная* аудитория поэзии неуклонно сужается. Другими словами, если сегодня или завтра литературный процесс приведет к неслыханному подъему поэтической стихии, это явление может пройти мимо «большого» читателя, и творческая волна будет даже гаситься равнодушием публики.

В жизни общества все взаимосвязано. Мы ищем ответа на своем пяточке, а он лежит в более широком горизонте. Люди, читатели, создавшие поэтический бум шестидесятых, — из какой школы они вышли? Из «старой», дисциплинарной, «сталинской», с отдельным обучением, с «оглуляющей» программой. Из школы, где «не проходили» Блока, где все толковалось «вульгарно-социологически». Да, но в этой школе заставляли заучивать наизусть (ужас! зубрежка!) и спрашивали «у доски» множество поэтических строк: и начало «Слова о полку Игореве» — по-древнерусски (помню до сих пор со школьных времен), и басню Крылова, и «Деревню» Пушкина, и «Размышления у парадного подъезда» Некрасова, и монологи Чацкого. Когда вам скажут, что все это отбивало вкус к классике, не верьте. Вкус к ней отбивают пояснения, а не звучащий текст, и в дальнейшем как раз текстов становилось все меньше, а пояснений — все больше... Короче говоря, «старая» школа давала людям, *способных* стать любителями стихов в силу доброй привычки к существенному поэтическому слову, к «мысли, оперенной рифмами». В шестидесятых годах они расслышали и свежую мысль, и свежие рифмы — пусть мысль и была часто поверхностной, а рифмы — чересчур уж «корневыми».

Помните, что знал, что умел Онегин с его тоже на свой лад хромающим, но все же гуманитарно-эстетическим образованием? Он мог «потолковать об Ювенале, в конце письма поставить вале, да помнил, хоть не без греха, из Энеиды два стиха». Поэзии он не любил, но из круга столько же знавших и так же образованных людей выходили и почитатели Пушкина. Переводя все это на современные параметры, — у нас школа, даже провинциальная, когда-то выпускала людей, могущих если не «потолковать», то хотя бы связать два слова о Грибоедове, если не «поставить», то хотя бы вспомнить, что значит «в конце письма» латинские литеры P.S., и «не без греха», но все же процитировать наизусть строфу из «Евгения Онегина». Сейчас таких людей (как можно судить хотя бы по новейшей телепередаче о старшеклассниках) сильно поубавилось. Выросла аудитория, полностью оторванная как от народного стихотворчества (песни, частушки), так и от книжного. Без стиха она не живет (сие человеку не под силу), но поэзией искренно считает рок-тексты (которые в подавляющем большинстве своем на редкость дурны — как «залитованные», так и «неофициальные») и так же искренно не понимает, почему старшие, еще помнящие «два стиха» из Пушкина, при этом морщатся...

Проблема интереса к поэзии, как и вообще судьба культуры, упирается в трагическую проблему школьного образования. Вот о чем я хотела напомнить людям, до беспамятства спорящим о популярности отдельных имен и направлений.

Владимир Гусев

1. Вопрос поставлен слегка неправильно. Кому он нужен-то? И к какой поэзии? Государству для его благополучия? В конечном итоге нужен, как всякий интерес к духовной деятельности, ибо такой интерес — это сила созидательная, а не разрушительная. Но тут возможны разные «обратные» ситуации: иногда за поэзию, и притом как раз массовую, выдается такое, что не выражает ничего, кроме стадных разрушительных инстинктов или стандартизации человека. Нужен самому человеку? Но пойдете ему, например, доказывать, что он нужен, если ему медведь на ухо наступил и он просто равнодушен к стихам, хоть тресни. Или если он сам считает, что нужен, но опять-таки подразумевает под поэзией такое, что, по сути, не имеет к ней отношения. Так что я бы сказал: нужен к настоящей поэзии. Тут встанет и вопрос, что же такое настоящая поэзия? Настоящая поэзия это такая поэзия, которая в компактной и концентрированной форме напоминает нам об истине, добре и красоте, а не о чем другом. Ограничусь этим. Так что, как видим, нужен, но с определенными условиями: нужны расшифровки. Общество, не готовое к массовому восприятию подлинной поэзии, лучше бы и вообще не интересовалось поэзией на массовом уровне.

2. Вопрос этот, как мы знаем, более «суетный», чем первый, ибо он связан с напряженной стиливой и жизненной борьбой в поэтической среде 80-х годов. Что тут можно ответить? Все жанры хороши, кроме скучного. Метафора и Хлебников или прямое высказывание как традиция? «Обериуты» или Ахматова? Пастернак или Мандельштам? Мне кажется, ни одна из традиций не дала еще чего-то внутренне законченного, того, что называется — «мир поэта». Предпочтительней других выглядит условная линия Баратынский — Тютчев — Блок — Заболоцкий. Не хотелось бы называть имен, ибо это люди житейски чрезвычайно разные между собой, разного поведения и внешней направленности, и объединение их в некую «одну группу» повлекло бы необходимость объясняться еще 5–6 страниц, а тут места нет. Но, кстати, это еще раз говорит о том, что житейская борьба житейской борьбой, а поэзия имеет свои законы.

1–2. Как ни странно, подчас труднее всего бывает заметить совершенно очевидные явления; мы главным образом стремимся разглядеть то, что разглядеть нелегко, а вполне очевидное попросту упускаем из виду. Только благодаря этому мог сегодня возникнуть сам вопрос: «Нужен ли всеобщий интерес к поэзии?»

Во второй половине 1970-х – первой половине 1980-х годов книги Тютчева, Фета, Блока, Есенина и даже Рубцова были изданы миллионными тиражами, но приобрести эти книги можно только на «черном рынке» за трех-, пяти-, десятикратную цену. Какие же могут быть ныне сомнения во «всеобщем интересе» к поэзии? Правда, этот интерес возник (притом неожиданно и стремительно) лишь лет десять – пятнадцать назад. Ранее существовал интерес не к поэзии как таковой, но к злободневным и имеющим привкус сенсации репортажам и фельетонам в стихах, а стихи классиков выходили сравнительно небольшими тиражами, нередко залеживались на прилавках годами и даже уценялись... Теперь же интерес к поэзии в собственном смысле слова стал достоянием миллионов людей. Это, разумеется, не значит, что все они способны по-настоящему освоить истинную поэзию, но в наличии интереса к ней никак нельзя сомневаться.

Когда говорят о сегодняшнем «упадке» интереса к поэзии, речь идет в действительности только лишь о том, что широкие круги читателей не имеют возможности выделить среди сотен и сотен современных авторов, издавших в 1980-х годах стихотворные книги, тех немногих, которые заслуживают внимания наряду с классиками.

И здесь я, естественно, перехожу к ответу на второй вопрос анкеты. За 1980–1987 годы появилось немало стихотворений самого высокого уровня, достойно продолжающих дело Пушкина и Тютчева, Блока и Есенина, Заболоцкого и Твардовского. Такие стихотворения есть в книгах и журнальных публикациях поэтов разных поколений – Николая Тряпкина и Виктора Кочеткова, Станислава Куняева и Василия Казанцева, Юрия Кузнецова и Виктора Лапшина. Правда, и последние из названных давно уже перешли сорокалетний рубеж; более молодых создателей истинных образцов поэзии назвать трудно.

И в этом факте выразилась некая закономерность, которая покамест не исследована и тем более не осмыслена. Для подлинного становления поэта (именно поэта – с прозой дело обстоит по-иному) необходим, по всей вероятности, своего рода социально-исторический «взрыв». Это становится ясным, если внимательно проследить историю отечественной поэзии. Очень раннее созревание целого ряда поэтов, родившихся в конце XVIII – начале XIX века, связано, надо думать, с тем, что они еще в

отрочестве и первой юности пережили события 1812–1815-го или, как Веневитинов, Огарев, Лермонтов, – 1825 года.

Следующая плеяда поэтов, родившихся на рубеже 1810–1820-х годов, – Некрасов, Фет, Полонский, Майков, Аполлон Григорьев, Алексей Толстой, – обретает зрелость в значительно более позднем возрасте, во время Крымской войны 1853–1856 годов и последовавшей за ней эпохе реформ. А поэты, родившиеся в 1850–1860-х годах, – Анненский (1856), Ф. Сологуб (1863), Вяч. Иванов (1866), Бунин (1870), – по-настоящему утверждаются в поэзии, лишь приблизившись к сорока- или даже пятидесятилетнему возрасту, в преддверии или во время революции 1905–1907 годов, то есть совместно с теми, кто был значительно или даже гораздо моложе их, как Блок или Андрей Белый, родившиеся в 1880 году.

Становление последующих поэтических поколений связано с 1917 годом, с трагедийным временем коллективизации (когда определилась поэтическая и жизненная судьба Заболоцкого, Павла Васильева, Смелякова), Великой Отечественной войной, переломным 1956 годом.

Тем же, для кого сознательная жизнь началась в 1960–1970-е годы (то есть родившиеся в конце 1940-х и позже), не дано было пережить такого социально-исторического события, которое могло бы вызвать в их душах потрясение, высвобождающее мощную поэтическую энергию.

Нынешнее переломное время, надо думать, может решительно подвинуть к зрелости не только тех, кому от двадцати до тридцати лет, но и тех, кому уже давно за тридцать и даже за сорок лет. Но нельзя не сказать, что сегодня поэтов подстерегает опасность пойти по самому легкому пути прямого «отражения» событий (так случилось со многими после 1956 года). Необходимо помнить, что подлинно значительные образцы поэзии и XIX, и XX века говорят не «о чем-то», но «что-то», не воспроизводят жизнь, но сами предстают как явления жизни – духовной жизни народа.

Инна Ростовцева

1. Первый вопрос анкеты сразу поставил меня в тупик: что значит всеобщий интерес к поэзии?

Люди все сообща читают стихи, слушают их вместе в концертных залах, на стадионах, в парках, покупают одни и те же поэтические книги, которые появляются на прилавках книжных магазинов, или только самые модные?

Признаться, от такой картины – пусть даже гиперболзированной – становится как-то не по себе.

Невольно задумываешься, а можно ли вообще – и в каких единицах – измерить интерес к поэзии?

Кто разглядит где-нибудь в глухом далеком углу нашего бескрайнего отечества одинокую фигуру читателя, склонившегося при свете вечерней лампы после трудового дня над томиком стихов поэта – и что, если не нашего современника? Прибавит ли это что-либо к представлению о «всеобщем интересе» к поэзии?

Если вспомнить уже ставшую историей Великую Отечественную войну и существовавший в те годы интерес к поэзии, к русской классике, к Пушкину, к современным поэтам, то ведь не забыта фигура и того солдата, погибшего на поле сражения, в сумке которого был обнаружен томик стихов Гёльдерлина.

И все же трудно, очень трудно вообразить себе пути, которыми проникает истинная поэзия в общество, становясь достоянием читателя, – они подчас запутаны, случайны, непредсказуемы, как природные стихии – ветер, гроза, землетрясение (впрочем, пути, которыми проникают поэтические подделки в общество, известны более и лучше поддаются прогнозированию).

Ив Бержере, говоря о положении поэта во Франции, заметил: «Распространение поэтических чувств, фантазии и мысли в обществе идет медленно – поэт работает впрок» («Литературная учеба», 1987, № 5).

Это наблюдение распространяется не только на «французскую» ситуацию: так бывает, по-видимому, всегда, когда мы имеем дело с подлинным поэтом и поэзией, которая работает впрок – на будущее, опережая свою современность...

Андрей Платонов закончил свою не опубликованную в 40-е годы рецензию на шестую книгу Анны Ахматовой следующим образом: «Будем же ценить поэта Анну Ахматову за неповторимость ее прекрасных слов, потому что она, произнося их, тратит слишком много для нас, и будем неистощимы к ней в своей признательности».

Это было сказано тогда, когда интерес к этому поэту заметно упал и в критике уже были произнесены слова о том, что он находится «в плену у собственной стиховой культуры» (Ю. Тынянов), когда мало кто знал о том, что поэт, поставленный в тяжелейшие условия жизни и времени, работает «впрок». Прошло полвека, и Платонов и Ахматова, рецензент и герой рецензии, одновременно «встретились» друг с другом на страницах журналов – «Котлован» и «Ювенильное море» пересеклись с «Реквиемом»... Эти произведения сегодня, в конце 80-х годов, вызывают всеобщий интерес, но не поработали ли здесь время, история, «действуя на сердце и сознание современного человека, совершенствуя (разрядка наша. – И. Р.) это существо в смысле его исторического развития» (А. Платонов)?

Поэтому на вопрос «Необходим ли всеобщий интерес к поэзии?» – можно ответить и так: необхо-

димо, чтобы общество скорее «дорастало» до своих поэтов, чтобы эмоциональность, фантазия, богатство души, развитость чувств окружающих нас людей были также результатом глубокого освоения поэтической культуры; чтобы поэт, работающий «впрок», стал поэтом, работающим на «сегодня».

2. Прежде чем ответить на этот вопрос, спросим себя: а есть ли сегодня направления в поэзии? Литературные направления – такие, какие были в свое время, – символизм, акмеизм, футуризм, имажинизм и другие?

Да, сегодня есть в критике попытка провозгласить метафоризм, метаметафоризм новым словом в искусстве, но это воспринимается скорее как игра в новые термины, с целью оживить литературную жизнь, а стихотворцы, удостоенные этими почетными званиями – метафористов и метаметафористов, – не занимаются ли отчасти тем, что еще в 1924 году Сергей Есенин в декларации из 8 пунктов определил как «эстетизирование в том, что воспеваются внешние модные предметы с внешне модной точки зрения» (собр. соч. в 5-ти т., т. 4, с. 262, пункт 3).

Не окажется ли при более пристальном взгляде на историю поэзии XX века (а XX век открыт для такого обзора, и много имен возвращено ему в последнее время), что к концу века образовалось действительно новое явление – «вторичная поэзия», эпигоны эпигонов – не столько даже В. Хлебникова, обериутов, Н. Заболоцкого, О. Мандельштама, А. Ахматовой, М. Цветаевой – сколько их учеников и подражателей?

... Возможно, еще появится – или уже существует – неузнанное нами литературное направление, отстаивающее поиски новых путей в искусстве. Но... Опять же, окидывая взглядом XX век, видишь, что было главным предметом желаний и устремлений для наиболее крупных представителей его литературных течений. Или тайно скрываемых, или высказанных с такой беспощадной откровенностью, с какой это сделал прирожденный символист Вячеслав Иванов: «Я отдал бы все знания и мысли, вычитанные мною из книг, и в придачу еще то, что я сам сумел надстроить на них, за радость самому лично познать из опыта хоть одно первоначальное, простейшее знание, свежее, как летнее утро».

Вот она – проблема поэзии XX века, которая в конце его остается столь же острой, как и в начале.

Михаил Числов

1. Вопрос поставлен, мне кажется, как-то странно. Бывали времена, когда поэзия стремилась изо всех сил стать непосредственным фактом жизни. Поэзия Д. Бедного, например, значительная

часть поэзии Вл. Маяковского. Позже – так называемая эстрадная поэзия – Евтушенко, Рождественский, Вознесенский...

Установка на читателя, на массового читателя-слушателя является внутренним стержнем в такой поэзии, определяет идеи, стиль.

Но так бывает не всегда. В собственно поэтическом спокойном внутреннем своем состоянии поэзия есть лирическое самовыражение, не заботящееся о том, чтобы слушать кого-нибудь еще, кроме самого себя. Разговор с самим собой. Если что-то извне и захватывается, то это уже зависит от широты и глубины личности поэта. Но установки нет никакой. Все зависит от того, угадает ли душа поэта свое время. Так что я бы ответил на поставленный вопрос так – иногда всеобщий интерес к поэзии необходим, а иногда, и это в большинстве случаев, нет.

2. В отношении к различным направлениям в поэзии вообще и 80-х гг. в частности исхожу из того, что разнообразие во всех отношениях лучше однообразия. И желательно, чтобы никто не мешал этому разнообразию реально выразиться. В нашей поэзии только за советское время существовало, споря и соревнуясь, враждуя и отрицая друг друга, большое число поэтических школ и поэтических

направлений. Акмеизм отрицал символизм, футуризм спорил с акмеизмом и отрицал символизм. Задорный имажинизм спорил со всеми и отрицал всех. Спор и отрицание – нормальное явление в искусстве, лишь бы это все находилось в границах творческого спора и творческого отрицания. Поэзии нужны и эстрада, и тихое собеседование, и речь изнеженная, утонченная, и соленый народный говорок. От разнообразия в поэзии возникает ее реальное богатство. Пускай творчески спорят и творчески отрицают друг друга и сегодняшние молодые – почвенники по идеям и стилю с неоавангардистами, метафористами. Кстати, кроме «междусобойных» споров у них есть и прекрасная возможность объединиться и творчески «снять» проблему серой поэзии, захлестывающей своим потоком нашу жизнь, хотя серость, конечно, есть и в поэзии молодых.

Мне лично нравятся М. Шелехов, А. Еременко и очень веселят сегодняшние обериуты.

Сегодняшняя молодая поэзия, как мне кажется, в целом очень многое делает для того, чтобы все мы, ныне живущие, все больше проникались сознанием, что со своим затянувшимся детством надо прощаться смеясь. Она – эта поэзия – вносит ощущение новых критериев и новых горизонтов.

ВОЙСКО ПЕСЕН

Юрий Денисов

ХАРЛАМПИЙ

(Из якутских мотивов)

Ой, больно, Харлампей! Ой, нет моей мочи!
Пойми, не богатства твои, не рубли,
Не брови твои, не красивые очи,
Меня отуманив, сюда привели.
В девичестве стала твоею женою,
Надеясь, что в трудное время своей
Заботой меня окружишь, стороною
Беду отведешь... Позови же скорей,
Мой добрый хозяин, мой славный мужчина,
Золовок и теток, а сам для кола¹
Березу сруби с разветвленной вершиной.
Ну ту, что глухарка в тайге обжила,
Питаюсь орешками... Скоро уж, скоро...
Пока наше дитяtko где-то в пути,
Нарви ядовитой травы «локуора»,
Кому-нибудь в дом прикажи принести,
Чтоб ею весь пол застелить, как ведется,
Чтоб ровно ложились повсюду слои.
Сходи на елань, где скотина пасется,
И белого там жеребенка слови.
Ой, больно! Харлампей! Остаться бы живу...
Забей жеребенка, разрежь стригунку
Ударом одним кровеносную жилу,
Чтоб кровь истекла на левом боку.
Сними с него шкуру, повесь на веревке
На левой же, там, где постель, стороне.
Пусть в честь Айысыт² сварят мясо золовки,
Чтоб эта богиня роженице, мне,
На помощь пришла. В честь другой же богини –
Почтенной, отзывчивой Изйизхсит³ –
Пусть масло распоят – по той же причине,
В амбаре оно в берестянке стоит.
Заставь заварить саламат из ячменной
Муки, по обычаю наших людей,
И шкуру от лошади черной на сено
У самой стены постели поскорей.
Ой, больно, Харлампей! В паху, возле ребер.
Набухли, горят нестерпимо соски.
Теряю сознание. Наверное, пробил
Урочный мой час, значит, роды близки.

¹ Березовый кол с перекладиной, за который держится женщина во время родов.

² Айысыт – в данном случае: богиня, покровительница роженицы.

³ Изйизхсит – божество, помогает при родах и охраняет роженицу и младенца.

Исполни, прошу, как ведется издревле:
Узлы развяжи – от пимов до ремня,
Замки отопри, приготовь поскорее
Узду для готового к бегу коня.
Боюсь, что не хватит мне силы и духу.
То жарко, то холод по телу прошел.
Ой, больно, Харлампей! Зови повитуху,
Неси же немедля березовый кол.

Валентин Сидоров

ЗВЕЗДНЫЙ КРУГ

Стихи-медитации

ТОТ, КТО ИДЕТ

Тот, кто идет, восходит на вершину.
Тот, кто идет, несет ее в себе.
Тот, кто идет, пришел и вдаль уходит.
Мгновенье был, а вечность пронеслась.

ВОСКРЕСЕНЬЕ

...Но каждый поворот и перевал
Нам кажется необычайно трудным.
А каждый поворот есть воскресенье,
Ты смертью как бы попираешь смерть.

ОГОНЬ

Огонь, о коем говорил пророк,
Идет, и небо как костер незримый.

Огонь, огонь – развязка всех сюжетов,
Легенд, пророчеств, жизни на Земле.

В огне сгорает ветхий человек,
И тело света обретает новый,
Не познанный тобою человек.

ОГОНЬ И ВЗЛЕТ

Огнем благословляется Земля,
Соприкасаясь с дальними мирами.

Огонь роднит нас с Космосом. И мы
Переплаваем в сердце и сознание
Материю светящуюся звезд.

Огонь и взлет. Вот эти два понятия
Неразделимы. Космос ждет тебя.

ВВЫСЬ

Землей рожденный – ты рожден и Солнцем.
Землей рожденный – ты уходишь в землю.
Рожденный Солнцем – ты уходишь ввысь.

НИЧТО

Всегда творится все из ничего,
Поскольку изначальный акт творенья
Как бы сгущает то, что есть ничто.

Из ничего и вырастает все.
Трудней всего добиться, чтобы было
Вот это пресловутое ничто.

СПАСАТЕЛЬНЫЙ НАШ КРУГ

Кольцо времен – спасательный наш круг.
Оно нас держит на плаву, пока
Не подберет корабль, идущий в Вечность.

СЧЕТЧИК ВРЕМЕНИ

А мысль аналитическая наша
Не может Вечность изучать, разъявши
На части то, что разделить нельзя.
Нет, вечность лишь присутствовать должна
И в мыслях наших, и в поступках наших.
Мысль – счетчик времени. И этот счетчик нужно
На некий промежуток отключать.

КОГДА ПРИДЕТ БЕЗМОЛВИЕ

Когда придет безмолвие, то видишь,
Как мысль твоя любая тяжела.
Ведь вес ее – вес Космоса. И даже
Порою больше.

ПРИЧАЛ

Планета молчания, Космос безмолвия –
Сюда мы причалим, отсюда уйдем.

НИЩИЙ

Я рóздал все, что приобрел вчера.
Я нищий вновь. Я ничего не знаю.

ТАЙНА РАВНОВЕСЬЯ

Пирамида – и призыв, и символ.
В ней сокрыта тайна равновесья.
На земле стоящий основанием
Острием уходит в небеса.

ПРОСНУВШИЙСЯ

Проснувшийся мешает людям спать.
Но он сильнее их – незрячих духом.

ТРИЕДИНСТВО

Есть Абсолют. Есть Космос. Есть Земля.
Ты в этом триединстве растворен,
Ты это триединство растворяешь
В самом себе. Конец есть бесконечность.
Любая точка в беспредельном мире
Становится началом всех начал.

ИСТОК И УСТЬЕ

Исток и устье – это Абсолют.
И, вытекая из него, река
В него впадает.

АБСОЛЮТ

Коль разобраться, то слова нас держат
(И мысли держат) в неразрывной связи
И с телом, и с землей, и с мирозданьем.
Нет слов и мыслей. Значит – Абсолют.

ТВОРЕЦ

Творец в своем творении живет
Не отстраненно и не фигурально,
Буквально каждой клеточкой живет.
И человек, сознавший – «я творец,
Во всем живущий», главное постиг:
Зачем живет? Зачем он воплотился?

ИСТИНА

Чтоб видеть истину, взглядишь в лицо другого,
И ты увидишь самого себя,
Идущего дорогой параллельной.

ЖИЛИЩЕ ДУХА

Жилище духа всюду и нигде.
Здесь и не здесь. Вот ощущение духа,
Которое главенствует всегда.

ЗВЕЗДНЫЙ КРУГ

Все то, что окружает, это ты,
И значит, ты есть все, что окружает.
Нет перерыва меж тобой и миром.
Одно кольцо. Единый звездный круг.

Иван Жданов

* * *

Гора над моей деревней – возле нее погреться
память не прочь, как будто это коровий бок.
С вершины этой горы видно другое детство,
или, верней, преддетство, замысел между строк.
А это была война: подколенное мясо ядом
перло, жуя страну, множилось, как число.
Одно из моих имен похоронено под Ленинградом,
чтобы оно во мне выжило и проросло.
Значит, и эта гора, честной землей объята,
уходит в глубины земли, ищет потерянный дом.
И как бритва сверкает на ней роса под рукою брата,
роса молодой травы, беспечный зеленый гром.
За горизонтом порой исчезает Медведица – это
смещается ось Земли, вопрошает и тварь и дух:
куда провалился знак – путеводный подросток света,
где неба привычного лик, из каких вырастает

прорух?

Где неба привычного лик? – творцы Вавилонской
башни

искали его вверху, не чаяли, как обрести,
и метили с ним срастись, сравняться плотью
всегдашней;

а выпало растеряться, себя и его низвести.
Теперь, пролетая над местом, где когда-то

башня стояла,

птица может забыть, зачем и куда летит,
дождь исчезает в себе, и, выросшая как попало
до сотворения мира, не дрогнув, трава стоит.
Есть бремя связующих стен, и щит на воротах

Царьграда,

прообраз окна Петрова, сияет со всех сторон.
Но след Вавилонской башни зияет беспомощностью

ада

и бродит, враждой и сварой пятная пути времен.
Тот, кто построил «ты» и стал для него подножеством,
видит небесный лик сквозь толщу стен и времен.
Брат идет по горам, становясь на тебя похожим
все более и больней, чем ближе подходит он.

Надежда Кондакова

ПАНАЦЕЯ

я вступаю в молочную сонную глушь
так ребенок нетверд обучаясь ходить
так белугой ревет обезглавленность душ
если старые раны начнешь беречь
берендей в заповедном лесу не спасет
от нашествия атомных смерчей в груди
от напитанных ядом дурманящих сот
полой славы и лживых высот впереди
исходи поперек или вдоль Колыму
никому ничего не открой впопыхах
бечевой повяжи за спиною суму
и умри в обессмертивших призраках стихах
ах какой это страх на себе испытать
как внутри тебя выюга хрипит и орет
надрываясь чтоб тайну твою прочитать
и сказать что народ все равно не поймет
поименно посписочно по одному
мы проходим в молочной снотворной глуши
разрывая живую прозрачную тьму
по уму провожая свои миражи
расскажи как врастают в безликость и страх
этажи канцелярских болотных страстей
как горят на невечных увечных кострах
имена после смерти зачатых детей
апокалипсис счет потерял берегам
меж которыми реки услад и утраг
проползали как змеи к усталым ногам
постаревших кассандр и безумных наяд
яд тебя не спасет даже в дозах чумных
кражей сад обезглавишь и выпьешь вина
но увидишь себя в измереньях иных
если вдруг расшифруешь сии письмена

КУНСТКАМЕРЫ

как на булавку букашку и бабочку и скарабея
век надевает идеи ничуть не робея
за руки взявшись проходим кунсткамеры эти
непроходимые непобедимые сети
дети героев безумцев безусые дети
в свете презумпций в почти отвратительном свете
в нетях в запрете в полете в кошмарном ответе
в первой ли трети в последней ли трети в подклети
в темной холодной подклети почти что в подвале
нас на допрос перед совестью не вызывали
нас не водили в походы и марши и гимны
наши погоды на восходы увы не взаимны
как на булавку букашку и бабочку и скарабея
из-под прилавка из главка и по лотерее
мы получали идеи и тайной владея
их надевали как бабочку и скарабея
этот паноптикум эти базарные виды
нас не смущали смещеньем беды и обиды

* * *

Что свято мне – гоню: ату!
Душа уже не ждет набата –
за глухоту, за слепоту
она пред миром виновата.

Но глухоты не побороть,
но не увидишь слепотою,
и торжествующую плоть
нетленной мы зовем душою.

Но в каждодневной маете
нет ни тепла, ни постоянства,
приняв за вечность в слепоте
тобой обжитое пространство.

И если свет в душе погас –
мы только рвущиеся нити,
и даже лучшие из нас
в веках погаснут на граните.

Одно святым осталось – мать,
одно святое неизменно,
но им всего не оправдать.
Ложь сердца – мертвеннее глена.

Но утихает на мели
разбег волны, когда-то грозный.
Что мне земля,
когда вдали
над головою свет есть звездный.

Пройдя сквозь мрак, пройдя сквозь тьму,
воздвигнут ввысь прощальной болью.
Мне нечего вручить ему,
распятому на безглаголье!..

Декабрь 1973

ВО СНЕ

Я снова увидел мать во сне.
В сером оконце дня
висела вечность.
– Иди ко мне! –
мать позвала меня.–

Во сне ты снова должен уснуть,
укрыться в стерильный свет... –
И мертвый ветер обвил мой путь
туда, где погоды нет.

Словно в черной трубе, во мгле
я продирался к ней.
И было страшно в сырой земле
видеть глаза корней...

Анатолий Поперечный

* * *

Покличет матери спати,
Аукнет в темноту:
«Довольно, сын, гуляти,
Пора домой, я жду!..»

Покличет матери спати –
В ответ лишь тишь да звон.
Прости меня ты, матери,
Что твой порушил сон...

Покличет матери спати,
Забудется во сне.
Давно уж пусто в хате,
Лишь фото на стене.

Куда-то разлетелась
И канули – кто где.
А ведь у печки грелись,
Нуждались в теплоте...

Покличет матери спати
В дом отчий, в дом святой,
Где вечно пахнет мятой,
И корочкой ржаной,

И раннюю утратой,
И поздней бедой...
Покличет матери спати:
«Сынок, пора домой!..»

Покличет матери спати.
Как долог путь домой!
Покличет матери спати...
И кончен путь земной...

Покличет матери спати...

Борис Примеров

* * *

В небесах толпятся бури,
Не измерить песней звезд,
Под узды седой Меркурий,
Шаровой весенний гость,
Подымая первый гост,
На простор строку выводит,
Гулевую, голубую,
Ножевую – позарез!

Встал пред ней напропалую
Я, как в русской сказке лес,
Обрастая силой весь,
От земли и до небес,
Неизбынно, как в природе.

Расшумелось ретивое
До всклокоченной тоски,
Я встречаюсь сам с собою
При рождении строки
По велению реки,
Жесту божеской руки
Кланяюсь великолепью.
А виной всему Меркурий,
Заполночная звезда,
Что ворочает года,
Как медведь в зеленой шкуре,
С небесами балагурия,
Разрушая холода.

Боже мой, как тянет степью!
Все как перед новым вздохом,
Под ребро ударил бес,
На строку легла эпоха
Тучно, пасмурно, убого,
Зачарованная песнь.
Я стою, как русский лес,
Скинув зависть, сбросив спесь,
От земли и до небес!

Евгений Юшин

СОН

...И вот Петру во сне явился сын...
Не так груслив, как виделся недавно,
Не так убог и уж не глуп по-прежнему,
Но очень бледный и губами – в синь.
Спокойно он о прошлом рассуждал,
Накручивая волосы на палец,
И раздувались щеки, словно парус,
И в глубине зрачков горел металл.

Алексей:

Зачем, отец, повздорил ты с Москвою?

Петр:

А ты Москву в речах своих не тронь!
Да, я ушел на вольный ветер моря.
Да, я в Россию чуждое призвал.
Но рваная страна моя сквозь горе
Еще поймет, что я ее спасал.

Алексей:

Спасал?! Страну?! Засилием чужого?
Страну, в которой так живет тоска

По звону колокольному,
По слову, слетевшему с ржаного колоска?
Спасал страну, где вечным бездорожьем
Томиться счастлив путник под звездой?
Спасал страну щетиною острожной?
А может быть, спасал ее бедой?
А как вершить великое в народе,
Забывшем уважение к себе?
Все хорошо, мол, что у немцев в моде.
И – ножницы пошли по бороде.

Петр:

А флот? А все победы?
Я – богат.
И вся Россия нынче не в рванине.

Алексей:

Одеты – да!
Но о душе отныне
Все реже по России говорят.
И как-то все заботливей о теле.

Петр:

Виновен в этом и на самом деле.
Но душу ли в Руси не отстоят?!
Я – хочешь знать – и сам храню заветно
Березу, что склонилась незаметно
Над желтым муравейником в лесу.
Когда я слышу летнюю грозу,
То с небом разговариваю так же,
Как лес, в котором светятся ручьи.
Куда ни глянь – угрюмые грачи
У всех дорог Руси стоят на страже.
Я слышу: конь копытит бубен-луг.

Алексей:

Как думаешь, услышит это внук?..

(Проснулся Петр.
В окне тайлся свет.
И буйно во дворе гуляла вьюга,
Холодная и дикая, как смерть.
«Мы на земле не поняли друг друга, –
Подумал Петр.
Тоска давила грудь –
На рубеже меж вечностью и мигом,
Где смерть гуляет, мысли о великом
Ясней всего указывают путь».)

Петр:

Земля моя! Я не тебя казнил.
Себя в тебе косою покосил.
Мне Время – враг,
Но после станет другом.
И сына мне простят в конце концов.
Мы на земле не поняли друг друга –
Пойдем друг друга в царстве мертвецов.
А может быть, и вправду все напрасно?
Что проку жить для будущих времен,
Коль этак настоящее ужасно?

Но нет! Душа, избитая судьбой,
Смятенная, как будто из острога,
Зовет другие души за собой,
Когда одна выходит на дорогу.
Уж не она ли белою вороной
Все ищет жизнь, склоняясь к топору?
Ни в Азии не покорила трона
И не пришлась в Европе ко двору.
Как долго ей страдать на белом свете!

Борис Романов

СКВОЗЬ ГРОХОТ КОЛЕС

В. М. Василенко

Прогрохотал затяжной товарняк.
Везут древесину. Пахнуло сосною,
смолой незастывшей, глухой стороною,
рекою, которую выстлал топляк.

Лесоповал, и промозглый барак,
и ветер, игравший морозной струною,
хватавший за глотку рукой ледяною,
срывавший бушлаты во тьме с доходяг, –

старик вспоминает опять и опять,
пытаясь сквозь грохот колес рассказать
полузабытую честную повесть.

Летит перед ним за вагоном вагон.
В просветах огни. Что он крикнул вдогон?
Все глушит времен проносющийся поезд.

Иосиф Ржавский

* * *

Когда над миром грянула гроза,
Друзья мои горели и тонули.
Они свои уставшие глаза
С тех давних пор ни разу не сомкнули.

Их в сапоги гранитные обули,
И вот они идут, не зная сна.
Не подставляя грудь под ордена,
А подставляя только лишь под пули.

Николай Ширяев

НОЧЬ В ГОСПИТАЛЕ

Ушли безногие последние
Со всех дорог лет пять назад,
Но вновь они, двадцатилетние,
В бредовом сумраке лежат.

И смотрят сквозь людей отчаянно
В тот миг, который не забыть,
И, словно Гамлеты нечаянные,
Решают, быть или не быть...

В мальчишских душах копят мужество,
Чтоб до конца пройти свой путь,
И, молча привыкая к ужасу,
В добра и зла вникают суть.

Им фамиам претит искусственный,
Сюда хождения – как в музей,
Но ловят взгляд они сочувственный
И чтят проверенных друзей.

Бросают их невесты дошлые,
Слегка сторонится родня,
Блюдя «законы жизни» пошлые
До своего лихого дня.

В садах клубника и смородина,
У всех вокруг – свои дела,
У тех ребят надежда – Родина,
Что все отдать их позвала.

Они горды... и не поклонятся,
Пойдут сапожничать-стучать,
И груз души тихонько стронется,
Что много о себе кричать?

Их дарят мыслями ликбезными,
Мол, каждый свой пусть ищет путь,
И допотопными протезами –
Хороший сам себе добудь!

И в тяжких сих сооружениях
До крови, свой держа зарок,
Как будто снова в тех сражениях,
Они тяжелый пляшут рок...

И, просветленные страданием
И страшной спаяны судьбой,
Они пойдут, как на задание,
За вечный свет на вечный бой.

Без ног по жизни, что не пройдена,
Чтоб возвратить свои мечты...
Не брось, не потеряй их, Родина,
Среди масштабной суеты!

Максим Дубаев

С ВОЙНЫ

Открытые окна, сквозняк,
Березовый свет полустанка,
И в красных крестах товарняк,
Растянутый словно тальянка.

Солдатик в исподнем белье.
Дымок голубой от махорки.
Цыганка в линиялом тряпье
Гадает за хлебные корки.

Монетка мерцает на лбу.
«А ну, молодой да кудрявый,
Дай ручку, солдатик, судьбу
По левой скажу и по правой...»

Что толку с ее ворожбы?
Уткнулись в подол цыганята.
Ни правой, ни левой судьбы –
В пустых рукавах у солдата.

Гудком растревожена даль.
Взлетели над насыпью птахи,
Толкнулся и лязгнул металл,
Качнулася медаль на рубахе.

А солнце касалось стекла
И множилось в утренних росах.
В родимые дали плыла
Солдатская боль на колесах.

Алексей Шитиков

ЛЕГЕНДА О ПРОХОРЕ...

«...Был страшный голод – ни гороха,
Ни прочей пищи никакой...
Тогда пришел блаженный Прохор
На помощь к людям с лебедой.
Он семена сушил и в ступе
Их растирал или толок,
И был, как бог, он неприступен,
Покуда хлебцы не испек.
Потом, лицом повеселевший,
Откушал печево свое –
И в пляс ударился, как леший,
Вокруг стола, и острие
Пустил по хлебцам, и народу
Кусочки начал раздавать –
И был тот хлеб подобен меду,
И люди стали оживать...»

А в ночь к блаженному в избушку
Залез воришка, и украл
Он хлеба целую горбушку,
Но хлебец вдруг польным стал...
Наутро встал блаженный Прохор
И, выйдя к людям, так изрек:
«Коль пропадет еще хоть кроха,
Накажет вора смертью бог!..»
Но не поверил вор несчастный
Предупрежденью – и погиб...»
Была легенда в детстве ясной:
Внушал нам честность дед Архип,
Хотя военною бедою
Мы были так истощены,
Что не спасли и лебедою
Нас очень многих в дни войны
И в дни невзгод послевоенных...

Внушали честность нам не раз,
Откуда ж ныне в наших венах
Вдруг воровская кровь взялась?
Хап! – миллион в течение суток
У государства –

и в листву...

Как будто в лучших институтах
Нас обучают воровству:
Все изощренней тащим...
Тащим
Не в кучу общую добро,
А к личным норкам,
К личным дачам,
К швейцарским банкам, чье нутро
Хранит надежней тайну вкладов...
Вот – в золотых погонах вор,
Под трибунал его бы надо,
А он трибунит до сих пор...
И не придет блаженный Прохор,
В толпу не кинет грозный взор:
«Коль пропадет еще хоть кроха,
Наказан смертью будет вор!..»
Из наших обществ, совершенных
Технологичностью идей,
Давно изгнали мы блаженных –
Суть бескорыстнейших людей.
Нам даже странно в этой жизни
Узреть такого чудака,
Кто все готов отдать Отчизне,
Вплоть до последнего куска...

«...Был страшный голод –
Ни гороха,
Ни прочей пищи никакой,
Тогда пришел блаженный Прохор...»

Все верю я легенде той
И все ищу таких блаженных,
Кто был бы Прохору под стать,
Чтоб хоть в беседах откровенных
Их чистотою подышать!..»

СОВРЕМЕННАЯ БЫЛИНА...

Богатыри-распойники
Набражатся – и спят...

А Соловьи-разбойники
Овражисто свистят
По всем путям-дороженькам,
Пугая мирный люд.
Плевать им на таможников –
Туда-сюда снуют,
И в радость им заросшие
Усадьбы деревень –
Была бы жизнь хорошею
Для тех, кому не лень
Свистать разбойным посвистом
Везде. И даже тут,
Где грозным бронепоездом
Проложен был маршрут...

Решивший позабавиться
Рифмовкой,
Некий хмырь
В стихах уже бахвалится:
Я, дескать, – поводиры,
Мол, свистну – и повалятся
Деревья на пустырь...
Шугни-ка его палицей,
Былинный богатырь! –
Совсем упал культуры вес
При этих «соловьях»...

Проснись, великий Муромец:
В отеческих краях
Дороги прямоезжие
Пугают мирный люд –
И старцы поседевшие,
И бабки овдовевшие,
И юность, прежде певшая,
А ныне оробевшая, –
Все об одном гудут:
Там – лешие,
Там – лешие,
Там – лешие живут,
И конного и пешего
Разбойным свистом бьют...

Да как же заколодило
Дороги на Руси?
Да это ж – наша Родина!
Да, господи спаси,
Ужель нельзя их выволочь
Под яркие лучи?!
Микула Селянинович,
Ты сошку им вручи –
Пускай они помаются,
Поднимут пустыри,
Потом в стихах бахвалятся,
Мол, мы – поводиры...

Но... словно бы покойники,
Богатыри молчат,
А Соловьи-разбойники,
Нагля, так свистят,
Что и взаправду валятся
Деревья на пустырь...

Ударишь ли ты палицей,
Былинный богатырь?!

Олег Кочетков

1919 ГОД

Подскакал на каурой, блестящей кобыле.
Благородной рукой натянул трензеля.
А вокруг уже бабы всюю голосили,
И горело село, и горела земля!
Появилась ухмылка и сразу пропала
На его губошлепых, безусых губах.
«Все, отходим, по коням!» – он бросил устало,
И перчаткой махнул, и привстал в стременах.
Закачался простор, застучали копыта,
Ветер сладостной воли хлестнул по щеке.
Зашумело вослед переспевшее жито,
И остались дымы за бугром, вдалеке.
Он скакал, вспоминая душистые плечи,
И кокетливый локон, и пламенный взгляд,
И сиянье паркета, колонны и свечи...
Так хотелось ему воротить все назад!
Он так поздно увидел былинные шлемы
С этой яростно-алой летящей звездой!
От пьянящего чувства запели все вены...
Но ударила пуля в погон золотой!
И упал он в цветы, в полевое раздолье,
Прошептав напоследок: «Эх, воля моя...»
И глаза заслонила родная до боли
И воистину кровная эта земля.
После парень подъехал в шеломе суконном.
Губошлепый, обветренный, хмурый на вид.
Посмотрел и сказал: «Надо ж – первым патроном...
А по-русски, как все же по-русски лежит!»

Альберт Кравцов

ПРИТЧА О СВЕЧЕ

Внушали свечке правила свеченья,
а заодно, как жить и как светить.
В каком гореть накале вдохновенья,
чтоб не перекалиться, не остыть.
Кому светить – не все достойны света,
а избранным попробуй угоди!

Когда светить, в какое время—это нелегкая ответственность, поди.
Откуда и куда светить—бесцельно у нас никто не светит, не горит.
С энтузиазмом, одержимо, дельно светить, внушитель каждый говорит.
Здесь сторона важна, цель и задача, чтоб в прошлое, чтоб в будущее—свет.
Светила свечка и—сгорая, плача— всех слушала, но, может быть, и нет.

Нина Новосельнова

БЕЛАЯ РЯБИНА РАСЦВЕЛА...

Шли дожди с весны до самой осени,
Будто закусил удила!
Но однажды в полдень на откосе
Белая рябинка расцвела.

...Ах, сержанты медицинской службы,
С глиною носилки тяжелы,
Но сказали на поверке: «Нужно!»
Молча мы ответили: «Должны».

Лето запоздало на два месяца:
Только что подсохнет—и опять
Не дороги, а сплошное месиво!
Значит, нужно лето подправлять.

Подправляли. Яростно-усталые,
То бранясь, то плача—все со зла.
Только вдруг светлее как-то стало:
«Девочки-и, рябинка расцвела!»

Помните, как ватники мы скинули
И запели, сидя под черешней:
«Расцвела кудрявая рябина,
Ой-да, налилися гроздьи соком вешним...»

И как будто не было усталости:
Блеск зеленых, карих, серых глаз,—
Девочки, до самой поздней старости
Я такими буду помнить вас.

Как для счастья нам немного нужно:
Каплю света, горсточку тепла...
Для сержантов медицинской службы
Белая рябина расцвела.

Виктор Кочетков

* * *

Думал, горы высокие сдвину,
думал, счет потеряю годам,
честолюбью отдам половину
и любви половину отдам.

Думал, в сотни гранитных ступеней,
будет лестница жизни долга,
а всего-то за десять мгновений
добежал до окопов врага.

И летит уже встречная пуля,
и звенит горизонт тетивой.
И смыкается небо июля
над моею седой головой.

СЕДЬМАЯ ПЕЧАЛЬ

Мне во многом отказано было,
но не в праве по совести жить.
Семь печалей судьба не забыла
мне в дорогу мою одолжить.

Усмехаясь, она говорила:
— Я к тебе справедливой была.
Я терпеньем тебя одарила,
а удачи тебе не дала.

На удачливых мало надежды,
нет у них ни души, ни лица.
Лишь одни пустословы-невежды
об удаче твердят без конца.

Как сказал древнегреческий стоик:
нам терпенье в награду дано.
Все, что в мире чего-нибудь стоит,
терпеливыми возведено.

Муки славы тебя не коснутся.
Муки слова пребудут с тобой.
Знаменитым однажды проснуться
не дано тебе будет судьбой.

Ты не будешь ходить в популярных,
заноситься в бессонных мечтах,
но зато побываешь в полярных—
под казенной охраной—местах.

И сбылось, что она говорила.
Жизнь нелегкую я не корю.
И за все, чем меня одарила,
я спасибо судьбе говорю.

И хулой и хвалою встречали
на скрещении трудных дорог.
Шесть печалей моих открячали,
а седьмой не настал еще срок.

Жизнь моя, перетерпим с тобой мы
и успех, и ущерб, и урон.
А судьбы в опустевшей обойме
остается последний патрон.

Александр Коваль-Волков

КОВЕР

Не Стенька: по Волге на ковре
не поплывешь.

Народная поговорка

Он расстилал ковер на воду,
Келим – огромный, шерстяной,
И сам всходил стопую твердой,
Не замочив одежду водой.

И так стоял неколебимо,
Казацкой удалью храним:
Следило воинство за ним,
И берега скользили мимо.

Живая грохотала стенка,
Перетекая наперед:
– Глядите, братцы, ай да Стенька! –
По Волге, на ковре, плывет!

Звучала гордость в той оценке:
Пускай и вправду ты хорош,
Да ты не вождь народный – Стенька,
И на ковре не поплывешь.

А тканый плот, волну сминая,
Что самолет-ковер меж звезд,
Его судьбу пред Русью нес,
Вдаль безопасно уплывая.

Кто б мог еще рискнуть на это? –
Дивилась разинская рать...
Тот плот рассышался по свету,
И сребролюбцам не собрать.

И ты в предназначенье долгом
Природна,
Как провидел рок,
И в наши души льешься – Волгой,
Заглавною из всех дорог.

Раздольна и неукротима:
Былое не ушло на дно,
И стрежень твой рассесть плотинам,
В застою упрятать – не дано.

Как совесть не купить за деньги,
Недаром сохранил народ:
По Волге? – Нет! – такой не Стенька.
И на ковре не поплывет.

...Ликует вольница в восторге,
И берега – в золотой поре,
И атаман плывет по Волге,
Державно
стоя
на ковре!..

Глеб Еремеев

О ПАХОТЕ

Земля у нас плохая, друг:
один суглинок, редко супесь.
В нее, бывало, лбом утупясь,
лошадка еле тащит плуг.
Когда лошадка, уж куда бы
ни шло. Но помню, в ту войну
весну да осень не одну
и на себе пахали бабы.

Они, скрестивши на груди
особо сшитые постромки,
от бурой травянистой кромки
брели к такой же впереди.
В глазах от голода темнело.
К ногам пудами липла грязь.
И по-мужицки, разъярясь,
ругались бабы неумело.

И вновь тянули борозду,
в ярме сменив одну другую,
в него грудями вся влегая,
губу кусая, как узду.
Дрожали ноги. Капли пота
со лба бежали, застыл день.
Но бабам русских деревень
посильна всякая работа.

Земля у нас святая, друг:
по всем удобствам деревенским
на сотни, может, верст вокруг
она умыта потом женским.

Леонид Терехин

* * *

Выходит мать вся в белом. На плече –
вязанка дров. В глазницах – по свече.

В руке – лукошко. Светятся грибы
как угли на загнетке у трубы.

Я к ней навстречу поднимаюсь. Шаг –
и тянется ко мне ее душа.

Ужели опустилась вновь с небес?
Зачем-то заходила в ближний лес.

Уж не затем ли, чтоб вязанкой дров
согреть избу – наш старый отчий кров?

Сварить картошки, отварить опять –
и сына дома накормить опять?

«Что приуныл, сынок? Иль занемог?»
И помолиться на ночь за него.

А утром тронуть ласково чело:
«Вставай, сынок, с постели. Рассвело!»

Григорий Корин

* * *

Перед зеркалом не бреюсь,
На себя ли мне смотреть?
Так стремительно старею,
Больше некуда стареть.

И ничто – глухая сонность.
И морщин глубокий след.
Чую: всюду обреченность
Изо всех проникла лет.

Как она ко мне подкралась,
Как внезапно подсекла,
Может быть, перестаралась
Глубь зеркального стекла.

Но взгляну на свет небесный
И забуду о себе.
Страх пред смертью, страх железный
Тает, тает в синеве.

Григорий Люшин

ПЕСНИ СОЛДАТА

С утра до вечера поет
На пятом этаже
Большой войны солдат Федот,
Состарившись уже.

Он выпьет терпкого вина
Неполных двести грамм.
И песня, гордости полна,
Гуляет по дворам.

Как пал в сраженье грозный враг –
Коричневая мразь.
Как Дарья с дочкой на руках
Его не дождалась.

И песни трогают сердца,
Будь молод ты иль сед.
Они душою у бойца
Рождаются на свет.

На пятом этаже солдат
Сегодня не запел.
И, как без птиц весенний сад,
Наш дом осиротел.

Михаил Борисов

* * *

С утра ударил рядом гром
На поражение,
Напомнив бой
В сорок втором
И окруженье.

Едва пробился я к своим,
Как ствольным взглядом
Таким пронизан был,
Каким
Встречать не надо б!
Вина ль,
Что выбрались не все,
Что взвод – не рота,
Что на ничейной полосе
Остался кто-то?
Еще слепит глаза тот час
Зигзагом алым:
Тупых ревнителю у нас
Пока навалом.
Они за каждый промах мой
И сплошь и рядом

Меня проводят,
Как сквозь строй,
Сквозь вспышки взглядов.
И все о долге говорят
И о порядке...
Найдется ли в душе заряд
Для новой схватки?

Николай Шумаков

НАШИ БОЛИ

Годы, что в прошлое сплыли,
Вычеркнуть, друг, не спеши.
Горькие страшные были –
Боли народной души...

МОЛОДОЕ ПЛЕМЯ

Какое племя молодое
Израненных фронтовиков!
Вот и сейчас –
Уже седое –
Оно, не ведая покоя,
Горячее, как после боя,
Живет для будущих веков.

Николай Сербовеликов

МОЛДАВСКИЕ КОЛОДЦЫ

Колодцы роют здесь глубокие,
пока достанут до воды,
что в небе даже днем высокие
со дна созвездия видны.
А брат похож на землекопа.
Он не спеша начнет копать,
наверх из темноты глубокой
крутую глину подавать.
Ему я опускаю ведра,
уже теряю счет рукам,
гляжу неумоимо твердо,
как он ворочается там.
Работает, берет поглубже
и матерится иногда...
Его я вытащу наружу,
когда появится вода.

* * *

Скоро я уеду к брату,
говорю – домой пора,
там в дыму лежит горбато
бессарабская гора.
Брат живет вдали от мира,
от больших его дорог,
не растратил жизни силы,
нашу вотчину сберег.
Но приехал – не поверил:
потемневший брат лежит,
настежь все открыты двери,
ветер ставнями стучит...
Я боялся возвращения,
я разжал его кулак...
Дух его стоял за дверью,
где всегда стоял сквозняк.

Владимир Перкин

ЧЕРНЫЙ СОН

Мне снился сын. Он был
Солдатом, малолетний.
Чеканя шаг, ходил
В строю, едва заметный.

Как весело на нем
Шинелка развевалась,
Когда бежал он в дом,
Где рота размещалась!

Но вдруг – совсем большой –
В тревоге оглянулся.
С печальной душой
Я в тот же миг проснулся.

Как весело его
Шинелка развевалась,
А сердце оттого
На части разрывалось.

В полночной тишине
Сидел я, чуть не плача.
Вся грудь была в огне,
В огне – и не иначе.

И больно кровь в висках
Толчками отдавалась.
...А в сорок первом как
Мать с сыном расставалась?

два огонька горят в потемках ранних.
Зачем я – на погосте – дом поставил?
Не знаю. Руки знали. Вот и дом.
Вот печь – да русская! Так я писал поэму,
как печку эту складывал – чтоб тяга...
Вот озеро в окне, и волны света
скользят по потолку... Зачем-зачем?
Затем!
Не спрашивай, а дело делай
как первоклеточка всего Творенья
в какой-нибудь начальной преисподней,
трудись, крестьянствуй – а земля научит,
чему не учат университеты.
Теперь опомнись и **благослови**
народную работу и пойми
обиду...

К вечеру я с ног валюсь.
А если не валюсь – мой день неполон.
– Ты каторжный! – мне Лиза говорит.
– Сама-то какова?
– А дух выходит,
выходит, Вовушка.

При всем при том
меня гнетет – несделанное дело,
преследует – несказанное слово.
Я чувствую огромную усталость
от жизни – той, непрожитой! – и смерть
приму от нарастающего долга.

Яков Белинский

ДУХ ПРОШЛОГО

Он верит, что совсем еще не стар,
что быть ведущим может в каждом деле,
его прокисший допотопный пар,
шипя, сочится из каких-то щелей.

Нет, не в поддевке, не в портках, босой –
ничуть! – приняв сверхмодное обличье,
он хочет Завтра заслонить собой,
огромным брюхом бывшего величья.

И замыслы, что веком рождены,
клеймит вовсю его громовый дискант...
Враг перемен. Прокруст. Противник риска.
Дух Прошлого. Враг всякой новизны.

Но что ни день – мертвеет плоть слепая...
Он мертв? Его тирады вне цены...
Но вдруг опять – в забвенье отступая –
сквозит сквозь явь, тревожит наши сны...

Станислав Куняев

РАЗМЫШЛЕНИЯ НА СТАРОМ АРБАТЕ

«Ах, Арбат, мой Арбат, ты моя религия...»

Где Вы, несчастные дети Арбата?
Кто виноват? Или Что виновато?..
Жили на дачах и особняках –
только обжили дворянскую мебель:
время сломалось, и канули в небыль...
Как объяснить?

Не умею никак...

Сын за отца не ответчик, и все же
тот, кто готовит кровавое ложе,
некогда должен запачкаться сам...
Ежели кто на крови поскользнулся
или на лесоповале очнулся –
пусть принесет благодарность отцам.

Наша возникшая разом элита,
грозного времени нервная свита,
как Вам в тридцатые годы спалось?
Вы танцевали танго и чарльстоны,
чтоб не слышать беломорские стоны
там, где трещала крестьянская кость.

Знать не желают арбатские души,
как умирают в Нарьме от стужи
русский священник и нищий кулак...
Старый Арбат переходит в наследство
детям...

На Волге идет людоедство.
На Соловках расцветает Гулаг.

Дети Арбата свободой дышат
и ни проклятий, ни стонов не слышат,
славят чекистов и лобят Вождя,
благо пока что петух их не клюнул,
благо из них ни один не подумал,
что с ними станет лет семь погода.

Скоро на полную мощность машина
выйдет,

и в этом, наверно, причина,
что неожиданен будет итог...
Кронос, что делаешь? Это же дети –
семья твое! Упаси их от смерти!..
Но глух и нем древнегреческий рок.

Попировали маленько – и хватит.
Вам ли не знать, что история катит
не по коврам, а по хрупким костям.
Славно и весело вы погостили
и растворились в пространствах России,
дачи оставили новым гостям.
Все начиналось с детей Николая...

Что бормотали они, умирая
в смрадном подвале?

Все те же слова,
что и несчастные дети Арбата...
Что нам считаться – судьба виновата,
не за что – а воздается сполна!

Чадо Арбата! Ты местию дышишь,
но на грузинское имя не спишешь
каждую чистку и каждую пядь –
ведь от подвала в Ипатьевском доме
и до барака в республике Коми,
как говорится, рукою подать.

Тетка моя Магадан оттрубила,
видела, как принимала могила
дочку наркома и внучку Шкуро.
Все, что виновно, и все, что невинно,
все перемолото – зло и добро.

Верили: строится прочное дело
лишь на крови. Но кровяца истлела,
и потянулся по воздуху смрад,
и происходит ошибка большая –
ежели кровь не своя, а чужая...
Так опустел довоенный Арбат.

Новое время шумит на Арбате,
всюду художники, как на Монмартре,
льются напитки, готовится снедь...
Я прохожу по Арбату бесстрастно,
радуюсь, что беззаботно и празднично
можно на старые стены смотреть.

Помнишь, Арбат, социальные страсти,
хмель беззаконья, агонию власти,
храм, что взорвали детишки твои,
чтоб для чиновника и для поэта
выстроить дом с магазином «Диета» –
вот уж поистине храм на крови...

Радуюсь, что не возрос на Арбате,
что обошло мою душу проклятье,
радуюсь, что моя Родина – Русь –
вся: от Калуги и аж до Камчатки,
что не арбатских страстей отпечатки
в сердце,
а великорусская грусть...

Вячеслав Саблуков

* * *

По прямой автостраде заученно
Мчится серый рычащий поток.
Где же луг да речная излучина?! –
Запад весь в паутине дорог.

Что ни дерево – пронумеровано,
Расчленен омертвевший простор.
Скоростями страна зашнурована,
Для души нет надежных опор.
Мы порою корим свою родину,
Гоним жизнь за красивой тщетой, –
Хоть бы въехать в родную колдобину,
Чтоб встряхнуться от гладкости той!

Дмитрий Ушаков

КРАСНЫМ МАРШАЛАМ

В Архангельске есть улица
Красных Маршалов...

Ваши судьбы, Маршалы,
на воде – кругами.
Наша память, Маршалы,
вечна и нетленна...
Окружали Маршалов
русскими штыками,
в лагеря сгоняли,
как военнопленных.
Где это?
На Родине,
в глубине России...
За нее водили
вы полки в поход.
Боевые кони
не вас ли выносили
на траншейный бруствер,
на вражий пулемет?
От смертей не прятались,
хоть незаговоренные.
Как вас пули миловали –
судить не берусь...
Были комполками,
были эскадронными,
были просто русскими,
любящими Русь.
И когда сержанты,
онемев от гордости
(шутка ли, доверено
такое совершить!),
с вас срывали звезды
заскоружлой горстью,
ваша вера в Родину
продолжала жить!

Ваши судьбы, Маршалы,
пулями пробиты.
Смелые, не дрогнули
в смертный час...
Спите, не таите
горькие обиды,
Родина оплакивать
вечно будет вас!

Фаик Мамед

ПРОЙДЯ ПО ПЫЛЬНЫМ ДОРОГАМ

Я помню села, ставшие золой.
Я не стыдился слез под гром Победы.
Что значит скорбь, я до сих пор не ведал,
и вот – она стоит передо мной.

Платок отмечен траурной каймой.
И горький дым ползет за нею следом.
Высокая, Седая. Как об этом
я расскажу? Она приплла домой –

к могиле братской, положить цветы.
Она сама как памятник стояла.
Что пыль дорог? Она огонь познала –

обугленную душу видишь ты...
И снова мир – у роковой черты.
Как будто бы всего, что было, – мало!

*Перевод с азербайджанского
Светланы Соложенкиной*

Владимир Матвеев

ЗАДАНИЕ

Достигло пурги завыванье
Печальных, как реквием, нот.
А взвод уходил на заданье
И знал, что назад не придет.

Махрою дымили ребята,
Идущие в огненный шквал,
Когда старшина маскхалаты,
Как саваны, им выдавал...

По плану все сделано было
Десантом в тылу у врага –
И лыжникам стали могилой
Меж сопками где-то снега.

С напрасной надеждой провидца,
На миг отрываясь от дел
(«А вдруг кто-нибудь возвратится?..»),
Начштаба на запад глядел.

И плакали тихо девчонки,
Бумагой штабной шелестя,
Когда на солдат похоронки
Писали неделю спустя...

Владимир Фомичев

* * *

Все други, все приятели
До черного лишь дня.
.....
Ударит ли погодушка,
Кто будет защищать?

*Алексей Мерзляков.
Из песни «Среди долины ровных»*

«Все други, все приятели
До черного лишь дня», –
В себе загадку спрятали
Слова
И жгут меня.

Что день, что ночь – все думаю:
Глубок ты, Мерзляков...
Я подлинною дружбою
Спасен от злых врагов.

В нее не верить без толку.
Но чей-то голос: «Стой!
А мнимой дружбы песенку
Нам не поют порой?»

Терзаюсь я неистово
И взвешиваю все:
Что ложь, а что же искренность?
Качанье чаш весов.

Кто он – в очках, таинственный?
Кто он – чудной добряк?
В них вглядываюсь пристально
И не пойму никак.

Ах, жить бы по-хорошему!
А Мерзляков опять:
«Ударит ли погодушка,
Кто будет защищать?»

Владимир Трофименко

ШАРОВАЯ МОЛНИЯ

Наволновавшись вместе с залом
в театре кукол, к трем вокзалам
шел человек малолетний,
попал в пути под дождик летний,
бредет сквозь дождь напропалую...
Вдруг – что такое? – врассыпную
мужи – молчком кусты круша,
а дамы – тоненько визжа!

Сквозь теплый дождь, слепя, как фара
локомотива в клубах пара,
величиной с лимон, лимонная
несется шаровая молния!
Сквозь сквер промчавшись метеором,
вдруг на Кольце под светофором
четвертым светом повисает,
висит – и это потрясает!

Пока у граждан в сквере – обморок,
а на Садовом – пробка, мчит
под светофор по лужам отрок
и вот что молнии кричит:
«Зачем, зачем в дыму и копоти
вам тут висеть? Не лучше ль вам
жить и светить у папы в комнате? –
он книжки пишет по ночам!..»

Сквозь дождик сеящийся летний
шел человек малолетний,
а с тротуаров, оживая,
глядел народ, рукоплеща:
ведь молния-то шаровая
за ним летела – у плеча!
То взмоет ввысь и чуть отстанет,
то, лишь махнет рукой мальчи,
обгонит, и в лицо заглянет,
и как бы нежничает, ишь!..
Кто шел за ними до перрона,
тот видел: мальчик в дверь вагона
влетел, а молния – за ним,
обвита дымом золотым.

...Очередное шалопайство
осуществив, передохнем...
А молния-то шаровая
висит в плафоне – над столом!
«Висишь и светишь? Ну виси...»
Я вглядываюсь в тьму ночную
и запах будущего чую –
так пахнет молния вблизи...

Борис Виктор

КАЧЕЛИ

Столетиями обвитые качели,
единожды дарованные нам,
уже снижались (все еще летели!),
и примерзали поручни к рукам.

Земли коснулся маятник тяжелый
вблизи речной запруды, на краю,
и я услышал голос невеселый:
«Постой, я ничего не узнаю...»

Под стенами перервинской церквушки,
где некогда венчался Иоанн,
сцепившиеся царские лягушки
отплясывали радостно канкан,

дробился свет, визжала пилорама,
блаженная (в наушниках) орда
среди витражей разбитых пировала
и нас не понимала никогда...

«Где Нищенка-река? Затон? И клены?
И острова с черемухой шальной?» –
И вдруг осекся голос оскорбленный:
«Наверно, это мы всему виной...»

Среди громад, колеблющихся зыбко,
и фонарей, мерцающих вдали,
я думал удержать тебя улыбкой,
я верил в притяжение Земли,

я помнил, как разумные качели,
согретые и Солнцем и Луной,
уже снижались (все еще летели!..),
и облака клубились надо мной,

и озирались загнанные реки
на всем пути, и ночь пришла, и вихрь
кружил, разъединяя нас навеки,
и вырывалось яблоко из бедных рук твоих...

Семен Липкин

* * *

Вспоминаются финские скалы
У холодных и медленных вод,
А над ними – от ветра усталый
И от северных битв – небосвод.

Вспоминаются финские храмы
С зимним садом, с стеклянной стеной,
Чтобы сосны, как чинные дамы,
В храм входили из чаши лесной.

Вспоминаются порту причастных
Грузных чаек настойчивый крик
И с огромным количеством гласных
Неуступчивый финский язык.

Илья Френкель

ТРИДЦАТЬ ПЕРВОЕ АВГУСТА

Последняя суббота в августе
Шумит листвою осенней благодати.
Всех дольше держат зелень клены –
Все исподволь готовят кроны
Для перехода в листопад.
А люди делят на микроны
Оставшиеся
Рай и ад.

Марина Тарасова

* * *

...Ты торчишь из сугроба замерзшим каркасом,
мертвый голубь, пилот безъянный из птиц,
на тебя брызжет слякотью черная масса,
весь бензин и мазут городских колесниц.

Эти всадники – все из огня и железа,
не в добре и не в братстве кончается век,
в гололеде любви на асфальте облезлом,
где смешна остановка, летален разбег.

В олимпийском азарте, средь рева и гуда,
где внимают не голосу – свисту судьи,
там мерцает душа, старомодное чудо,
заслонившись слезой от металла судьбы.

Как реликтовый куст, как мелодия «ретро»,
как дрожит под тобой тростниковый твой мост,
ты рассветный фрегат, обдуваемый ветром,
в сквозняках, в золотистых пупырышках звезд.

Вышла мать на балкон в светлом платьице тонком,
чтобы кухонной шваброй – кому же назло? –
перегнувшись легко, улыбаясь ребенку,
с тополиной вершины обрушить гнездо.

Упадает птенец – возникает порода
непригодных для неба, чужих для земли,
но гляжу – в синеву наваждением природы,
позабыв зоопарк, поднялись журавли.

Над жилищем зверей наши смелые братья
кружат в воздухе ломком, любовь затая,
им проснувшийся город откроет объятья,
но найдется подросток – пальнет из ружья.

Отпеваю тебя, мой раздавленный голубь,
я не спутаю белое с траурным черным,
робкий певчий, не принятый в праздничный хор,
я прощаюсь с зимой этим словом надгробным,
трубным словом, летящим в апрельский простор.

Лев Смирнов

САД РАДИАЦИИ

Тот сад радиации. Та карусель
Прогнозов, вестей, опасений
И крики чернобыльских диких гусей,
Летящих на юг и на север.

Деревья-страдальцы с обвисшей корой,
Открытые ветру и пеплу...
По саду бродили полдненной порой,
Как будто по темному склепу.

Был черен тот сад. Было в сердце черно.
Черны были нити событий.
Всего же черней было в небе пятно –
Весеннее солнце в зените.

Вокруг – ни души. Только гипс на виду:
Каменны, сатиры, трезубцы...
...А мы целовались в том страшном саду
И счастливы были, безумцы!

ШЕСТВИЕ СО СВЕЧАМИ В ЕГОРЬЕВ ДЕНЬ

В славный день Егорьев, все забыв печали,
Трепет жизни поровну деля,
Женщины и дети с робкими свечами
Обходили вешние поля.

Они пели тихо между сонных взгорий,
Совершая плавные круги:
– Ты скотинку нашу, батюшка Егорий,
От напастей всех побереги!

Волку и медведю пень поставь с колодой,
Ворона дресвою накорми,
Зайцу, и кунице, и лисе голодной
До земли осину накрени.

Матушке скотинке, нашей животинке,
Тёлонькам, бычкам-годовикам
Зелены подушки, зелены перинки
Расстели по ярам и лугам.

Колыхались свечи в сумраке зловещем,
Шли стеной сосновые боры,
Просьбы малых деток и молитвы женщин
Уносились в звездные миры.

Так они небесно над землей простерлись
Пред самым Егорием в ночи,
Что медведи-волки о тот пень истерлись,
Превратились в пыльные смерчи.

И смещаются дали, и смещаются страны...
Так пульсирует жизнь на Всемировой орбите,
И пронзается сердце толчками событий.

БЕЛАЯ КОРОВА

Голодно было в те годы послевоенные,
И жизнь моя в болезнях – как бы надтреснута.
Но однажды отец привел большую отменную
Белую корову с базара воскресного.

Я так обрадовался: эту корову
Вижу воочию и посейчас,
Белую нежность ее покрова
И приветливый в белых ресницах глаз.

Была она надежная, теплая, прочная,
И двор осветился: мы корову купили.
Мать вышла и ахнула:
– Корова-то не молочная! –
А деньги долго мы на нее копили.

Не та была пора – насмешка не кружила,
Женские глаза жалели, не корили.
– Чем же она тебя приворожила?!
Как же они тебя провели-уговорили?

Город рабочий. Посере́д двора корова.
И сосед наш Вобликов говорил с приглядкой:
– Что же ты, Яков, как белая ворона,
А вроде бы мужик энергичный и с хваткой.

И стоял мой отец, работник толковый,
Моргал глазами, в кепке своей неизменной.
Он не знал, разумеется, что белая корова
В далекой Индии почитается священной.

Корову со двора уведут обратно.
Едва встретившись – с ней придется расстаться...
А было в ней что-то невыразимо приятное,
Смутно предвещавшее необыкновенное счастье.

Анатолий Парпара

* * *

В Сангарском проливе
Рыбачьи суда
Крутыми огнями
Ожгли небосклон,
И за легионом
Летит в невода
На яростный ламповый свет
Легион.
Судьбой мне завещано
Жить меж людьми,

Спускаться в глубины,
Взвиваться до звезд,
И все же на зов
Безответной любви
Стремиться, как рыба,
За тысячи верст.

ВЕЧЕРНЕЕ

Над озером вечер затеплил звезду.
В кустарнике ветер затих.
Каких перемен на планете я жду?
От дум замираю каких?

Опять нагнетается гаденький страх
И строками и между строк.
Опять постоянно звучит на устах:
Тревога... тревоги... тревог...

Ужель человечество дерзкие сны
Отправило в горестный путь?
Ужель мы, земляне, уже не вольны
Космический ветер вдохнуть?

Ужель недостаточно Марса жрецам
Для радости жреческой их
Войною убитого детства отца
И детских страданий моих?..

За стенкою сын шевельнулся во сне...
Неужто отцам лишь мечтать
О том, чтобы детям не знать о войне?
Но войнам – детей забирать?

Владимир Михановский

ОДА ТУФУ

Вулкан дохнул – и туча пепла
Перечеркнула небосвод.
Светило знойное ослепло,
И потускнели очи вод.

По дымным склонам смерть бродила,
Сжигая все вокруг дотла.
Неуправляемая сила,
О, как страшны твои дела!

Ты погубила все живое –
Леса, и живность, и цветы.
И небо, от беды седое,
Достать хотела б лапой ты.

Всесожигающая лава!
Спеша волнами под уклон,
Ты думаешь, что в силе – право,
Она – единственный закон.

И в тишине многострадальной
Передо мною до сих пор
Зарубки памяти печальной –
Уступы ереванских гор.

Не зря, исполнены печали,
При свете меркнувшего дня
Глаза библейские встречали
На узких улочках меня.

Однако, лава, ты ошиблась!
Есть нечто посильней тебя.
С тобою жизни сила сшиблась,
В рога победные трубя.

Подобно хлебу ноздреватый,
Прочней, чем брат его – гранит,
Туф, словно утро, розоватый
Дыханье теплое хранит.

Леонид Вьюнник

* * *

У акулы зубы не болят.
У дельфина язвы не бывает.
А в меня всю шторма палят,
В дед-мороза вьюга одевает.
Вот оно, морское ремесло,
Вот она, рыбацкая удача.
Цел останусь – значит, повезло,
А погибну – кто по мне поплачет?
Может быть, капризная жена
Да мои распушенные дети.
Только боцман – рыбный старшина,
Если спросят,

правильно ответит:

«Он любил просторы и моря
И друзей не подводил ни разу».
Убежден: морская жизнь моя
Состоит из флотской этой фразы.

Игорь Тарасевич

ВОРОН

Черный ворон кричит на бетонном столбе,
а вокруг все такое земное!
Что великие знаки в пустынной судьбе!
Он устал от палящего зноя.

Перед взглядом его начался обмолот,
и комбайны все ходят по кругу.
Это грохот забыться ему на дает.
Это он подзывает подругу.

У, какой у него угрожающий вид,
сколько зла в растопыренной позе!
Но ему ворониха ответно кричит
на далекой березе.

Этот образ ненастный над полем возник,
триста лет пролетев издалека –
из чужих сновидений, рассказанных книг.
Там теперь без него одиноко.

И комбайны идут, и машины пылят,
стук железа в округе великий.
И со всем наравне принимает земля
эти вечные крики.

Александр Целищев

КЛАКЕРЫ

А живы,
живы те учителя,
Что славословью трепетно учили?
И что они за труд свой получили?
О, много отдала моя земля.

Несметная оплачена цена!
А векселя идут, идут к оплате.
История, и впрямь в шестой палате
Отдельные творятся письма.

Как полон зал! Сойди, кумир, с небес!
То – клакеры, то – их аплодисменты.
Вглядишься, душа, в постыдные моменты:
Комедию разыгрывает бес.

Нам предлагают клакерскую снедь:
Твои глаза от боли погрузстнели.
Мы столько раз не за себя краснели,
Что разучились за себя краснеть.

Вглядишься, душа...

Николай Лудяков

НОЧНАЯ БАЛЛАДА

Журавль жигулевский кричит посреди
первозданного мрака...
Наш «Омик» полночный по Волге,
от шквалов лохматой,

Все на свете тяжести легки,
Все доступны цены.
У моей ромашки лепестки
Все покуда целы.

Но судьбы подсказка на корню
Высохнет без толку.
Обрету удачу, оброню,
Словно в стог иголку.

Хорошо, что с музыкой везло
И баян был звучен,
А потом играло мне весло,
Скрип звучал уключин.

И зачем скучать по тем краям,
Где я буду взрослым,
Если руки тяжелит баян,
Двум подобно веслам?..

Юрий Могутин

КРУМ-КРУМ

Где же ты, ворон-крумкач,
нелюдимая сильная птица,
Иссиня-черная тень бесконечных, как вечность,
полей?

Тихо ступая по злату, октябрь ряболицый
Свел в поединке лосей и с болота спугнул
крохалей.

Только когда обесптичили степь, редколесье
и стылые тундры,
В небе свинцовом закрумкало скорбно:

«крум-крум...»,
Сыпали тучи на землю то крупной, то снежной
пудрой,

Бубном шаманским гудел горизонт на ветру.
Как бесприютен и глух

этот клик
в неоглядных пространствах!

Что он пытался сказать
на корявом своем языке?

Тщетно отыскивать смысл
и пытаться напрасно
Мысль примерять к допотопной
вороньей тоске.

Вот он летит,
современник царя Алексея,
Мрачный свидетель трагедий,
восстаний и битв.

Время уносит монархов, жрецов, фарисеев,
Климат меняется...

Он – неизменный – летит.
В небытие отошли режиссеры трагедий и зрители,
Чьи-то доспехи источены ржою во рву.

Что же ты смотришь, крылатый могильщик,
пронзительно?

Не торопи мои дни, я еще поживу.
Я подглядел у природы в незримых скрижалях,
Что не пришел мой черед раствориться во мгле.
Рано круги над моей головою сужаешь.
Слишком привязан корнями я к этой земле.
Впрочем, с тобой

никому не дано торговаться,
Вещая птица – свидетель бесчисленных тризн.
Сколько отпущено
мне бушевать, ревновать,
восторгаться?

...Щелкает клювом
и смотрит загадочно вниз.

Краток мой век в океане зияющей вечности.
Как ни спешу, а немногое сделать успел
Для ненаглядных людей,

для родного отечества.
Может, лишь первую фразу из песни заветной
и спел.

И как в младенчестве спрашивал с трепетом маму,
Взглядом пытаю пространство:

«...А я не умру?»

Ворон сужает круги надо мною упрямо.
Сверху доносится хриплое:

«Замкнутый крру-у-г...»

ТАТАРНИК

Кто жизнелюбие ей дал,
вот этой сорной
Траве, непрошеной, никчемной, беспризорной?
Неужто можно быть

веселой и счастливой
С такой судьбою, подзаборной, некрасивой?
С такой неласковой, с такою несурзальной,
Средь склянок, банок, на случайной свалке
грязной,

Весною каждую
проплешины бинтуя,

К счастливой жизни притулясь почти вплотную?
Кто оптимизм в нее вселил, в траву-дикарку,
Что так безудержна она

в цветенье жарком?
Над грудой рухляди и ржавого металла
Резные листья так привольно разметала...
Цветет татарник среди зарослей пырейных,
На зависть шелковым

цветам оранжерейным!
Не к ним, тепличным, пчелы мчат за сладким
медом,

А на задворки к фиолетовым уродам.
Нет, не татарник воспевают в жизни барды.
Торчат разбойно копыя, пики, алебарды.
И достоверно знают

разве только пчелы,
Что за колючками – и мед и нрав веселый.

Омар-Гаджи Шахтаманов

* * *

Снег падает и падает в горах
На белый лист поляны вдохновенно.
Так создавались Пушкиным поэмы.
Так я летел к тебе на всех ветрах.

Как звездный рой кружится снег вокруг,
Порхает в нежном шорохе и звоне,
Ромашковый напоминая луг
И белокрылых бабочек в ладони.

Снежинки тают в теплом кулаке,
Как бы слова, не сказанные мною.
Ель, на крутой скале невдалеке,
Сияет нестерпимой белизною.

Я замечтался: если бы и мне
Предстать пред миром и тобою тоже
В такой же первозданной белизне,
Как отраженье на тебя похожей.

*Перевод с аварского
Владимира Евпатова*

Александр Говоров

ВЕСЬ В ОТЦА, И ТОЛКУ ПРОПАСТЬ

Завиваясь, и завили
Мои кудри – чуб горой.
Забываясь, и забыли –
Мутно, муторно порой.

А бывало! Плащ внакидку,
Ухал – ухарь, цел не цел.
Взглядом бил – и бил навскидку
В разлюли малина цель.
Целина... А сам не пахарь.
Цели – на! – невпроворот.
Сам себе – и маг, и знахарь,
Но, пожалуй что, – прохвост.

Горделивая походка,
Ходко – и ходок вполне,
Каждая почти молодка
Соответствовала мне.
Но... нарвался на такую,
На такую наконец,
Что порой и затоскую,
Т-так... Но... стоп...
Я – сам отец.
Здесь и логика бессильна,
Ни к чему и ловкость здесь.

Те черты ишу у сына:
Весь в отца? Или не весь?

Сам себя под бок толкаю
Ради красного словца.

И бессильно умолкаю,
Когда слышу:
– Весь в отца.

Весь в отца! Ишь чешет ловко.
Ишь ты, как он мечет в масть!

Про себя добавлю только:
«Весь в отца,
Но... больше в мать».

ГОРЯТ ГЛАГОЛЫ

За горами – снова горы,
Горе – в горле,
Голод – в годы,
В детские при этом...

Ждать какой еще погоды?
Ждать не ждать – поедем.
А куда?
Туда – где голы,
Где с сестренкой пухли...
В нашем детстве –
Все глаголы
С голода потухли.
Думалось...
Но доля злая.
Думалось...
Но жил, не зная:
За горами – снова горы.
Что ж – туда?
Иль струсишь?..
Вспыхнули, горят глаголы,
Грея тебя, русич!

Павел Богданов

ЛЮБИТЕ ЗЕМЛЮ ВСЮ

Родную землю надо всю любить,
А не одни красивые пейзажи.
Где нету и травинки малой даже –
И ту нельзя любовью обделить.

И ту, гниющую в болотистой глуши,
И ту, что задыхается от зноя,
Люби!
Приди, болото осуши
И напои пески живой водою.

Чтоб вся земля цвела и колосилась,
Твоей любовью преображена.
Чтоб и она сама потом дивилась,
Какой прекрасной
Может быть она!

Борис Бобылев

САЖЕНЦЫ

Под Нью-Йорком, на могиле
композитора С. Рахманинова, так и
не принялись сажены сирени, вы-
везенные из России Ван Клиберном.

Быть может, поливали плохо,
А может быть, не та вода,
Не та погода, и эпоха,
И грунт не тот,
Не та звезда –
Не то небесное светило
Над этим действием светило.
А может быть, сама сирень
Куститься здесь не захотела:
Здесь похоронено лишь тело –
Не пламень сердца и ума.
А может быть, сама сирень
Угасла тихо, словно пламя,
Чтоб не бросать косую тень
И не тревожить прах корнями.
А перед смертью говорила,
Склоняясь низко над могилой,
Что – не простила,
Что – простила.

Николай Новоселов

ДОЛГ

Здесь, в русском поле,
среди лесов забытом,
Хранящем горечь
бедственных годин,
Вмерзаю в эхо отгремевшей битвы, –
Не зная войн, доживший до седин.

Пусты траншеи. Не дымят воронки.
Темна и молчалива высота.
На тех, кто здесь полег, –
нет похоронки.
Нет обелиска. Даже нет креста!

Врос пулемет
в березы ствол корявый.
Травой железной –
гильзы у корней...
И там, и тут, гляди
(о боже правый!):
Глухая скорбь
неприбранных костей.

И меркнет свет
над этим горьким полем.
И жесткий стыд
колотит по щекам.

Живые!
Вы – произошли от боли.
Как можно жить,
когда не больно вам?!

И нет покоя, нет – под этим небом.
И тишина звенит – разбитым сном...
Предавший память –
кто бы это ни был! –

Не человек
в Отечестве своем.

Сергей Агальцов

* * *

Безмятежен, как ангел, безгрешен,
Для отрады усталых сердец
Поселился в одной из скворешен
В палисаднике ветхом скворец.

Песню он на заре запевае.
И, внимать этой песне привык,
Все недуги свои забывает
На скамейке у дома старик.

Что за песня! Услада для слуха.
На скрипучее выйдя крыльцо,
Кротко слушает песню старуха –
И светлеет у старое лицо.

Озаряется солнышком дворик,
И колышутся кроны дерев.
Ах, пичуга, как сладостно-горек
Твой ликующий бедный напев!..

Вадим Ковда

НЕЧЕРНОЗЕМЬЕ

Реки тихие, дали пустые
да лесов неизбывная рать...
Нагляжусь, надышусь на Россию
и поеду в Москву умирать.

Там в столице живу ли? дышу ли?
Тьма на сердце – таи не таи...
Арзамасы, Касимовы, Шуи...
Золотые, родные мои.

Вот и езжу по средней России,
где на сырых полях воронье,
где просторы гудят ветровые,
где грустят деревеньки ее,
молчаливые, темно-кривые,
так похожи на наше житье.

Для чего мне сюда так стремиться?
Разве жизнь эта так хороша?
Лес, да небо, да редкая птица.
И Душа...

Антонина Баева

* * *

Набрякший неба серый полог
чуть-чуть раздвинется,
и я
тотчас найду среди звезд-иголок
ту, что заветная моя.
– Ну, как тебе живется?
Здравствуй!
Устала, видимо, и ты...
Терпи, дитенок мой глазастый,
до самой долгой темноты,
когда мы станем ближе вдвое,
объединяя сердца дрожь,
когда меня землей прикроют,
а ты – на Землю упадешь...

* * *¹

Бог души моей, судьбы моей,
ты меня хоть изредка жалеи.
Испытав на прочность, на излом,
надели каким-нибудь добром;

¹ В сборнике «День поэзии 1987» это стихотворение А. Баевой по ошибке было опубликовано в подборке другого поэта.

посели хоть зори на постой,
дай мне счастье дружбы непустой;
день продли, раздвинув облака,
силы дай для главного глотка
этой жизни,
сладостной всегда,
даже в наитрудные года.
И я буду знать, что это ты
уделил мне столько доброты.

Нина Королева

СКАТЕРТЬ

Белоснежная, льняная –
Драгоценность для меня...
Кто дарил, одна я знаю –
Скатерть белого огня...
Вся из боли прошлогодней,
Вся из нежной суеты...
Запятнали скатерть сводни,
Спас ее от сплетен ты.
Накупалась в речке вдоволь,
Належалась на траве,
Утирала слезы вдовьи,
Не перечила молве.
В дни январские звенела,
Птицей билась в феврале...
Обжигалась снегом белым,
Оживала
На столе...

Владимир Топоров

ЗМЕИНЫЙ РАСПАДОК

Юность ушла. И уже не посмею
думать, что дикой травы я умней.
В месяц апрель просыпаются змеи,
Гибко струятся меж пыльных камней.

Влажная дрожь пробегает по коже,
В мышцах истома и трепет живой.
Горный распадок – их брачное ложе –
Маками убран, застелен травой.

Змеи, свиваясь, трепещут, лоснятся,
В позы с лебяжьей осанкой встают.
В этих движениях брачного танца
Дикие маки себя узнают.

В месяц апрель, и шипя, и немея –
Страсти стариннее нет на земле, –
В горном распадке сплетаются змеи,
Чтоб не угасло их племя во мгле.
Что им все наши грехи и пороки! –
Жизнь
И вины искупление в ней?
Это их час
В бесконечной дороге
Мудрого рода и маков, и змей!

И не исчезну с земли этой весь я,
Если и в будущей жизни земной
Будут все так же сплетаться весной
Змеи в горах, облака в поднебесье,
Гибкие водоросли под волной.

Владимир Пальчиков
(*Элистинский*)

ТРАКТОРА

День и ночь на полях – ЧТЗ.
Неживые, а тоже устали...
Это Время
 в ботинках из стали
по нелегкой шагает стезе.

МЕТАФОРИСТ

Он в мучениях, в пытке словесной,
именует по-новому вещь.
И – не черная слива, а... клещ,
насосавшийся крови древесной.

Василий Казанцев

* * *

– Я выстою в своей крутой борьбе.
Я вытравлю твою любовь к себе! –
...И вот стоит пред ним безгласный ствол.
– Но почему ты тих, и сух, и гол?

– Ты вытравил мою любовь к себе.
А вместе с нею – и любовь к тебе.
А вместе с нею – и любовь к семье.
А вместе с нею – и любовь к земле!

ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ

– Усидчиво корпел.
Настойчиво твердил.
– Достиг, обрел, прозрел?
– Таким же стал, как был.

И дальше шел, шаггал.
И пуще бил, долбил.
– Узнал, чего не знал?
– И то, что знал, – забыл!

* * *

– Я за победу пью свою.
– Зачем? Скромнее надо быть.
– Я за погибель вражью пью.
– Зачем? Добрее надо быть.

– За бой тяжелый выпью все ж.
– Зачем? Мудрее надо быть.
И вообще зачем ты пьешь?
Совсем, совсем
Не надо
Пить!

Валерий Диков

ШАПКА НАБЕКРЕНЬ

Был я молод,
был я весел,
все гулял
да куролесил.
Шапка набекрень!

Сдуру думал:
обойдется,
сном счастливым
обернется
блажь и дребедень.

Только сон мой –
беспробуден.
Жизнь одна.
Другой не будет.
Отцветет сирень.

И сгорит
без сожаленья
на костре
самосожженья
и последний день!

Николай Агеев

* * *

Сухой,
Пьянящий запах леса
Стоит в столярной мастерской.
Смола на гладких жарких срезах
Искрится свежеею росой.
Здесь ветра свист порою ходит
По верстакам и по столам
И песни вьюжные заводит
Иль будоражит птичий гам.
Здесь в белой шубе половицы.
Стамески, перки да ножи...
И старый мастер смуглолицый
Свои рисует чертежи
И вяжет рам сухие скосы,
Все по-старинке,
На глазок...
А свяжет раму –
Нет износу –
Переживет столетний срок.
А коль наличники нарежет –
Поют на диво петухи!..
И мне подумалось,
Что прежде,
Наверно,
Дед писал стихи!
А он пера держать не может –
Рука, как комель,
Тяжела...
И ничего его не гложет,
И хорошо идет дела.

Владимир Евпатов

СТРЕЛА ЗЕНОНА

«Летящая стрела находится в покое...
Я думаю, бывшее вороша:
Сказал Зенон, почти шутя, такое,
Что приняла всерьез моя душа.

Во исполненье этого закона,
Чуть слышно в упоении свистя,
Летит куда-то, вслед стреле Зенона,
Она тысячелетия спуска.

Летит сквозь океаны тьмы и света,
Летит сквозь битвы сил добра и зла
Бесстрашно, неуклонно, будто где-то,
За далью далей, цель свою нашла.

И хоть она не ведает покоя,
Но не дает слабинки никогда.
И даже над кровавым полем боя
Томится главной думою:
«Куда?..»

Светлана Кузнецова

* * *

В цветастом наряде, в обнимку с бедой
Сидела подруга. А рядом
Летали поденки над грязной водой
И хвастались черным нарядом.

И я говорила ей странную речь,
О том, что сама я – поденка,
О том, что мне жизнь неприлично беречь,
Когда она вся – похоронка.

О том, что не стану минуты считать,
Которыми так небогата. -
О том, что мне надо летать и летать,
С восхода летать до заката.

Что нужен мне только мой черный наряд,
Прозрачные черные крылья,
Которые сладкую легкость творят
Над зарослями чернобыля.

Подруга в ответ мне роняла слова
Об отдыхе, счастье и смысле,
И может, была уж не так неправа,
Да разные доли нам вышли.

Она переборет и эту беду,
Немного усилий осталось,
И встретит в каком-то туманном году
Спокойную, умную старость.

А мне лишь поденкой, поденкою быть
И в завтрашнем дне не продлиться.
А мне только траурным промельком слыть
Над грязной водою столицы.

* * *

Чем ярче и светлее день,
Чем день вокруг ясней,
Тем мне виднее эта тень,
Тень матери моей.

Она скользит вон там вдали,
Над темными лесами,
Переплетясь с травой земли
Седыми волосами.

Ее прозрачные глаза
Пусты и неподвижны,
Как в наших церквах образа,
И столь же непостижны.

Но та, что в муках умерла
Весеннюю порою,
Теперь реальней, чем была,
Когда была живою.

Так к пепелищу нам ключи
Подсовывает память.
Так мысль о пламени свечи
Подчас сильнее, чем пламя.

* * *

В прабабкиной коробочке в эмалевой
Лежал тот крест, который ты теперь
Вымаливай,
Вымаливай,
Вымаливай,
Но в возвращенье все-таки не верь.

Сладчайший дар небесного Париса,
Веками возделенного Христа,
Он легок был, тот крест из кипариса,
Но высота была им отперта.

Нас по земле, как листья, ветер тащит
Куда-то в непроглядные дожди.
Подруга, крест твой несравненно тяжче,
Но не сулит блаженства впереди.

И ты гляди,
Гляди,
Гляди с испугом
На бабочку, чей лет неуловим,—
Прабабкина душа парит над лугом,—
Сияние над сумраком твоим.

Сергей Красиков

* * *

Эхо аукнуло и побежало в дыму
По отсыревшей глухой тополиной аллее.
— Кто это нас призывает в глубинную тьму?—
Полночь спрошу.

Объяснить мне никто не сумеет.

В шелесте лиственном чьи-то слышны голоса,
Силуюсь узнать, но от робости голос немеет.
— Что это все нас тревожат тоской небеса?—
Бога спрошу.

Объяснить мне никто не сумеет.

В жизнь ухожу. Покидаю отцовский закут
И восторгаюсь тому, что опушка бледнеет.
— Что это все нас дороги куда-то зовут?—
Сердце спрошу.

Объяснить мне никто не сумеет.

Зинаида Палванова

КРАПИВА

На Украине жили мы тогда.
Я отчима звала трусливо батей.
И не боялась местного труда.
Торф резала на пламенном закате.

А после торфа у соседей, помню,
Глотнула первый в жизни самогон.
Как пламенно, как взросло, как легко мне!
Я влюблена. Женатый завуч он.

С годами приближается былое.
Приблизилось. Нечаянно взгляну
И вспомню, как ходила за село я—
За молодой крапивой кабану.

Оторванная отчимом от книжки,
Я рву крапиву в царстве соловья.
Тугие, как мешки, большие вспышки,
Крапивные ожоги бытия...
Спасибо кабану-обжоре Мишке.

ПРИНЦ

Он спросил у меня, как пройти к метро,
он предложил мне выпить по чашке кофе,
он рассказал о своих проблемах;

я на него смотрела,
я его слушала,
я дала ему денег в долг;

он проводил меня до самого дома,
он взял у меня телефон,
он почему-то не позвонил;

я поняла, что 40 рублей—не беда,
я поняла, что все еще молода,
я поняла, что жду я принца,
натуральностью
смахивающего
на проходимца.

... Ты меня оставлял на потом –
То карьера, то просто дела,
Разве ты согревал мой дом,
Если не было в нем тепла?

А когда не хватало сил –
Разве ты меня на себе
Из воды и огня,
Из беды выносил
Наперекор судьбе?

Ни за что тебе не прощу!
А за окнами ночь темна...
Никогда тебя не впущу!
Что ж так смерзлись створки окна...

Парусами шторы встают,
Со своих все слетает мест,
Ах, привычный земной уют
Надоест еще, надоест!

Может, выстудив жизнь мою,
Улетишь опять поутру, –
Но счастливая я стою
На отчаянном том ветру!

Анна Саед-Шах

* * *

Все было: стежки и дорожки,
любовь, собаки, воронье...
Меня встречали по одежке,
а провожали без нее.

Узнав, что плакать бесполезно,
держась под вечер молодцом,
я выходила из подъезда
почти с торжественным лицом.

Владимир Дагуров

ГРЕХ

В сарае сидели подростки.
Сквозь щели сверкала гроза.
Мерцали во мгле папироски,
высвечивая глаза.

И вот в эту сырость и темень
среди дворовых недотеп
на непсионерскую тему
зашел просветительный треп.

Метался таинственный шепот,
как угли, горели глаза,
и старший, ссылаясь на опыт,
поведывал нам чудеса.

Хмельные, как будто с горилки,
пошли мы смотреть, обнаглев,
как бабы смывают в парилке
с себя несмываемый грех.

Рубашка мгновенно вспотела,
дыханье зашло в духоте:
впервые я женское тело
увидел во всей наготе.

И в облачном белом тумане
под весело бьющей водой
оно выплывало, дурманя
молочной своей чистотой.

Две ягоды влажных
зрачками
глядели бесстрашно на нас,
совсем не таясь перед нами
и таинством все ж становясь.

И мылась девчонка под душем,
к чужим замираньям глуха,
и наши незрелые души
спасала собой от греха!

Маргарита Тимофеева

* * *

Какое смертельное счастье:
лежать на плече у бога
в раю вознесенно-убогом,
удобств лишенном отчасти.

Смешно сомневаться, право,
небесно ли в этом храме,
где аисты на обоях,

где в лад с абсолютно безгрешным
дыханьем твоим мерцают
цветные нити на елке

и в свете лампы настольной
распутная кошка Мария,
в панель превратив подоконник,
фланирует перед котами,
любуйся своим отраженьем.

И где над тобой, распятым –
вдавлены рот и глазницы, –
счастливые тени витают
охотниц, прелестниц, наперсниц, –
не пересоперничать мне их,
а им, всем и каждой, – меня:
богово – неделимо.

Зажмурюсь – и встанут на алом –
провалом – рот и глазницы,
торжественный гул кровотока,
божественный запах – пота,
костра, перегара, снега.
И празднично зла охота,
и коротко красное лето,
и коротко всякое ложе
для одинокого волка.

Твой сон сторожу корыстно:
вскрик, как разбойный посвист,
вскрик, как испуг, короткий –
поймаю его в ладони
и унесу на память.

Надо сказать:
смертельно
люблю тебя в эти минуты...

Светлана Соложенкина

ЗИМНИЕ ЧЕТВЕРОСТИШИЯ

1

Я помню военную зиму. Она
звенеть заставляла дорогу, как молот.
И если б спросили: «Что значит война?» –
то я и сейчас бы ответила: «Холод».

2

От этих снегов неоглядных
на сердце печаль и покой.
Снегирь прилетает нарядный...
Откуда он взялся такой?

3

Знать бы мне, что матери поможет, –
я пешком пошла б за сине море,
я иголкой вырыла б колодец...
Знать бы мне, что матери поможет!

4

Снега оседают... И это январь!
Снега оседают, сыреют и тают...
... Не странно ли, что не тепла нам, как встарь,
а холода не хватает.

5

Случалось, и мной дорожили,
молили: мол, только живи...
Но кто я? Всего лишь снежинка
на теплой ладони любви.

Олег Алексеев

* * *

Колодец памяти все глубже,
а в нем – озера и леса,
и в полутьме все глуше-глуше
ручьев погибших голоса...

Былое прежде черпал щедро,
с трудом сегодня достаю;
уходит цепь протяжно в недра;
стою над бездной, на краю.

К тугому ржавому скрипенью
прислушиваюсь, не дыша, –
как бы к неведомому пенью
воды, осоки, камыша.

Бушует в глубине колодца
земли холодное нутро.
Еще виток – и оборвется
душа, как полное ведро.

Еще мгновенье – и исчезнет
кусочек неба надо мной,
и дух мой растворится в бездне,
в ее стихии водяной.

* * *

В берег плещется бль-небылица,
в синей бездне роятся огни,
и кислит мои губы кислица –
как тогда, в златоперые дни.

С отчужденно-холодной рекою
не сливается жизни поток:
зачерпнешь лишь мгновенье рукою,
лишь мгновенье – короткий глоток.

А вода все пронесится мимо;
жизнь моя, понимаю теперь,—
лишь глоток из огромности мира
в круговерти утрат и потерь.

А под кручей, в речном полумраке,
как тогда—в златоперые дни—
с плавниками, что черные маки,
медно-желтые ходят линии.

Ян Гольцман

СЕЛО НИКОЛА

Бывает, и впрямь, голосим ни с того ни с сего,
Покамест беда подступает. Припомни Николу:
Ослепший конторщик на ощупь проходит село,
В последнем тумане бредет по соседнему долу.

Торопится старый, едва подвигаясь к реке.
Траву приминает, сбивает тяжелые росы.
Замрет над водою: удилище в правой руке
И в левой ладони зажата уда из березы.

Прерывисто дышит. Дрожит в рогатулке уда.
Прибрежные травы дурманно цветут на излуче.
Расплавленным льдом и черемухой пахнет вода.
Трубят косачи—проливаются долгие звуки.

Сидит отрешенно, покуда закат не потух,
Лицо запрокинув навстречу небесному зною.
— Светила не вижу, утратил на старости слух,
Но—слава создателю!—пахнет водой и весною...

Сергей Суша

ОХОТНИК

Когда матерый волк уходит
От пули старого стрелка—
Прощай суровая охота,
Коль глаз не тот, не та рука...

Все дальше в зарослях «пушнина»,
Все реже дятла ровный стук.
Взглянул охотник на осину,
На острый почерневший сук,

Повесил на него двухстволку,
И, большерукий и седой,
Присел на срубленную елку,
И покачал лишь головой...

В тайге охотник жил с пеленок,
В тайге оставил дробовик...
И улыбался как ребенок,
Когда из-под куста волчонок
Ему показывал язык.

Майя Луговская

ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Холод будущего века
В этом юноше—до срока.
Все порывы человека
В нем запрятаны глубоко.
Не отважен, не спесив.
И всегда—однообразен.
Даже, может быть, красив,
Но чем-то—роботообразен.
Ничему он не привержен,
Ни к чему он не стремится.
Почему так черств, так сдержан,
Что под этим всем таится?
Пусть хоть рядом с ним кричат,
А ему какое дело.
То ль искусственно зачат,
То ли мода одолела?

Ольга Постникова

ЛУКОВЫЙ ВЕНОК

Я на луковой грядке остатки деру
В предпоследний теплый денек,
Положу на рядно, просушу на ветру
И тяжелую связку свяжу-соберу,
И сплетется охряный веночек.

Ты возьми старомодный разлаженный ФЭД,
Ты оклики, и я засияю в ответ,
Не заметив горьких обмолвок.
Я опять пред тобой девятнадцати лет
Средь злаченых рыжих головок.

Увенчай меня луковым этим венцом,
Я не вспомню больше вины.
И сними на прощанье с блаженным лицом
На фоне сосновой стены.

Этот шелк шелухи, мой оранжевый прах...
Я на пленке, и ты меня держишь в руках
Белогривою, черной, усталой...
(Света мало и выдержки мало!)
Я счастливой стояла, а выйдет—в слезах,
Ведь от лука глаза защищало.

Лариса Сушкова

* * *

Где на исходе всех начал
сентябрь входил в зенит –
зачем ты бережно молчал
о том, что предстоит?
О том, что было невдомек,
что хлеще всех преград.
Зачем сдержаться мне помог,
ушедшей наугад?
Заката стынущую медь
голубила вода.
Ты сам назначил мне лететь
и не сказал куда.

Татьяна Кузовлева

ТЫ ИДИ...

Сколько тайного в летних потемках,
В переплесках от мрака к огню...
И тебе говорю я негромко:
– Ты иди.
Я тебя догоню.

Так всегда,
Так во всем,
Так и надо:
Кто-то должен отстать на пути.
Я тропу твою выставлю взглядом –
Хорошо ли, легко ли идти?

Незаметнее чертополоха
Затеряюсь меж сорной травой.
Твое небо я высветлю вздохом –
Глубоко ли дышать синевой?

Все, что мучает, выжгу и скрою,
Свою душу одену в броню.
Не оглядывайся. Я с тобою.
Ты иди.
Я тебя догоню.

Сколько раз, отлучаясь из дома,
От меня отлучаясь – в дому,
Этой темною и незнакомой
Уходил ты не знаю к кому.

И когда уже не было мочи,
Отодвинув рукой суетню,
Вслед тебе говорила я молча:
– Ты иди.
Я тебя догоню.

И не опыт, не разум, а нежность
Мне шептала:
«Зря душу не рви.
Этих темных дорог неизбежность
У него от рожденья в крови».

Галина Осинина

ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ

Улочкой поздною шла я домой.
Пахло землею, дождем, тишиной.
Пахло мимозой. Полуночный март
Звездный, тревожащий лил аромат.
... Женщина в черном идет мне навстречу.
Мы поравнялись. Я взгляд отвела.
Слишком я радость свою берегла.

Вот я и дома. В привычном тепле.
В сборе семья. Пироги на столе.
Чай разливаю. А мысленный взор
Высветил в памяти, словно укор:
... Женщина в черном идет мне навстречу.

В неразберихе событий и дней
Вскоре забыла я думать о ней.
Только однажды, спустя много лет,
Вижу знакомый вдали силуэт –
... Женщина в черном идет мне навстречу.

Выстрадав дар боль чужую понять,
Бремя чужое плечом приподнять –
Взор боязливый я больше не прячу.
В женщине встречной себя узнаю.
Здравствуй, сестра!
Дай мне руку твою.
... Женщине в черном иду я навстречу.

Владимир Фирсов

БАЛЛАДА О КОНЕ

Огромный глаз коня
Белеет в лунной сини.
Конь голову склонил
К синееющим овсам...
О боже, до чего ж красна
Моя Россия,
Красна
Красой своей,
Что с детства видел сам!..

О детство!
Где ты, где?
За дальнею горою,
Куда самой судьбой
Пути мне не найти.
А я ведь без него
И юность не открою,
И зрелость не пойму
На жизненном пути.

Полсотни прожил лет...
И вспоминаю ныне
Не голод, не беду,
А то, что видел сам:
Огромный глаз коня
Белеет в лунной сини
И конь главу склонил
К синеющим овсам.

Луна была полна,
Мир одаряла светом,
Которым я тогда
Был словно обольщен.
Был под луною конь
Невнятным силуэтом,
Был глаз того коня –
Реально воплощен.

Мне виделась слеза
В его глазу огромном.
И с болью думал я
В сиянии луны:
С чего же плачет конь,
Когда он не бездомный, –
Ведь с ним пришел солдат,
Прошедший три войны?

Я помню –
Пил солдат
Вино у обелиска,
Под коим спали
Мать,
Отец его,
Жена...
Был одинок солдат,
Жил без родных и близких,
Поскольку у него
Их отняла война.

Он нас, сирот, любил,
И как родных лелеял,
И холил от души,
Как своего коня.
Он всех ребят любил,
Но мне жилось милее
От мысли,
Что любил
Он одного меня.

Он доверял коня
Лишь мне,
А не другому,
С ним разрешал порой
Пахать и боронить.
Я так любил коня,
Что, убежав из дома,
За счастье почитал
В ночное с ним сходить.

И безымянный луг
Мне Бежинским казался.
Все тот же был костер...
Я словно в сказке жил...
Я подходил к коню
И губ его касался,
И он своей губой
Мне волосы ершил.

Я преступал закон,
Его ведя от луга
Ко зреющим хлебам,
Ко зреющим овсам,
Чтоб смог он позабыть
Войны голодной вьюгу,
Которою был я
По горло сыт и сам.

Его я никогда
И в мыслях не стреножил,
Не надевал узду –
Хватало гривы мне.
И конь
В игре со мной
Всегда был осторожен:
По минным
По полям
Скакал я на коне...

Но миной
Был убит
Его лихой хозяин,
Уставший от войны
Еще до дней войны...
И тут-то понял я,
Заботой детской занят,
Чем связан я с конем,
Виновный без вины.

И я за ним ходил,
Как ходят за слепыми,
С ним, как с глухонемым,
Губами говорил.
Я повторял ему
Того Солдата имя,
И молчаливо
Конь
Меня благодарил...

Это, маленький, не шутка.
Очень славно – хвост грубой.
Не забудь же, незабудка,
Цвет печально голубой.

Не забудь, как пахнет ландыш,
Как стрижет ножнами стриж.
Все запомнишь – все уладишь.
Баю-баюшки, малыш.

Юрий Никонычев

* * *

Содрогнется вулкан, заклоочет
В клубах дыма громадой огня –
Освещая развалины ночи,
Ослепляя строения дня.

Зверь бежит, и тяжелая птица
В стороне пролетает над ним, –
Только лава одна шевелится,
Из подземных явившись глубин.

Поглощая песок и камень,
Склон багровой лавиной прожгла, –
Громоздятся над ней испаренья
Организмов, сожженных дотла.

Но, томим неуемным познанием,
Вулканолог туда устремлен,
Где почти с человеческим рыданием
Вулканический меркнет огонь.

И, взглянув в изможденное чрево,
Из которого вышла на свет
В циклопическом пламени дева,
Он поймет, что бессмертия нет.

* * *

Резкий окрик в ночном полумраке,
Тень косая за черным углом,
И рыданье бездомной собаки,
Громкий смех на перроне пустом.
Милицейский свисток, утонувший
В мутном гаме вокзальной толпы,
Лик измученной бабы, уснувшей
На узлах одинокой судьбы, –
Все откликнется, все отзовется
И не даст этой ночью уснуть...
Как легко и бездумно поется,
Если память на миг зачеркнуть.
Но в минуты ночных размышлений
Пред глазами не вечная тьма,
А тревожные черные тени,
Что приходят и сводят с ума.

Вячеслав Байбаков

МАЙСКОЕ УТРО

Федору Сухову

Веселье стрежня
Облако несет,
В росистой мгле крапива и осока,
Переполюют пчелы рамки сот,
Для жизни не жалеют корни сока,
Для воли не жалеет ветер сил,
Для Дона нет глубинней наслажденья,
Чем разносить заоблачную синь,
Спасая степь и лес от вырожденья.
Я, задыхаясь, медленно вхожу
В его поток стремительный, знобящий
И жадно каждой каплей дорожу,
К родному небу с брызгами летящей!

ШАЛЯПИН

(Из поэмы)

Зрело раздумье зерниною цепкой,
Яблоко сочной сквозило расцветкой
И наливалось в приречном саду,
Я, словно в детстве, его украду
И побегу по отаве колючей,
Где сухой браконьерские крючья
В новые травы с лещетки¹ спустил,
Чтоб косари выбивались из сил.
Приноровлюсь я косить неумело,
Главное – взяться и зорко, и смело.
Каждому делу учение впрок.
Учит нас родина крепкости в срок.
Вот и река нас и стрежнем, и плесом
К облаку вскинет, потом – в землю носом,
Против течения научит грести,
Жилы растянет – до устья расти!
Ты потянись, чтобы хрустнули кости,
И оглянись: как цветут на погосте
Ягод степных золотые кусты,
Как еще наши дубравы густы!
Не забывай просторечия Волги
И простодушия иволги вольной,
Сладко она ввечеру ворожит,
Сердце ликует, замрет и дрожит!
Весла занозисты, новые весла,
Словом тревожным напутствовал крестный:
«Кланяйся дальней дороге всегда,
Но возвращайся скорее сюда.
Волга омоет глубокие корни,
Волга приветит, напоит, накормит.

¹ Лещетка – приспособление для метания рыболовной снасти.

Что ты найдешь без друзей, без родни
В этих столицах? – потери одни...»
Но над Россией всеильные звуки
Выше покоя и выше разлуки,
Жаркой стихией, как духи, кружат.
Весла сжимаю, а руки дрожат.
Я не любому внимал песнопенью,
Но за великой немеркнувшей тенью
Вечно готов на край света грести,
Здесь я бессилен, мой крестный, прости.

Юрий Зафесов

* * *

И пришел человек, и сказал: «Поделом!»
На родимый простор замахнулся кайлом.
Углубился в гранит, в заповедный покров,
одержимый борьбою полярных миров.
Он не смахивал пот с невысокого лба –
отвлекала его от раздумий борьба,
и, врубаясь в уран, в конденсатный угар,
он ударом всегда отвечал на удар.
Потешались над ним разорители душ...

Два работника вглубь уходили и в глушь.
Путь до встречи лежал сквозь земное ядро.
И земное ядро поглотило добро.

ПРИТЧА О КРУГЕ

Вьюга свечи задула,
прислонила огарки.
Но в селе Богодула
всполошились музгарки.
Но в селе Богодула
у протопленной печки
ясноглазая дура
примеряла колечки.
Примеряла сережки,
наводила румяна.
И стучали сапожки
по тропе деревянной.
А на печке о чем-то
разговаривал сонно
конопатый мальчонка –
полуночное солнце.
Над мальчонкой густела
прокопченная скука...
Дура вскинула тело
от внезапного стука.
Дождалась – постоялец!
И порхнула деваха
как слетевшая с пялец
пышногрудая птаха.

Дверь – без памяти – настезь.
Дом качнула остуда.
– Вот и свиделись, Настя!
– Иннокентий?! Откуда?... –
То явился законный,
давший имя ребенку,
распродавший иконы
и пропивший буренку.
Он упал у порога
и сказал, засыпая:
– Окружная дорога
есть дорога слепая. –
И бессвязно о чем-то
пробурчал и запнулся.
И проснулся мальчонка.
И приступок качнулся.

Утром смолкнула вьюга.
Меж снегами плутая,
шла тропинка из круга,
словно дымка – витая.

Александр Руденко

* * *

Когда октябрь листья навалит,
Казара с севера повалит
И на максахатинских плесах
Глухие залпы загремят –
Забудет Ласточкин гулянки,
Плотнее навернет портянки
И лихо за спину забросит
Пятизарядный «автомат»¹.

Какие дни, какие ночки!
Ждут егеря за каждой кочкой...
Но любо Ласточкину в прятки
Играть с индюшкой-судьбою.
Он сапогами

хляби мерит,
Лишь для блезире браконьерит...
И дробью салютует в воздух,
Идя, непойманный, домой.

Ах, Ласточкин, дитя природы,
Увы: летят как гуси

годы...

Но метким выстрелом не можешь
Ни одного остановить
Над плесами...
Вот потому-то –

¹ Система охотничьего ружья.

Руками с пятнами мазута –
Задумчиво
Ты ставишь чайник,
Чтоб дух бродяжий подкрепить...

Елена Шерстобитова

ЖЕНЩИНА С ФЛЕЙТОЙ

Когда, словно в поисках слова,
на горестях сосредоточен,
Пойдешь по камням горячим,
Что память твою умостили,
и будет казаться – закончен
Твой путь, – и движеньем незрячим
Войдешь ты в кофейню Монмартра,
поникнешь над стойкою бара...
Прости меня – женщину с флейтой,
ведь флейта моя из анчара.

Я дочка того крысолова,
и, словно дети, мужчины
Уходят за мной в неизвестность
И сами к себе безвозвратны...
Поэтому ищут причины
Меня ненавидеть и местность
Свою оградить от меня.
Не Байроны, но бароны.
Сентиментальные шлюхи
Сторонятся женщины с флейтой
с судьбою белой вороны.

А ты – не барон и не Байрон,
себя возомнивший поэтом,
Тянулся за женщиной странной.
Не понял, на все вопросы
легко получая ответы, –
Ответы тебе были равны.
И не было магии в музыке.
И не было ада и рая,
Ведь флейта моя из анчара –
играют на ней умирая.

Но ты так боялся смерти,
что вышло – боялся жизни.
Себя обретая – терялся.
И в поиске – где же удобней? –
споткнувшись на дешевизне,
Меня вспоминал – возвращался.
С надеждой внимал моей флейте,
но верил соседскому слуху,
И духом, ослепшим к себе же,
предчувствовал только разруху.

А я ничего не боялась.
Я просто играла на флейте,
И музыка сердца плыла.
Играла я и умирала.
Но песня из пропасти смерти
Волной поднимала наружу
и дальше и дальше вела.
Незнаньем святым – понимала,
что музыка дар мне и кара,
Что это тобою... тобою
мне флейта дана из анчара.

ОПТИМИСТИЧЕСКОЕ

(В пустыне)

От великой эпохи осталось величье пустыни.
Напевают бурханы мелодию глухонемых.
Раскаленное солнце белым шаром застыло,
Как российское эхо бесконечной зимы.

Бесконечной, как память непомнящих все,
Повторение крахов и возрожденческих снов.
Бесконечную линию на обрывке бумаги рисуя,
Человек разбирается – кто ж он таков?..

Гнется линия в круг – вот замкнулась пустыня.
Вязнет глаз в иссушенном и жарком песке.
В лабиринтах империи ночь, как слепая рабыня,
Осторожно плутает с полумесяцем острым
в руке.

А другая рабыня подносит нам воду,
Как остаток свободы. Но кувшин выпадает из рук.
Притупляя стило, сочиняя державную оду,
Мухаммед забывает водоносной рабыни
смертельный испуг.

Духота! Привыкается к полудыханию,
К полужизни и к полуусталой любви,
К полусну, к полуправде и к полусознанию.
А песок подбирается, черт поберет...

Что сюда занесло нас, с умом искушенным, –
Вдохновенье творцов или память веков?
Может быть, обещание денег издерганным женам?
Разберемся потом. А сначала
канал проведем средь песков.

Игорь Бойко

ХАЗАРСКИЙ КАГНАТ

Был потоп.
Но остаток и в красном бурлении спасся.
Хоть валы и отняли твердыню у избранных пят.
Над разливами царств –
сколько б агнец закланый ни пасса, –
но ковчегом двупалубным зорко следит каганат.
Вопль о хлебе?
И лекарь в подножном отсеке проснулся.

Солнце нижнее в оспе.
Кому-то – знамение бед.
Возжигающий небо дозволит изъянам просунуться.
Ибо тень от солнца – свет.
Их пророкам довольно от нашего стока напитокся.
Чьею мышцею двигать лежалые бревна мозгов?
Безнаказанно можно ли долго глядеть

в эти лица?

Безнаказанно слушать подолгу стенанья ослов?
Вот они обращаются к двери моей.
Она шевельнется?
Тень от солнца – свет,
если нет ярчайшего солнца!

Между пальцами узко текут караваны народов.
Пыль монет. Обрезание мзды. Лучшей воли калым.
И не зря нам Иегова руки помазывал медом.
Как пшеницу,
их боги мозоли посеяли им.
Чу! Бельмо кабалистики... Страха седого

сожженье?

Между солнцами корчатся меченых молний концы –
шестикрылая бабочка вспыхнет на их столкновенье.
Эхо черного вопля – багровый хохот.
Эй, молний ловцы!

Наконец-то оно! Мне знаменье:
вползает жилище в прообраз владыки.
Улыбнись, мой Итиль, улыбнись,
золотой паучок.

Двоебрюхий, две сети плети.
Под смоковницей дикой
да вращается вечно
с раздвоенным донышком желтый зрачок!

Только вспучится яблоко глаза,
в кошмаре заплавав.
И ягненком заблеет паук –
философ кровавой.
Усмехнутся стальными губами полки Святослава –
захлебнется ковчег вороненой, бегучей волной...

У кургана спрямляется горб. Сонный выпас овецек.
Встанет кобра, качаясь,
ведет раздвоенно зрачком.
Подавившись звездой Давидовой –
в зобовой течке, –
звездный зонт выверяя на звон
камертонно двойным язычком.

Наталья Ванжула

* * *

Квартиросъемщик по ночам
разучивает хоту.
Хоть нету слуха у него,
зато гитара есть.
Квартиросъемщику зимой
работать неохота.
Купил гитару. Говорит:
– Она не просит есть. –
Он знает тысячу наук
и тайные в придачу,
и «Дон Кихота» наизусть
он выучил давно.
Он объяснил хозяйке: – Я
сняму на зиму дачу.
Я знал всех женщин, все моря
и выпил все вино. –
Гитара ночью трень да брень:
он учится по нотам,
хоть нету слуха у него,
зато упорство есть.
Он знал всех женщин, все моря,
но не осилит хоту.
Она поверила ему.
Наверно, так и есть.
Он курит только «Беломор»,
и значит, что к работе
привык к какой-нибудь такой,
чтоб рук не отрывать
от ваеров, от рычагов,
а вот теперь – от хоты, –
зачем она ему сдалась? –
не хочет отрывать.
Квартиросъемщик по ночам
разучивает хоту.
Пока вся музыка его,
да и судьба – вразброд.
И ей не верилось, что он
весной заплатит что-то.
Разучит все.
Исполнит все.
И майским днем уйдет.

Елена Николаевская

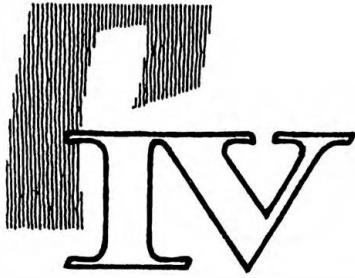
ОТМЕНЯЕТСЯ ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ

Отменяется летнее время,
Осеньется поле листвою,
Убирается летняя обувь.
Подпирается старый штакетник,
Чтоб не рухнул от первой метели
Он в начале ближайшей недели.

Отменяется летнее время,
Обвиняется сводка погоды
В том, что ветер деревья ломает,
Рвет проводку и крыши корежит...

А душа примириться не может,
И не хочет, и не понимает,
Что согласно закону природы
Очевидность встает перед всеми:
Отменяется летнее время.

Отменяется летнее время,
И назад переводятся стрелки –
Целый час, по решению начальства,
Целый час безвозмездно даруя!
Проведи его строя, пируя,
Размышляя... А хочешь – на части
Раздели: поброди да поплавай...
Этот час ты используй на славу,
Не учтенный дотошной судьбою, –
Целый час занимайся собою!



ЗЕМНЫЕ ГОЛОСА РОССИИ

*И, слава взлет
Космической ракеты,
Готовясь в ней лететь
за небеса,
Пусть не шумят,
А пусть поют поэты
Во все свои земные голоса!*

Николай Рубцов

И совести не замарают.
Не прав. Но честен он пока.
Он стар. Он честно вымирает.
Я уважаю старика.

СВЯТОГОР

В морозную полночь дозором
Он едет по русской земле
И слышит о мальчике хвором,
Живущем в далеком селе.

Лицо омрачается сразу,
Стегает он плетью коня
И со стороны нефтебазы
Въезжает, шелом наклоня.

Деревья в снегу утонули,
Сугробы взметнулись до крыш.
Все в доме давно уж уснули,
И только один ты не спишь.

И видишь из детской кровати,
Как, с улицы въехав во двор,
Из-под харалужной перчатки
В оконце глядит Святогор.

Под ясным и ласковым взором
Так станет легко и светло!
Дохнет – и морозным узором
Оконное вспыхнет стекло.

*Геннадий Карпунин
(Новосибирск)*

СТАРИК

Он с этим именем на фронте
И отступал и шел вперед.
Кричит он: «Вы его не троньте!» –
Когда немного подопьет.

Кричит: «Была война, разруха!
Когда б не властная рука...»
Так разойдется, что старуха
Едва отходит старика.

Он хмурым выглядит назавтра,
Он как-то сразу весь поник,
Огромнейший, на динозавра
Похожий несколько старик.

Ему, должно быть, очень плохо.
Беда со стариком, беда.
Его пора, его эпоха
Не повторится никогда.

Ему, как всем, признать бы надо,
Мол, заблуждался много дней.
Но клятву он давал когда-то
И остается верен ей.

*Ольга Фокина
(Вологда)*

* * *

Я не схожу с ума,
Живя минутою:
Была, была зима
Со стужей лютою.
Была, была тоска,
Как ночь январская,—
В такой просвет искать —
Причуда царская!
Сникал и стар и мал,
Не зная где чего,
Но ветер знал: толкал!
Но снег — отсвечивал!
Я снегу верила,
Я ветра слушала:
Не все потеряно!
Не все нарушено!
Ужо другим бочком
Земля повернется,
И встанет день торчком —
Куда он денется?
И станет дуб седой —
Зеленым деревом,
И станет снег — водой,
Сумёты — берегом!
... И вот — гремят грома:
Весна — не путаю!
Я не схожу с ума,
Живя минутою.
Земля оттаяла,
Зерно уронено,
И птицы стаями
Летят на родину!

*Михаил Дудин
(Ленинград)*

* * *

Пришла, страшной любой беды,
На Ладого беда.
Мне чистой ладожской воды
Не выпить никогда.

У времени на поводу,
Среди никчемных дел,
Я эту страшную беду
Позорно проглядел.

Я дал дорогу той беде,
Не удержал беды.
И мир, живущий на воде,
Остался без воды.

Стою как столб перед бедой
У горьких дум в кругу.
Над этой мертвою водой
На мертвом берегу.

Еще висит на волоске
Живая жизни быль.
И совесть стынет на песке,
Как высохшая пыль.

* * *

Сибирь давно пропахла креозотом,
Тяжелой вонью тюрем и казарм.
Куда сегодня новым поворотом
Нас приведет растроченный азарт?

Где мы великой наберемся веры,
Неверию и страху вопреки?
Нам не помогут милиционеры
И верные латышские стрелки.

Сибирь молчит. В сугробах дышит глухо
Разграбленная начисто Сибирь.
Ей заменяет водку — бормотуха,
А бормотуху — каторжный чифирь.

Как мы начнем святого дела повесть,
Когда весь мир по горло ложью сыт.
Какая миру требуется совесть,
Когда растет на совесть дефицит.

Нас качка и раскачка укачала.
И буря в море унесла причал.
Душа моя, ищи в себе начала
Своей судьбы и всех иных начал.

*Владимир Гордейчев
(Воронеж)*

СТИХИ ОБ ОДНОЙ БЕДЕ

Этот след военный в нашем брате
жжется, раскаленный добела...
Пьяными эсэсовцами в хате
школьница поругана была.
Тяжкую осиливая темень,
павшую на долюшку ее,
выжила. Молчанием застенным
стиснула отчаянье свое.
Плохо ей забывчивость давалась.
Видно было даже наугад,
сколь она душою напрягалась,
белым днем ступая вдоль оград.
Так ли в ней беда ее кричала,
что, когда встречались взгляды вдруг,

на кивок молчунья отвечала,
еле побеждая свой испуг.
Сколько лет прошло, а с горем слада
не было. Теснили невпродых
то одних сочувственные взгляды,
то ухмылки наглые других.
Вся в слезах к подушке приникая,
ночью, видно, думала она,
что ее судьбишка такая
никому на свете не больна...
Кто бы самой скорбной из сестричек
дал понять, что кровного родней
никли к ней Лаура с Беатриче,
головы склоняя перед ней?
Фреской из старинного раскопа,
сострадав девочке сполна,
почернев, смотрела Пенелопа,
Одиссея вечная жена...
Нет чудес. Но если символ некий
мерой смысла выискан и взвит,
казнь души в безвинном человеке
бога ль самого не упразднит?
Пусть же впредь сквозь нежилы мироздания,
сквозь молчанье звездное высот
та землячка наше состраданье
всех превыше символов несет.

*Евгений Чеканов
(Ярославль)*

СЛЕЗЫ

Горят селенья дальних стран,
Рвут небо бомбовозы...
Глядит старуха на экран
И утирает слезы.

Опять заморская беда
Ей сердце защемила.
Про то, что под полом – вода,
Старуха позабыла.

Она забыла, что старшой
Письма не шлет полгода
И что в деревне их большой
Давно уж нет народа.

И что храпит ее старик,
Опившись бормотухой...
Все позабыто в этот миг
Российскою старухой.

К нужде своей, к судьбе своей
Привыкла, притерпелась...
Встает, идет кормить гусей.
Досыта нарevelась!

ВОЗМЕЗДИЕ

Тяжкое время трезветь и рыдать
Грянуло – ты отшатнулась недаром!
Прямо в лицо тебе, бедная мать,
Новорожденный дохнул перегаром.

Видно, дошли мы до крайней черты,
Если рождаются дети-уроды.
Поздно, родимая, каешься ты.
Это – возмездье за пьяные годы.

Это наследье греха твоего,
Это земное твое наказание.
Что ж ты бранишь и колотишь его?
Это твое, а не чье-то созданье.

Он средь заздравного гула рожден,
В чреве изъеден незримою ржою.
Диво ли, что опьяняется он
Музыкой чуждою, речью чужою?

Вырастет враг в родимом краю,
Веры не ведая, правды не зная.
Даже любовь он отринет твою...
Как ты его воспитаешь, родная?

Как ты привьешь этой бедной душе
Нежность и жалость? Каким назиданьем,
Если порочно зачатые уже?
Эту вину не избыть покаяньем.

*Виктор Коротаев
(Вологда)*

ОТСТОЯЛИ

Сияет над Вологдой крест золотой,
И светятся стены Софийского храма,
И мало святыню
Назвать красотой,
Хоть в этом и нету
Обиды и срама.
Но я по-особому
Счастлив и горд,
Ступая под своды
Намеренно рано,
Где слышится грохот
Петровых ботфорт
И дыбится глас
Самого Иоанна.
А было кому-то угодно вчера,
Чтоб все это сгнуло,
Кануло,
Стерлось,

И сердце бы знало
И пело с утра
Лишь новое счастье
И новую гордость.
Но сердце мужей – инструмент не простой,
И воля –
Отнюдь не безвольная дама.
...Сияет над Вологдой
Крест золотой,
И светятся стены
Софийского храма!

ОНИ

Да пусть они горят себе огнем!
Нам не до них,
Мы при своей заботе.
Не спим ночей
И вкалываем днем.
Спина в поту,
Зато душа – в полете.

Ведь надо же когда-то наконец
Излить
Свою придушенную душу.
Вот я и муж.
И раз, и два – отец,
А все еще
Каких-то клерков
Трушу.

Наследство
Приснопамятных времен...
Их не клянет
Лишь сдержанный да мертвый.
Прошел второй
И третий эшелон,
И, кажется, готовится
Четвертый...

Они нам жить спокойно
Не дадут:
Не та натура
И не те задачи.
Но наш девиз: терпение и труд!
Не так бы надо,
Да нельзя иначе.

А значит,
Снова пояс затяни
И зубы стисни, улыбаясь маю.
Когда-нибудь придут
И наши дни.
Дожить бы...
Но удастся ли –
Не знаю.

Герман Цветков
(Ленинград)

ОЯТЬ

Кружатся севера тучи.
Выше их – воронье.
Лягут снега тягучи
На лесное рванье.
По холмам и долинам
Ветру травы не мять.
Снова медленным льдинам
Наплывать на Оять.
Чтоб до времени мне бы
Не видать –
из реки
Тычут пальцами в небо
Топляки-мертвяки.

ДЕКАБРЬ. ЯНВАРЬ. ФЕВРАЛЬ.

К десяти часам светает,
Льется робко свет в окно,
Снег летит подобно стае,
Только тает все равно.
Ах, декабрь никак не может
Сделать белым белый свет.
То ли очень осторожен,
То ли силы вовсе нет.
Вот январь. И день длиннее,
И морозит до костей.
С ним живет веселее.
Он, январь, куда сильней.
В феврале метели круче.
Все кругом белым-бело.
Солнце выйдет из-за тучи –
На душе уже светло.
Дунул ветер: застоялись
Снег и небо, близь и даль!
И во мне перемешались
С декабрем январь, февраль...

Иван Александров
(Новгород)

* * *

Д. Балашову

В минуты сомнений, когда впереди
Лишь враг, вероломный и хитрый,
Я вижу – с татарской тамгой на груди
Упал перед Сергием Дмитрием:

Будто б занят важными делами...
Эх, солдат, расслабься хоть сейчас;
Только час еще осталось маме
Сыном любоваться, только час.

Геннадий Сухорученко
(Ростов-на-Дону)

БАЛЛАДА О БЕЛУГЕ

1

Низовка свистит, да мотор тарахтит,
колхозная байда по волнам летит,
вдоль борта ее наготове сидит,
нахмуривши
брови,
бригада.

– Бросайте! – товарищам крикнул старшой,
огонь самокруток погас за кормой,
и невод пошел по кольцу над водой,
змеясь
и легко,
и покато...

2

Три раза бросали – три раза чехонь
да мелкий синец, как нарочно, с ладонь...
И вдруг по сердцам всей бригады – огонь:
– Ребята!
Да это ж –
белуга!

Лежала в сетях как большое бревно,
едва шевелилась от тяжести, но
икрою набитое брюхо давно
лоснилось,
пузырилось
туго...

3

– Не брать! – заявил, как отрезал, старшой.
– Да что ты! – взмолился рыбак молодой,
и все зашумели. Уже над водой
вся туша
как есть
появилась.

– Не брать! – У старшого зверели глаза,
да только добытчикам не доказать,
но смог он канат от кормы отвязать –
за байдою
сеть
распрямилась...

4

Белуга взвилась над волною крутой.
– Родимая, что ж ты! – вскричали. – Постой! –
... Но море ответило им глубиной,
навек
поглотивши
белугу.

– Уплыл ваш, ребята, желанный балык, –
Старшой у кормы головою поник.
Сказали ему: – А ты славный старик!
Спасибо
тебе
за науку!

Михаил Воронецкий
(Калуга)

БРОДЯЧИЙ ПОЭТ

Койбальские степи!
Примите меня...
Как дерзко,
как нежно,
как сладко,
как славно любить молодого коня
с тревожно-звериной повадкой.

Как радостно чувствовать жажду сердец,
в белесые травы бросаться орлицей
и видеть, как с храпом следит жеребец
за ветреною кобылицей.

На юге в горах за тайгой – Абаза,
а мы вдоль Аскиза плетемся с востока;
и я, в забытии закрывая глаза,
пою, как столетний койбал, одиноко.

Я призван на праздник –
и песня о том;
люблю я увалы –
и песня об этом...

А степь одарила
конем и кнутом –
и что еще нужно
бродячим поэтам?!

Я каждому встречному зверю открыт;
я каждому встречному всаднику виден;
у врытых в курганы таинственных плит
я счет не веду ни дарам, ни обидам.

Как старость – осенняя степь хороша.
И всадники знают, и чувствуют кони:
навек окрыленная ветром душа
степного поэта –
у всех на ладони.

Борис Сиротин
(Куйбышев)

* * *

Перед покойной матерью вина –
Туман, что поднимается со дна
Души и даже солнцу вопреки
Печалью застит зеркало реки.

С какой надеждой утро ни встречай,
Вдруг навернутся слезы невзначай,
С какой бывалой силой ни живи,
А эту каплю не избыть в крови.

И чудится: из пропастей земли
Клубится мгла, и в море корабли
Не в силах сладить с притяженьем дна,
И это все – пред матерью вина.

Но я отвлекся на иной масштаб,
А надо лишь сказать, что сердцем слаб,
Что омрачает день, лишает сна
Перед покойной матерью вина...

* * *

Гарантий никто не дает,
Никто не дает их, мой милый,
А шарик поет и поет,
Крутимый межзвездною силой.

Гарантий никто не дает –
Сурово сверканье стали.
Но мы от вседневных забот
Пока что не очень устали.

Хоть кто нынче тон задает,
Служители света иль мрака, –
Гарантий никто не дает,
Никто не дает их, однако.

И все же в дыму скоростей
Живем в ожидании чуда
И ждем золотых новостей.
Откуда? А так, ниоткуда.

Михаил Вишняков
(Чита)

ТВАРДОВСКИЙ В ЗАБАЙКАЛЬЕ

Их знакомили,
двух знаменитых людей,
они видели жизнь,
воевали,
по свету поездили.
– Государственный тренер скаковых лошадей!
– Государственный тренер... российской поэзии! .. –
Засмеялись от шутки,
ударив ладонь о ладонь.

Обернулись, забыв про любезности:
перед ними летел звонко-огненный конь,
образец скаковой

упойтельной резвости.
Дерн кипел под копытами черными взрывами.
Степь – огромный табун тишины –
затопило копытами,

холками,
челками,
гривами,
как год сорок первый – кипящее лето войны... –

– Скакуны золотые!
– О, да! Миллионные лошади.
За таких отдают кобылиц косяки. –
Усмехнулся Твардовский:

– Что ж, стоят недешево,
только мне, извините, дороже обозные ломовики.
Те лошадки смоленские,
ржевские,
брянские,

Сивки-бурки, карюхи крестьянские, –
у любого солдата спроси –
полвойны,
полбеды
протянули по русской грязи... –

И – замолк,
светлый плащ виновато-смущенно застегивая,
и кивал головою жокеям: – Ну-ну... –
И глаза его, дымкой каленные,
строгие-строгие,
не теплели – оглядывались на войну.

Глеб Горбовский
(Ленинград)

ПРЕОБРАЖЕНИЕ

Восславим свежий хлеб, газетный лист,
конкретной электрички бег и свист,
глаза сиюминутных Афродит...
А прошлое – лишь душу берedit.

Очнемся не от запаха мимоз –
от ностальгий, сосущих кровь и мозг,
от поминальных вздохов по Руси, –
она жива! И – нё на небеси.

Жива в глазах приютского дитя,
в тоске пропойцы, снятого с гвоздя,
в забытой бабке – в мертвом хуторке,
но не в... спортсмене с гирею в руке.

Она жива... Но скорбен древний лик.
Дадим ей хлеб (а смысл ее велик!).
Вернем улыбку в блеклые уста.
Побег из сна – как снятие с креста.

Пришла пора – проглянул в снах предел.
Преображенье – вот ее удел.
Пришла пора – веление судьбы –
опять вздымать Россию на дыбы!

* * *

*Михаилу Кулакову,
художнику-модернисту*

Художник решил отразить этот мир.
Он страсти такие пролил на холсты,
как будто в мозгу его вызрел вампир
и все исказил до последней черты!

Зачем он старался унижить простор?
И – цвет обессмыслить? Откуда сей пыл?
... Не знал он, что дьявол, прищурив свой взор,
рукою его неразумной водил.

Как можно, предвидя свой смертный венец –
не просто одну из вселенских разлук, –
писать без улыбки... безгрешный рассвет
и ветра в ветвях фиолетовый звук?

Я знаю: хотел он, коверкая жест,
внимание привлечь, как поймать на живца.
Но разве гордыня – единственный крест,
что должно нести нам тропею творца?

Как ясно на сердце. Плывут облака.
Питается прошлое правдой живых.
И ветры, и воды, и взгляд сквозь века
бездонно-прозрачны, как пушкинский стих!

Цветы полевые растопчут стада.
Затмит пролетающий спутник звезду.
Я верю, что правду спасет красота,
но кто – от неправды – спасет красоту?

*Александр Росков, печник
(Архангельская область,
Каргопольский район)*

* * *

Людам в городе трудно, как птицам...
Чтоб народ от невзгод уберечь,
Посредине великой столицы
Я поставил бы русскую печь.

Но сначала, поскольку не нужен,
Осушил бы искусственный пруд,
Осмотрел бы, обстучал снаружи
Весь фундамент, что прячется тут.

Объявил бы народу: – Несите
Вашу лепту – раствор, кирпичи. –
И на месте, где взорван Спаситель,
Основал бы начало печи.

И поставил бы печку такую –
С православным крестом на челе,
Нет, за всех говорить не рискую,
Но чтоб русские жили в тепле.

Чтоб в холодные, снежные зимы
Каждый зябший из вас, москвичи,
И не только морозом гонимый,
Смог погреться у этой печи.

Чтобы в центре советской столицы
Раздавалась знакомая речь,
И светились улыбки на лицах,
И топилась бы русская печь.

*Анатолий Авдеев
(Белгород)*

ТРЕВОЖНЫЙ ПЛАМЕНЬ

1

Ушла гроза. Уж тучи далеко.
И светел полдень мой,
Но вспомню – съезжусь.
Горит, горит, сознание тревожа,
Огонь любви,
Огонь моих оков.

2

Еще стонал в горниле «магадан»,
И страха пот стекал с лица России,
И, вея смрад, в агонии бесилась
В малиновом околыше беда.

Года, года.
Быть ко всему слепым
И жить овцой в придуманном тумане...
Я в детском доме на песке лепил
Тюрьму,
В которой видел свою маму.

3

Всю жизнь ободранное детство
В кроващих цыпках на руках
Как беспокойное наследство
В моих пульсирует висках.

И знала бы, меня рожая,
Об этом мама в те года,
Я не родился бы, пожалуй,
И ни тогда, и никогда.

Но я родился и, поскольку
Пока дышу, пока иду, –
Каленым праведным осколком
Впиваюсь в русскую беду.

4

Руки тянутся, тянутся к маме сквозь прутья,
Руки мамы сквозь прутья ласкают меня,
И бегут со слезами немые минуты,
Лишь ключи надзирателя в связке звенят...
– Командир... командир... – просит моляще
мама, –

Разрешите мне сына на руках подержать.
Отвори эту клетку хотя бы на малость,
Посмотри, разрывается с горя душа... –
Мама рвет на груди от бессилия блузку
И в лицо надзирателя с плачем кричит:
– Командир... Неужели ты тоже не русский...
Неужели здесь все как один палачи?... –
И шумят за железом дверей арестанты,
И гремит сапогами спешащий наряд...
И сердито приказы расправы гремят:
– В карцер... Взять... Наказать... Разойдись...
Перестаньте.

5

Умер Сталин!
И взметнулось горе...
И заплакал больно детский дом.
Плакала деревня.
Плакал город.
Плакал узник в камере тайком...

Но стояла подле гроба чаша
С неиспитой пришлою бедой...
И истояла скорбно ВЕРА наша
С поседевшей рано головой.

Нина Краснова
(Рязань)

КОСТЕР

Мы с тобой разожгли костер
И ему, как язычники, рады.
Он в момент уничтожил, стер
Все условности, все преграды.

Я к тебе приближаю лицо,
Слово молвлю незаучённое,
И на палец тебе надеваю кольцо –
Золотое, не золоченное.

Пусть про нас моралист говорит,
Грязью нас поливает и хаёт.
Посмотри, как костер горит!
Посмотри, как он польхает!

Мы в обнимку сидим, не поврозь.
Нет проблемы у нас треугольника.
Подложи-ка в костер, подбрось
Кучку хвороста да игольника.

БУНТ СОВРЕМЕННОЙ ЖЕНЩИНЫ

Не буду с пьянчугой да в брак вступать,
А также в другие связи.
Не буду, не буду с пьянчугой спать,
А то не отмоюсь от грязи.

Не буду, не буду с пьянчугой жить,
Делиться последней крошкой,
Юбку последнюю сторожить...
Не буду с пьянчугой под крышей жить –
Лучше с собакой и кошкой.

Не буду пьянчугу в руках держать,
Песен не петь по году.
Не буду детей от пьянчуги рожать,
Портить свою породу.

Юрий Кабанков
(Тульская область)

В ЭТОТ ДЕНЬ

Глядя на светила исподлобья,
над родимой пажитью кружа,
разминулась с пролитой кровью
в небо вознесенная душа.

Смерть смотрела с борта самолета,
как вставал охрипший, чуть живой
день передового обмолота
с пыльной непокрытой головой.

Радуйтесь! Но помните отныне,
вслушиваясь в благодную весть,
как Мария плакала о сыне,
веруя, что он на свете – есть.

Кровь прошла гудящими корнями,
окропив расплавленный песок
там, где сын слепящими огнями
небо прочертил наискосок.

В этот день, прогуливаясь шатко
и перетолковывая весть,
праздновали солнечную жатву:
хлеб, мол, наш насущный даждь нам днесь!

Не душа тоскует мировая!
Затерявшись в поле где-нибудь,
одуванчик, щеки раздувая,
тронулся в необратимый путь.

Владимир Башунов
(*Барнаул*)

ПО ЗАКОНУ БЕДЫ

Издревле Русь спасалась
Народными порывами.

Н. А. Некрасов

Сад болеет – козявка, ничто
губит ягоду,
яблони точит.
Лист, испятнанный множеством точек,
почернел и свернулся.

Зато
разжирела дурная трава,
расползлась ненасытно по саду,
оплела и шатает ограду.
Как державу шатает молва.

Как державу – козявка, ничто,
расползаясь, губительно точит,
все родное для сердца порочит,
все святое низводит.

Зато
по закону всеобщей беды
соберется народ в ополченье.
Он вернет первосмыслу значенье.
Он очистит родные сады.

ПОЖЕЛАНИЕ

Отцвели уж давно хризантемы в саду.

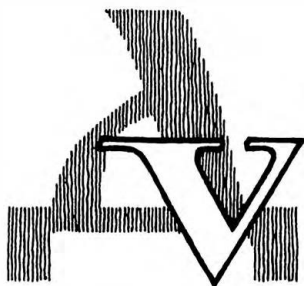
В. Шумский

А ведь правда – хризантемы отцвели,
отцвели, отмиловались все, увы.
И шутливые разбойнички шмели
разлетелись – до другой теперь травы.

До цветов других,
до юности другой,
до поры, как время весело помчит,
как поедет Гром Иваныч под дугой,
засверкает, заплескает, забренчит.

Дай вам бог, как говорится, – вам и нам,
вам и нам, – как говорится, всем и вся
снова встретить этот блеск, и плеск, и гам,
эти запахи, цвета и голоса.

Под прицелом огнедышащих ракет,
в окруженье разрушительных тревог
дай вам бог, а если врут – и бога нет,
все равно, как говорится, дай вам бог!



С БЛАГОДАРНОСТИЮ...

*О милых спутниках, которые наш свет
своим сопутствием для нас живородили,
Не говори с тоской: их нет,
Но с благодарностью: бы ли.*

Василий Жуковский

Роберт Винонен

ОТТУДА

Друзья переводят дыханье,
Кто землю с волос отряхает,
Кто дым отгоняет от глаз –
Все тут, окликаю когда их,
И нет расстояний для нас.

Не нужно колес нам и крыльев –
На свет недосказанных слов
Встает из Байкала Вампилов,
От Вологды скачет Рубцов.

И пристальный Валиков Герман
На Радонеж кажет теперь нам
Одну из заветных дорог.
И если взыскуете града,
Не минете станции «Правда»,
Где был он прописан по гроб.

Глазами сверкнет Передреев,
Как Грозный на Смутное время.
И кто бы еще ни войди,
Распашисты верные двери
И времени тьма впереди.

Мы в самые мирные годы
Имели опасные льготы –
И, где не хватило отцов,

Лечь грудью на все амбразуры,
И дать кому следует в зубы, –
Мы там не искали цензуры
Для крепких поступков и слов.

По-старому встречу отметим,
Стеснимся за грешным вином
На этом скудеющем свете,
Хотя не простор и на том.

И вздрогну я поздней оглядкой –
Последний буфетный закут
Лоснят по столешницам тряпкой,
Снаружи поземкой метут.
Чего я замешкался тут?

Дмитрий Блынский
1932–1966

Он пришел в поэзию с орловских полей, молодой и красивый, немало поработавший в колхозе, приобщившийся к живописи в Федоскинской художественной школе, послуживший на флоте. Он пришел, принес с собой запахи родной земли, чувства и думы своих земляков, сразу же завоевав симпатии и любовь товарищей по перу.

Его стихи широко публиковались в центральной периодической печати, выходили отдельными книжками.

Многие ждали от него читатели, и многое мог бы он дать, но преждевременная смерть оборвала его стих на полуслове...

Стихи Д. Блынского лиричны, лишены каких бы то ни было внешних эффектов, искренни и пронизаны светлой любовью к родной земле и людям, созидающим лучшую жизнь на ней.

С. Поликарпов



Дмитрий Блынский и художник Н. Н. Жуков

ПЕСНЯ О ВСТРЕЧНОМ

Б. Корнилову

Был ясным день, а за глухой решеткою,
Где прятался во тьме сырой подвал,
Поэту жизнь, скупую и короткую,
Палач, допрос не кончив,
Оборвал.

Зачем кончать, зачем? О чем допрашивать,
Коль маршалам и тем пощады нет?
А тут поэт,
Поэт не мира нашего,
Как говорил донос, не наш поэт.

А на привалах и в часы походные
Летели, голос обрета едва,
Слова, что всюду значились
«Народные»,
Не знающие автора слова.

Их пел народ:
«Встает страна со славою
Навстречу дня...»
Их пел и пел народ
Всем городом, всем краем, всей державою
У разных параллелей и широт.

А тот палач, не мучимый вопросами,
Терпел, и было невтерпеж ему,
Что песню не загнать в тюрьму
Доносами
И всех поющих не загнать в тюрьму.

И он
(А как там сложатся события?..),
Оставив с новым узником подвал,
Домой шагая мимо общежития,
Рабочим эту песню подпевал.

Владимир Шленский 1945–1986

С Владимиром Шленским я был знаком лет десять, а может, и больше.

Он родился в Москве. После школы работал слесарем на электромашиностроительном заводе, мастером по осветительной технике в кино, санитаром в больнице. Автор нескольких поэтических сборников. Мы не раз бывали с ним в разных уголках страны. Последняя командировка была в Афганистан.

Мы были там вчетвером в июне 1986-го. Писательская бригада разделилась пополам, и со Шленским нам довелось полететь в одну из самых, как говорят, а потом стали писать, горячих точек. Каждые полторы секунды наш вертолет отфыркивался ракетами на случай пуска в нас ракет боевых, и мы в парашютах и с «калашиновыми» на ремнях восседали на тонких дюралевых сиденьях...

Потом, на земле, Володя читал стихи воинам-десантникам. Ребята знали его песню, где есть такие слова:

*Деревянные домики,
Накомодные слоньки...*



Владимир Шленский

Всю ночь шла стрельба с обеих сторон. Мы лежали в казарме и под пулевой аккомпанемент слушали рассказы бывалых офицеров. Еще не раз мы выступали вместе и в Кабуле, и в других местах, а когда вернулись на Родину, то из Домодедова ехали на одном такси и простились у моего дома. Расцеловались, он уехал к себе, и больше мы не скажем друг другу ни слова. Через несколько дней трое стояли у гроба четвертого.

Феликс Чуев

ОСЕННИЙ СОНЕТ

Умри, чтоб жить...

В. Шекспир

Я шел, беспечно думая о том,
что жизнь моя прекрасна до мгновенья.
Но в сквере я склонился над костром.
«Умри, чтоб жить...» – шептал огонь поленьям.

Был неопрятен, точно трубочист,
лохмотьями небес укрытый вечер.
«Умри, чтоб жить...» – шептал опавший лист.
«Умри, чтоб жить...» – играл на прутьях ветер.

«Умри, чтоб жить...» – шептали дерева,
им вторили дожди, что стали лужей.
«Умри, чтоб жить...» – промолвила трава,
прибитая к земле внезапной стужей.

Умри, чтоб жить... Живи, чтоб умереть...
Такая вот в природе круговерть.

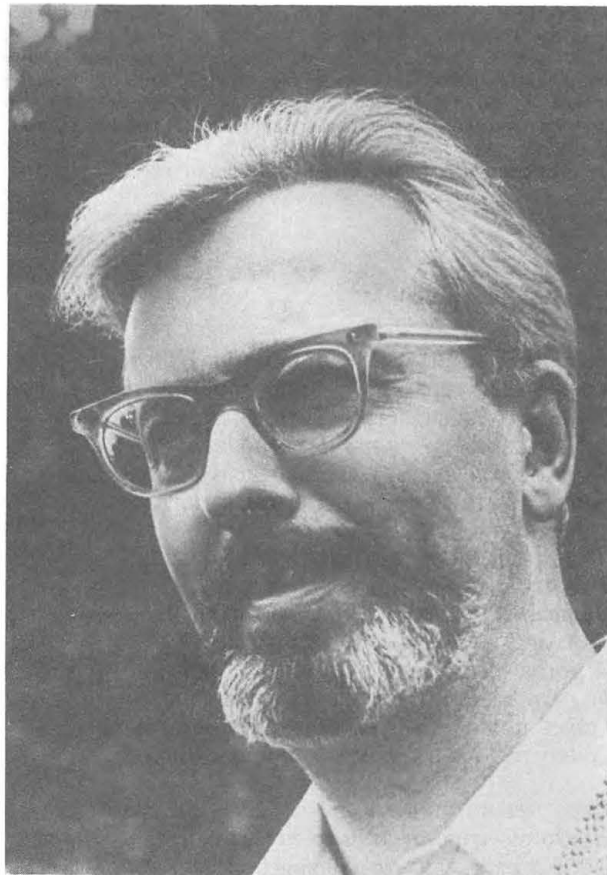
Дмитрий Голубков
1930–1972

ОВОМУ ТАЛАНТ, ОВОМУ ЖЕ ДВА...

Смутное порубежье конца шестидесятых – начала семидесятых годов унесло много драгоценных жизней и поломало судеб. Некогда составленный Герценом мартиролог, обяльно пополненный в сталинскую эпоху, интенсивно продолжался как раз в эти годы... Дмитрий Голубков застрелился осенью 72-го. Человек, что называется, действительный, всегда служивший, издававшийся бесперебойно, не тавивший крамолы, не имел, как оказалось, иммунитета к общепринятой фальши.

Голубков умел чеканить прозаическую речь ударами кулака об стол в кабинетах, где привыкли к тишине. Не сразу научился он этому, разучиваясь служить...

Маршак как-то сказал, что ему всегда 4 года. Цезарю было 40, если верить К. Непоту. Сколько вам?.. А Мите всегда было 14 – пора великих отроческих клятв. Не каждый дает их себе – не все их забывают. Скорее ломкость, чем гибкость, отличает подобные натуры. Скорее гибкость, чем ломкость, почитается добродетелью: плюнь да поцелуй у злодея ружку!



Дмитрий Голубков

«Я многогостаночник», – он говорил не раз. Жадность к работе шла от жадности жизни. ВЛЮБЛЕННОСТЬ – СВИДАНИЕ – ЗОВ – ТВЕРДЬ – СВЕТАЕТ – ОКРЕСТНОСТЬ – СУДЬБА – вот имена поэтических сборников, а вот даты: 1960–62–64–66–68–71–86. ВОСТОРГИ – ОТПОВСКИЙ ТАБАК – МИЛЁЛЯ – ЧЕЛОВЕК КАК ЗВЕЗДА РОЖДАЕТСЯ – КОГДА ВЕРНУСЬ – НЕДУГ БЫТИЯ. 66–69–70–71–73 – это проза. Последний роман, о Боратынском, издан трижды. У Голубкова Боратынский умирает «от воображения», что и записал врач-итальянец. Замечательная смерть – «от Божья страха» за судьбу любимого человека...

Есть апокриф: в Гефсиманском саду спали не все ученики – не спал Иоанн, мучимый чужой совестью накануне Петрова отречения. Чужая совесть, я думаю, и замучила Дмитрия Голубкова, до поры спасавшегося работой.

Несколько лет он был редактором в «Советском писателе», многим авторам помог, много доброго сделал, и хорошо бы родному издательству вспомнить об этом. После смерти Голубкова вышла одна книжка его стихов – и та в «Современнике».

Есть замечательный рассказ Ю. Казакова «Во сне ты горько плакал» – о кончине друга. Есть стихи у Евтушенко, посвященные Д. Г., – о ранимой душе. У Жигулина, у Храмова, у Латынина...

Он любил русскую старину, любил Север, тянулся ко временам новгородской вольницы, сочинял старинны, блуждал среди славянского корнесловья, зачитывался Шергиным, писал о расколе, об олонецком губернаторстве Державина, изучал судьбу Полежаева и декабристов, написал поэму о Лермонтове; от Боратынского его интерес перешел к

Киреевским и Хомякову, Петр I был его «недругом», неприязнь он питал к Некрасову (пока я ее не разрушил), буквально поклонялся Бунину, очарован был всю жизнь Шаляпиным, говорил: «Мне бы только петь – и больше ничего не надо»; рисовал портреты и пейзажи, писал о художниках, собирал старые пластинки... Овому талант, овому же два...

Ни один не пропал: стихи впитывают всё.

Владимир Леонович

ПРИЗВАНИЕ

Не к чему лепиться, нет любви другой,
Кроме этой страсти, странно дорогой.
Лишь шероховатость белого листа,
Голая, как небо, ширь и темнота.
Только этой хворью склеван до кости.
Только с этой ношей до конца брести.

Да, не в радость этот тягостный недуг.
Все, что сочинится, отошлет вдруг,
Написал – и к черту: позабыть скорей.
Наизусть не помню ни строки своей.
И когда читает кто-нибудь при мне
То, что я исторгнул в гулкой тишине, –
Тшуть прикрыть руками стыд и боль свою,
Точно голый, в язвах, на людях стою...

Дара нет ни строить, ни плясать, ни красть.
Пусто за душою – только эта страсть.
Да и страсть ли это? Вялая болесть:
Через пень колоду все куда-то лезть,
Никнуть от безверья, падать и плестись
И в чужие двери в сумерках скрестись...

Вдруг – всем телом вздрогнул, ощутив толчок –
Словно ток высокий стукнул, поволок,
Распрямил, и поднял, и в глаза блеснул,
Синевой небесной сердце полоснул...

Алексей Прасолов
1930–1972

МЕЖДУ СЛОВОМ И МОЛЧАНИЕМ

Трудно привыкнуть – 15 лет со дня смерти Алексея Прасолова.

В журнальной жизни прошлого года это событие никак не отозвалось. И неудивительно, ведь единицы времени, в которых мы «измеряли» ценность подлинных произведений искусства, исчислялись четвертью века, половиной века, веком... И в этом смысле Прасолов до неприличия «молод». Хотя за 15 лет «посмертной жизни» его поэзия проделала такую глубокую нравственную работу «у человеческого сердца» (А. Платонов) и на таких пространствах – географических и духовных, которые трудно было представить ему,

человеку из провинции – из села Ивановка Воронежской области.

...Передо мной – плотный, оранжевого цвета пакет; в левом углу – крупными печатными буквами: Universität Salzburg, Institut für Slavistik. В пакете – оттиски статьи с примечательным названием «Алексей Прасолов – Философская поэзия из провинции» и письмо от ее автора – австрийского ученого-слависта Алоиза Волдана, в котором он, в частности, пишет: «Девять лет назад приехал в Воронеж на год как стажер... Там случайно нашел в киоске сборник «Стихотворения» Прасолова (Москва, 1978) и начал интересоваться этим поэтом. Начал я с разбора философских стихотворений, хотел продолжить работу над любовной лирикой... И очень рад я теперь, услышав, что и в России кто-нибудь мою работу читал».

Я читала работу Алоиза Волдана – серьезное научное исследование прасоловского поэтического мира, где, пожалуй, впервые испытан метод подхода к нему как в законченной и классической системе ценностей, ставящей его «в один ряд с великими предшественниками в области философской поэзии» (Тютчев, Баратынский), с другой стороны – в ряд новейших философов XX века экзистенциального толка (М. Хайдеггер, Ж. П. Сартр, К. Ясперс).

Спорно? Да. Но масштаб оценки каков? Какова цель: «...нам кажется оправданным представить хотя бы часть его лирики, дабы имя этого поэта стало известно и у нас».

В пространстве прасоловских стихотворений, если глубоко в них всмотреться, читатель найдет немало человеческих жестов – ожидания, страдания, страсти, терпения, забвения... И этот... нежнейший... в прикосновении к апрельскому цветку: «Я подошел и тихо встал над тем, что нежно



Алексей Прасолов

голубело. Я, не касаясь, познавал его нетронутое тело». И этот... чистейший... в расчетах с собственной жизнью: «А дождик с четырёх сторон уже облег и лес и поле, так мягко, словно хочет он, чтоб неизбежное – без боли...»

Но и в жизни Прасолова было много таких человеческих жестов, отвечавших высокому строю его поэзии.

Напомнить об этом необходимо, ибо так называемые «друзья поэта» поспешили со страниц «Литературного обозрения» (№ 2, 1984) обесценить сам смысл памяти бытовыми разговорами об известной его «болезни», кощунственными словопрениями о том, надо или не надо брать это слово в кавычки, так как официально алкоголяком он, кажется, не был».

Нет, не им открывалась душа поэта!

Я вспоминаю... Лето 1964 года. По личному ходатайству А. Твардовского Алексей Тимофеевич досрочно освобожден из тюрьмы. Я еду его встречать, и вот мы стоим на перроне станции Семилуки в ожидании – таком долгожданном и свершившемся – поезда на Воронеж. Воля, свобода непривычно кружат голову – он взбудоражен, растерян, счастлив... Я тоже. Взгляд останавливается на чахлах пристанционных берегах, он перехватывает мой взгляд, неожиданно срывается с места, перебегая от дерева к дереву, прикрывает рукою нацарапанное или вырезанное ножом трёхбуквенное российское слово – как мету той грубой, тяжелой, жестокой жизни, которая не обошла и его самого. Я – из другой жизни, светлой и чистой, ребёнок в сравнении с его трудной зрелостью, и он хочет оберечь меня, заслонить...

В этом жесте нет и чувства высокомерия по отношению к человеку из народа, в языке которого столь густо перемешаны «злые зёрна – черные слова». Есть понимание: между словом и молчанием проходит невидимая вспашка души, пролегал множество человеческих состояний – сострадание, нежность, красота. Одним словом, все то, что он хотел сказать и сказал нам своей высокой поэзией.

Инна Ростовцева

* * *

Мирозданье сжато берегами,
И в него, темна и тяжела,
Погружаясь чуткими ногами,
Лошадь одинокая вошла.

Перед нею двигались светила,
Колыхалось озеро без дна,
И над картой неба наклонила
Многодумно голову она.

Что ей, старой, виделось, казалось?
Не было покоя среди светил:
То луны, то звездочки касаясь,
Огонек зеленый там скользил.

Небеса разламывало ревом,
И ждала – когда же перерыв,
В напряженье кратком и суровом,
Как антенны, уши наострив.

И не мог я видеть равнодушно
Дрожь спины и вытертых боков,
На которых вынесла послушно
Тяжесть человеческих веков.

2 февраля 1965 года

Александр Ревенко 1948–1977

Александр Ревенко погиб в конце декабря 1977 года, не дожив до тридцати. Было сумеречно и метельно. Была пора поздних дебютов. Посреди непогоды маститый поэт, один из зачинателей и героев стихотворного бума шестидесятых годов, даже прикрикнул тогда на молодое поколение: не умеют, мол, входя в литературу, стукнуть по столу, как мы в свое время! Упрек был, в общем-то, не по адресу. Это сейчас, на смену поколению, к которому принадлежал А. Ревенко, пришло новое племя: младое, но – знакомое. Оно может громыхнуть. И – громыхает. А тогда...

Тогда молодые поэты, независимо от их ориентаций, были как-то сосредоточеннее в себе. А. Ревенко видел свою задачу в преодолении разрыва между призыбком душевной работы и литературной недостаточностью своей. Короче, дело шло об отыскании своих слов для своего содержания. На кого тут было стучать по столу? «Нам чужого не надо», – любил повторять А. Ревенко.

Сосредоточенность этих ребят в себе не означала, что они были равнодушны ко всему происходящему вокруг. Более всего А. Ревенко подавляло уменьшение совести в мире. «Есть люди, а есть анчутки». Не знаю, сам ли он придумал эту поговорку или услышал от кого, но для него она была руководством к действию. Как в жизни, так и в поэзии.

Совестливое слово А. Ревенко было одинаково взыскательным и к нему самому, и к окружающим. «Всевышняя совесть людская» – так он определил для себя нравственный идеал и все соразмерял с этим идеалом. Десять лет прошло со дня его смерти. Его творчество пришлось на те годы, когда течение нашей жизни замутнилось и едва не приостановилось вовсе. Лучшие его стихи отмечены пафосом очищения и в этом смысле гражданственны по высокому счету. А стихотворение «Корова» – с таким непозитичным названием, такое, казалось бы, неумелое и наивное по исполнению – является, я глубоко убежден в этом, одним из самых пронзительных и отчаянных выражений протеста против бесчеловечной сущности того, что мы теперь называем застойным временем.

При всем том он только лишь созревал, только обростал пером...

Е. Лебедев



Александр Ревенко

КОРОВА

Гонят на бойню скотину.
Старая плачет корова.
Грубого просит детину:
– Что я наделала злого?

Летом со стадом ходила.
В зиму я сено жевала.
Сливками деток поила
И никого не бодала...

Мясо вам нужно – возьмите.
Шкура нужна – одберете.
Только зачем вы кричите,
Гоните, палками бьете?..

Александр Тихомиров 1941–1981

Я люблю стихи Саши Тихомирова, как любил его самого. Да и можно ли не полюбить такое:

Бежит речушка, по лесу кружа,
И ей самой, должно быть, наслажденье,
Что до того прозрачна и свежа,
Как музыка эпохи Возрожденья.

Было и в самом Саше, в душе его, в стихах что-то от «музыки эпохи Возрожденья» – свет, прозрачность, свежесть, была устойчивая ясность и много-много любви к людям. Было то, что хочется назвать старинным словом «божественность». Лет 10–15 назад в нашей поэзии появилась и все чаще встречается некоторая, как говорят, «темуха» – где торжествуют мотивы безжалостности, мрака и пустоты, мотивы модернизированного «сатанинства» (ярче всего это проявляется у талантливого Ю. Кузнецова). Александр Тихомиров как поэт и человек – противоположен этому течению. Хотя, конечно, добрячком никогда не был, хорошо понимал современную жизнь, видел ее насквозь:

Я мир сравнил сегодня с огромным пауком –
Все время ложь плетет он без причины,
И столько нужно скинуть паутины,
Чтоб ясным взором посмотреть кругом!..
Я пути одолел (однажды повезло!),
А что открылось мне – и говорить не стоит.
Да, на земле борьба – зло борется со злом...
Добро же что-то потихоньку строит.

Худо бывало у него на душе, когда он приходил в издательство:

Мне шлют полузаметные кивки,
Как в урну деликатные плевки,
Презрение – у каждого лица,
Мерцают взоры ядовитым лаком...
А коридору нет и нет конца!
...В сей миг печальный мой бы сын заплакал,
Когда б увидел своего отца.



Александр Тихомиров

Я цитирую по его посмертной книге «Белый свет», выпущенной «Современником». Эта прекрасная книга была быстро раскуплена, но критикой, естественно, не замечена. Кому нужно рецензировать Александра Тихомирова – не входящего в обоймы, не принадлежащего к литературным группировкам и не занимающего должностей...

Саша обладал редчайшим для современного поэта качеством – глубоким, до костного мозга пронизывавшим БЛАГОДАРСТВОМ. Вот какой случай произошел с ним в 1970 году. Саша попал в милицию. Да-да, случается такое и с поэтами. Там он должен был до утра просидеть вместе с уголовниками и алкоголиками в камере-аквариуме. В соседней камере за тонкой перегородкой находились две женщины – пожилая алкоголичка и молоденькая проститутка. Ночью пожилой женщине стало плохо. Она начала стонать и просить врача. Дежурный наряд милиции не обращал внимания на ее стоны – продолжал, похохатывая, играть в домино. Женщина стонала все громче, все настойчивее просила вызвать врача. Ко всему привычные милиционеры по-прежнему не обращали на нее внимания. И тогда Саша не выдержал и возвысил голос в защиту этой женщины... Ему это дорого обошлось...

При жизни Тихомиров почти не печатался. Были опубликованы три-четыре его подборки (если не ошибаюсь – в «Сельской молодежи» и альманахе «Поэзия») да одна ки-

га – «Зимние каникулы» – в 1973 году. Рукопись второй книги ему вернули из издательства после зубодробительной «внутренней» рецензии.

Чарли Чаплин как-то написал о себе: «Я не был ангелом, но всегда стремился быть человеком». Саше не надо было «стремиться» быть человеком – он не мог им не быть. Он мог только оставаться самим собой и, пока жив, «ни единой долькой не отступаться от лица».

Вадим Ковда

* * *

Отчего голова поседела?
Вроде б не с чего ей поседеть...
За меня вся родня отсидела –
Так что мне не придется сидеть.
За меня вся страна воевала –
Малолетка, я был не у дел...
Все потери отгоревала.
Ну, а я-то с чего поседел?
Видно, старость как отблеск завета –
Хлеб для жизни, мол, не един...
Мир одаривай толикой света.
Света нет?
Ну, хоть светом седин.

Мавр Ян
1941–1986

НЕБЕСНЫЙ МОРЯК

Мавр Ян – поэтический псевдоним Мавра Мелкумяна. Он родился в Ереване. Отец его был лингвистом, мать – поэтессой. Сам он первые стихи написал в армии. Позднее перепробовал множество профессий, потом стал студентом и в 1972 году окончил Литературный институт им. А. М. Горького по кафедре художественного перевода. Уже тогда он был сложившимся русскоязычным поэтом, хотя печататься удавалось редко, не выходя за страницы периодики. Его книжным дебютом стал коллективный сборник «Первые встречи», изданный в Ереване через год после смерти автора в Москве, где прошла пора его творческой зрелости, – прошла в борьбе с тяжелым неизлечимым недугом. Уход его был добровольным, вопреки тому, что задолго до рокового выбора поэт оказывал ему сопротивление стихами: «Я с собой не покочу и с ума не сойду...»

Самая напряженная нота его поэзии озвучена поиском смысла жизни. Потому что в отличие, по социологической терминологии, от человека экономического, зарабатывающего на хлеб, или от социального, ищущего профессию, лирический герой стихов Мавра Яна – человек духовный. Но поиск смысла жизни на Земле как-то притенял ему саму жизнь, лишая необходимого просветления для получения, как сказано Пастернаком, «сдачи разменным бытом с бытия». Есть такие незащищенные натуры, не умеющие узнавать себя «меж детей ничтожных мира», о чем знал Пушкин и прямо утверждал Маяковский: «поэт и в жизни должен быть мастак». И видимо, слишком неудержима была у поэта жажда слиянности со всем сущим, его стремление туда –

Где так недостает меня –
Цветам!

Деревьям!

Травам!

Несомненное жизнелюбие иногда не выдерживает тяжести собственного веса. Но оно было и светится в его стихотворениях, которых, к сожалению, осталось не так много. А мир в них увиден с большой высоты – недаром образ неба перекрывает у Мавра Яна все земные боли: «Я моряком небесным буду, когда «прощай» скажу земле...» Это высокое плавание продолжается в слове рано ушедшего от нас, в каком-то смысле просмотренного, не сбереженного нами, но истинного поэта.

Роберт Винонен

* * *

...Кресты и клятвы матерям,
Русалки, сабли и могилы,
Резные змеи по телам.
Соборы, женщины нагие...

...Наколок синий частокол
На теле матушки-России!
Какой художник исколол
Печали русской символ синий?!

Ничем не смыть их, не стереть,
Не вырубить – смешались с кровью!
Не сладит с ними даже смерть –
Они с судьбой России вровень!

Живые книги – не тела,
По ним читать учились дети.
...Перелистай страницы эти:
Узнаешь – Русь какой была.



Мавр Ян

Валентин Лукьянов
1936–1987

Необычное сейчас время: оно даже искусственным в литературе и искусстве людям постоянно преподносит художественные открытия и открывает новые имена. Может быть, за этот год мы даже несколько устали от открытий. И тем не менее.

Мне довелось прочесть стихи Валентина Лукьянова. Это открытие иного рода сравнительно с теми, к каким мы уже привыкли, открывая для себя неизвестные вещи художников, имена которых, в общем-то, мы давно знали. Мы открываем для себя поэта, который пронес в то время, какое мы теперь называем по-разному – временем застоя, консерватизма, негласности и т. д., – пронес свою поэтическую и человеческую судьбу целюю, до конца и честно, хотя слово «честно» можно было бы и не упоминать, ибо поэт – это только честно, и все не честно или не до конца честно – не поэт. Это открытие еще раз доказывает, что всегда, в любые самые неблагоприятные времена конкретная судьба определяется масштабом личности.

Человеческая судьба Валентина Лукьянова завершена. Так случилось, что 27 июня 1987 года он умер в возрасте 51 года. Поэтическая же судьба (в смысле общественного резонанса его стихов) только начинается. Нынешним читателям предстоит узнать (я полагаю, все поэтическое наследие В. Лукьянова будет опубликовано), какой мощный, крупный поэт был их современником. Поистине, рукописи не горят.

Талант и судьба Валентина Лукьянова вызывают сегодня тем большее уважение, что у поэта практически не было читателя в привычном понимании этого слова, не было обратной социальной связи. Он пронес этот неподъемный крест, доверяя только себе, и, как мы теперь видим, не ошибся и поэтически состоялся. Он создал свой поэтический мир, и его узнавание даст читателю ту радость, какую испокон веков доставляла нам истинная поэзия.

Д. С. Лихачёв

БЕЛЫЙ СНЕГ

Он пошел таинственно,
Всюду, враз,
Словно он та истина,
Что ждалась,

Словно он венчание
Всем камням,
Словно он нечаянный,
Как и я.

Пропади ты пропадом,
Белый снег,
С твоей лживой проповедью
В белый свет,

С твоей лютой кротостью
(Вьюга – мать!),
Что зовет бескровию
Подпевать.

Нет, не мне нашептывать,
Взгляд косить, –
На слезе на собственной
Мне скользить,

Порываться в душевные
Темь-дворы,
Пригревая души их,
Как дары.

Что б там ни наверчивал
Белый снег,
Я приснось не вечным ведь
И не всем.

Между звезд затерянный –
Больше б мог...
Снег летит затейливый
И немой.

Выходя из снежности
На фонарь,
Всякий раз жду сдержанно –
Всё, финал.

Словно здесь, у пламени,
В полусне,
Рухну я, внеплановый,
В белый снег.



Валентин Лукьянов

Юрий Смирнов
1933–1978

Для совершенствования поэта много значит среда, общение. Откуда ее взять? Многие не заметили, что проскочили свой «пик». А чего проще: звони в любую дверь, за которой живет поэт. Завязать общение помогут смелость и, если есть, – молодость.

Стало быть – смелость.

Один из таких смельчаков однажды пришел ко мне вдвоем с приятелем, молодым человеком в когда-то черном, а теперь заношенном до блеска свитере. Смельчак не представился сам и не представил напарника, он только почти приказал:

– Юра! Почитай Илье Львовичу.

Юра вынул из кармана самодельный блокнотик, сунул его обратно и негромко, не напирая на ударения, произнес:

– По утрам в поликлиники спешат шизофреники. Среди них есть ботвинники и кавказские пленники...

Это – шуточное, а потом были замечательные, более чем серьезные.

Одно за другим Юра прочитал несколько стихотворений. Стихи «Шампиньоны» меня совершенно покорили.

Спасибо альманаху «День поэзии» – он напомнит взыскательному читателю, что был-таки среди нас, и очень недолго, тонкий и умный, на других мало похожий поэт. Он мог показаться юмористом. Однако это не была словесная игра. Смирнов ничем не жертвовал ради того, чтобы рассмешить. Тончайшая ирония окрашивала стихи невеселой усмешкой, почти гримасой боли. Хотя бы те же «Шампиньоны», где такая сегодняшняя вера в интеллигентность и духовность («видно, что-то боевое в анемичном есть грибе. Непременно все живое пробивает путь себе»).

Илья Френкель

ШАМПИНЬОНЫ

По соседству с магазином
«Папиросы и табак»,
Преграждая путь машинам,
Собралась толпа зевак.

На Арбате шампиньоны
Рвут асфальта кожуру!
Их суют в плащи пижоны,
Участковый – в кобуру.

Отчего со страшной силой
На поверхность вдруг полез
С виду немощный и хилый
Этот гриб-деликатес?

Тут назад тому лет двести,
До пожаров и холер,
Было славное поместье,
Ложной классики пример.

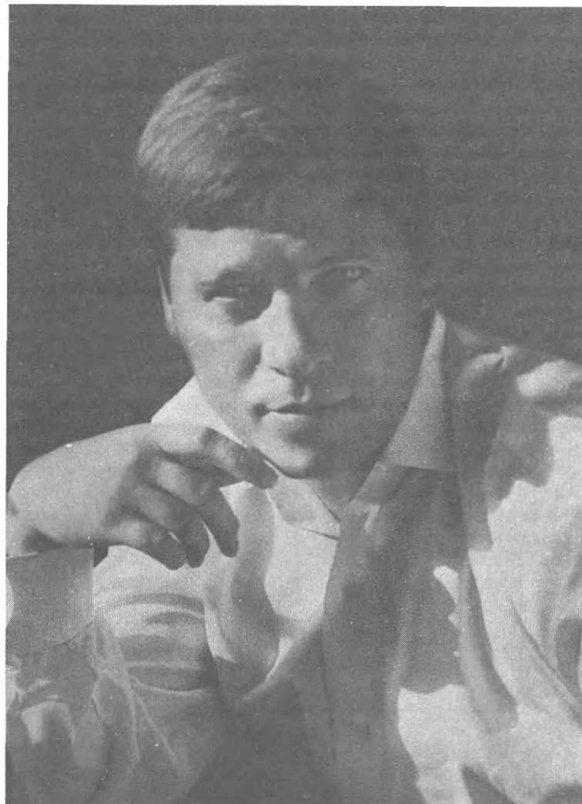
И совсем еще девчонка,
То капризна, то нежна,
С белозубым арапчонком
Забавлялася княжна.

Не один улан московский
Быть хотел ЕЯ рабом.
Стихотворец Тредьяковский
Ей стишки вписал в альбом.

Два столетья спят уланы,
Спит прелестная княжна.
В вышине глаголют краны
Про иные времена.

Дом в приход Наполеона
Был спален – стоит другой.
Только лезут шампиньоны
Из арбатской мостовой.

Видно, нечто боевое
В анемичном есть грибе.
Непрременно все живое
Пробивает путь себе.



Юрий Смирнов

Александр Гаврилов
1948–1983

Часто бывает так, – пролив слова и слезы над могилой поэта, мы легко перешагиваем через него, стихи его перестают появляться в журналах и газетах, звучать по радио, книга избранного годами валяется в издательствах.

*Давайте вспоминать друзей,
Ушедших поздно или рано, –
Пусть в собственной душе твоей
Кровоточит живая рана...*

У Саши Гаврилова при жизни вышло четыре тоненьких книжицы. А пятая застряла, как только он – тридцатипятилетний – умер от сердечного приступа накануне отъезда в творческую командировку.

В 1972 году в рецензии на его дипломную работу в Литинституте я писал: «Отчаянная любовь к жизни, ко всему трудному в ней, все повышающаяся требовательность к себе, готовность отдать каждую строку людям – вот качества, присущие творчеству Александра Гаврилова». Перечитав все написанное им, я снова убедился, что он поэт истинный. По своему видению мира, отношению к России, к деревне, к человеческой доброте, по простоте и пронзительности лучших строк он близок к своему товарищу по Литинституту Николаю Рубцову.

Гаврилов умел увидеть, как осенью «застекляются окошки во мхи закутанных болот» «и лениво течет в голубую неволю остывающая река». А в марте «ноздrevатые сугробы вдыхают запахи весны». А летом ива, рассеченная молнией, схожая с клешней рака:

*Не забыла былую беду –
Схватит самую злую из молний
И с шипеньем утопит в пруду.*

Всем существом он был связан с родною землей.

*Я нескладный, подумаешь – важность!
Мне достаточно складной судьбы.
А фигуры моей угловатость
От углов деревенской избы.*

Стихи Саши Гаврилова имеют право жить.

Лев Ошанин



Александр Гаврилов и Анатолий Передреев

РОССИЯ

Наши недруги лихие
Называли свысока
Непутевую –
Россию,
Непутевым –
Мужика.

А мужик – сажень косяя,
Добывал и хлеб и соль,
То молитвой заглушая,
То сивухой
сердца боль.

Боль!.. И шелкал кнут, как выстрел,
Над заснеженной страной.
И шальной ямщицкий высвист
Проносился стороной.

И нога искала стремя,
Саблю острую – рука,
И челны несла на стрежень
С дикой удалью река.

По степям гуляло пламя,
Жухла ранняя трава...
И ложилась на плаху
Не едина голова.

Но в сердцах горела вера,
Путь нелегкий озаря, –
Началась другая эра
От рожденья Октября.

Жив в народе прежний высвист,
По-русски озорной,
Космолеты режут выси
Под луной
И за луной.

Потому неотразима
И во всем себе верна
«Непутевая Россия» –
Путеводная страна!

Николай Анциферов
1930–1964

ДРУГ НАВСЕГДА

В пятидесятых годах поэт Николай Анциферов – шахтер, трудяга, душевный и наискромнейший человек – работал в отделе поэзии журнала «Москва». Мы с ним были в хорошей дружбе. Я жил рядом, в Борисоглебском переулке, ходу до редакции десять минут. И вот прихожу однажды к нему: не узнаю. Коля сидел за столом перед грудой рукописей какой-то непохожий на себя. Лицо в красных пятнах выдавало тревогу, волнение, с которым он не мог справиться. «Ты что? С похмелья, что ли?» – спросил я. «Почти!» Он встал, закрыл дверь кабинета на ключ. Закурил. Долго глядел в окно на старый Арбат. И, резко обернувшись ко мне, тихо, так тихо, словно наш разговор мог кто-то подслушать, сказал: «Ты знаешь, кто мне сегодня звонил?.. Сам Асеев! Николай Николаевич. Я чуть со стула не грохнулся. – Коля обмахнул вспотевший лоб. – И самое страшное для меня – Асеев хвалил мои стихи. Где он их нашел, не знаю. Вероятно, в «Литгазете» прочитал. А стихи-то так себе – детский лепет. Долго по телефону говорил, а я сидел окаменевший. Мучился от его похвалы. Подумалось даже: не разыгрывает ли меня кто-то? Есть, говорит, у вас рабочая жилка, не потеряйте ее; я в вас верю; вы способный... Ты понимаешь, что это значит для меня – звонок Асеева! На всю жизнь заряд! Это как чистый кислород шахтеру в душном забое! Видишь – руки дрожат. А ты – с похмелья!..»

Радость обозначилась на курносом лице Коли. Он как-то приободрился, подтянулся, просветлел. Потом уже, спустя годы, его оценил и написал о нем Ярослав Смеляков. Скромный и общительный, Коля и сам помогал молодым. В частности, Алексею Зауриху (стихи которого я нашел в его архиве), мне да и многим другим. В папке Н. Анциферова я обнаружил сатирические заметки, фельетоны, зарисовки, небольшие статьи. Они написаны суховатым, но живым языком. Это была, конечно, первая проба пера. Он начинал с газеты. Зарабатывал на хлеб насущный, как и многие теперь известные поэты и писатели. Но Анциферов не расплылся на поденщине, не исхалтурился. Прошла пора становления, окреп, почувствовал силу, стал писать серьезно, с отбором и только о том, что хорошо знал, – о шахтерской жизни. У него почти нет пейзажной и чисто любовной лирики, даже в самых ранних стихах звучат мотивы забоя, штрека, проходки. Постепенно наращая поэтические мускулы, он соединил и пейзаж, и любовь с нелегким трудом шахтера. Получился единый сплав, прошедший испытание временем на разрыв. Крепкий сплав. Нержавеющий. На родине, в Макеевке, да и во всем Данбассе до сих пор нету другого поэта, который с такой силой, искренностью, прямотой выразил в стихах основную суть судьбы шахтера, этого «подземного человека», в шкуре которого побывал сам поэт, хлебнул горького, реже сладкого и потому воспел его в стихах предельно правдиво, с любовью и уважением.

Валентин Кузнецов

ВЕЛЬМОЖА

Я работаю, как вельможа,
Я работаю только лежа.
Не найти работенки краше,
Не для каждого эта честь.
Это – только в забое нашем:
Только лежа – ни встать ни сесть.

На спине я лежу, как барин.
Друг мой – рядом, упрямый парень:
«Поднажмем!»
И в руках лопата
Все быстрее и веселей.
Только уголь совсем не вата:
Малость крепче и тяжелей.
Эх и угольная перина!
Не расскажешь о ней в стихах.
Извиваешься, как балерина,
Но лопата играет в руках.
Отдохнуть бы минуту, две бы!..
Отдыхаешь, когда простой.
Семьянин говорит о хлебе,
О любви говорит холостой.
Но промчится пара минут –
И напарник мой тут как тут.
Шепчет: «Коля, давай, давай!»
Вместе взялись, не отставай!»

На спине снова пляшет кожа.
Я дружку отвечаю: «Есть!»
Я работаю, как вельможа.
Не для каждого эта честь.

Сергей Чухин (1944–1984)

По какой-то странной иронии судьбы поэты слишком рано уходят из жизни. Только сорок лет от роду прожил на белом свете и Сергей Валентинович Чухин.

Впервые десятиклассником пришел ко мне Сережа Чухин, сын учительницы литературы из Погорелова, принес свои стихи – в районную газету «Маяк». Их много, таких мальчиков, публикуется в районках – лишь единицы становятся поэтами. Сергей Чухин – стал. Он пережил свою юношескую браваду, увлечение стихами Роберта Рождественского, пока не встретился с Николаем Рубцовым.

В ту пору, оставив пединститут и службу в областном радиокомитете, он поступил учиться в Литинститут имени Горького, где Н. Рубцов был в это время заочником и частенько ночевал в комнате младшего земляка. О нем С. Чухин успел написать свои воспоминания по моим настоятельным просьбам. А писать он был просто должен – ни с кем, наверное, Николай Михайлович не был дружен так, как с ним.

Было в этой дружбе «менторское начало», но как же мягок и бережен, как суров и требователен был этот метр! Любил он Сергея и как младшего брата, близкого ему по душе и – какая редкость! – еще и по дарованию. Поначалу близость эта вышла Чухину боком – пошли подражания в стихах, к чему и сам Рубцов отнесся без всякого снисхождения. Но как трудно преодолевать влияние того, с кем даже характеры во многом совпадают, немало общего в истоках и жизненном опыте! К счастью, Сергею Чухину это удалось.

Оба они были мягки душою и добры, но если один мог быть резким и вспыльчивым, то другой неизменно приветливый и незлобивый, иногда казалось – до всепрощенчества. Надо сказать, со временем и он строжал и, оставаясь

добродушным, не замечал больше того, кто обманул его доверие. Оба они любили природу, но если терпеливый Сергей преуспевал в рыбалке, то Николаю с удочкой выдержки надолго не хватало. Но как они оживали оба в грибном лесу!

В стихах своих Сергей Чухни представляется наблюдателем со стороны, едва ли не созерцателем. Но это спокойствие человека, чувствующего себя хозяином в доме или гостем у радушных людей. Лирика его нежна, точна по наблюдениям. Природа и душа поэта живут в стихах воедино, слаженным оркестром духовых инструментов.

Младенчески незлобивая душа поэта не была безразлична к бытию людей на земле. Образ матери, ее опыт и такт помогли войти Чухину в общество сограждан. И он во многих стихах обретает позицию журналиста-социолога, в других становится историком, однако и история у него – ближняя, та самая, что пережита лично. А все, что испытано русской деревней за последнюю четверть века, – было и его историей.

Все что он писал Сергей Чухни – лирика, и в ней находил он истинную гражданственность: ни лукавить, ни суесловить он просто не мог. Написал он немного, пройти всего пути не успел, но свое слово, строжающее год от года, он выносил. Имел он полное право написать и такие строки, исполненные суровости и скорби:

*Неужто, милая земля,
Уже совсем родить устала
И существуешь только для
Правительственного пьедестала...*

Поэт ушел на покой, те пьедесталы дрогнули, земля набирается животворящих соков.

Такая надежда пришлось бы Сергею Чухину по душе.

Василий Оботуров

Вологда

* * *

Отгуляли, кажется, ребята.
Охаем да чай горячий пьем.
Водочка ни в чем не виновата.
Сами виноватые во всем.
Но зато какие были речи,
добрые хорошие слова!..
А теперь опущенные плечи
и совсем больная голова.
Ни о ком не скажешь – мол, бездельник,
Но никто не сделал ничего.
И не жалко пролетевших денег,
времени вот жалко своего.
Глупая российская беспечность!
Снова удивили белый свет.
Думаем, у нас в запасе вечность,
вечности у нас как раз и нет.
Да ее, пожалуй, и не будет...
Потому, заботясь о судьбе,
нас никто пристрастней не осудит,
чем мы сами судим о себе.

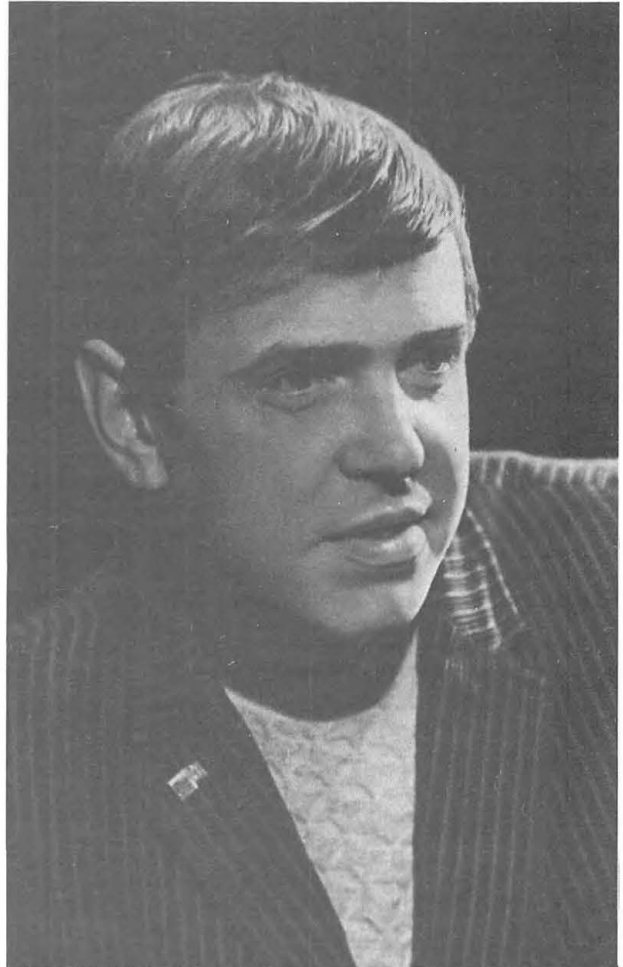
Алексей Заурих (1941–1983)

Велик и шумен наш поэтический лес. Тут тебе величественные кедр, хмурые дубы, стремительные сосны и дрожливые березки, выбивающиеся из кустов бузины и шиповника.

Многоголос, пестр и звучен лес. Стоишь, смотришь, думаешь. Все есть... А чего-то не хватает. Чего? Огнистой осинки! Оглянешься – да вон она, на отшибе леса, небольшая, хрупкая, озябшая. Как крутит и мочалит ее осенний ветер! Так и кажется – поломает. Но она стоит – в дрожи и ознобе, искро-листо-метная!

Вот таким я представляю себе поэта Алексея Зауриха. Он был из тех негромких лириков, без которых наш поэтический цех не полон.

Сорок лет жизни ему отмерила судьба. Сорок лет. Много ли? Много, если оглянуться на классиков XIX века. И можно было еще поработать. Но судьбу не выбирают. Я хорошо знал Алешу Зауриха. Скромный, тихий, бедно одетый и почти всегда голодный, он незаметно входил в клуб писателей, какой-то сонный и помятый, пристраивался к столу, садился, закуривал и чего-то ждал. Ждал друзей-поэтов.



Алексей Заурих

– Алеша, здравствуй!
Он быстро вставал и предлагал тебе свой стул, сигарету. Он был вежлив, учтив.

– Чашку кофе или стакан вина?

Он разводил руками, хлопал себя по карманам, грустно кивал, находя завалившуюся медь.

– Не беспокойся, Леша, у меня есть.

Не спеша и размеренно текла беседа. Столик обростал поэтами. Читались стихи. Он слушал как бы одним ухом, склонив голову к читающему, слушал внимательно, чутко. Уважал чужой труд. Сухо оценивал: «Хорошо!» Или напрямик резал: «Чепуха собачья!» Редко читал сам.

– Леша, как работалось почтальоном?

– Здорово работалось. Скольких людей узнаешь. В каждом доме – свой мир.

Помимо службы Музе он служил на почте, разносил газеты, телеграммы, письма. Письма горькие, радостные, пестрые, как осенний лес.

Он мало печатался, писал трудно. Его, семнадцатилетнего, поддержал Сергей Васильев, напечатал в журнале «Октябрь». Леша был благодарен ему.

Перебирая архив Николая Анциферова, я обнаружил стихи Алеши Зауриха «Солдат». Что-то не припомню, чтобы эти стихи печатались. В его маленьких, но емких и редких сборниках не нашел. А стихи свежие, с исторической перекличкой, настоящие. Жаль, что одно. Может быть, у кого-то сохранились ненапечатанные? Хорошо бы собрать, издать сборник, небольшой, скромный. Но огнисто-яркий, как та осинка на отшибе, без которой лес – не лес.

Валентин Кузнецов

СОЛДАТ

Во мне – боль павших, но не сдавшихся
во все крутые времена.

На веки вечные оставшихся
в полях, где ночь, как смерть, черна.

Я будто их прошел дорогами –
их сны, их звезды, их бои.
Я их глазами темень трогаю,
их жажда губы жжет мои!

О тропы памяти нелегкие,
что мне открылись как с горы!
Привалы светятся далекие,
как позабытые костры.

И вот, в ледовой сече канувший,
в том достопамятном году,
я у Вороньего у Камушка
на бой с немчинами иду.

Вот у костра присев на корточки
со всем Семеновским полком,
рассвета жду у речки Колочи,
вою по лезвию бруском...

Что впереди, что там пророчится?
И вот на подступах к Москве
среди сугробов в чахлой рощице
фашиста бью по голове!

Все это я. Я шел и мучился.
Любовь владела мной и злость.
Нигде своей тяжелой участи
мне избежать не довелось.

Но – глянь! – в траве дурманной, ягодной
над болью давних горьких дат,
готов к последней схватке яростной,
встает солдат, встает солдат...

Всего себя отдам я полностью,
покамест солнце не грядет,
покамест знамя черной полночи
к моим ногам не упадет.



*Анатолий Передреев
(1932–1987)*

ВЕНОК АНАТОЛИЮ ПЕРЕДРЕЕВУ

Владимир Соколов

* * *

Душа устала от поминок,
От сожалений и крестов.
Я радости хочу, как инок
Забывших Оптиных скитов.

Прощай, высокий Анатолий,
Прощай, ребенок бедный мой.
Еще не сложен капитолий,
Где б мы увиделись с тобой.

Ужасно снег сегодня взвинчен.
Околица пустым-пуста.

И с кем мне радоваться нынче,
С кем... возле этого креста?

Как страшно, Толя, до рассвета
Петлять по полю без следа...
И улиц нет... И нет поэта.
Лишь воля божьего суда.

Юрий Кузнецов

* * *

Он во сне перешел свой предел...
А когда-то от полного чувства
Человека увидеть хотел
На толкучем базаре искусства.

Он легко верил только себе,
Все хватал на лету и смеялся.
«Ты слепая!» – сказал он судьбе
И один на распутье остался.

А теперь мы проститься пришли,
Одного перед богом оставить.
И холодные комья земли
Мы бросаем на скорбную память.

Кто мне скажет, откуда сквозит?..
Может быть, у последнего края
Его ангел-хранитель стоит,
Перебитым крылом помавая.

Это он навевает ему
Тишину вековечного слова
И роняет в могильную тьму
Ком холодный от мира иного.

Это падает с неба звезда,
Освещающая могилу поэта.
Это знак, что уже навсегда
Он ушел по ту сторону света.

Эдуард Балашов

* * *

Лежал он молодо в гробу.
К нему со Словом обращались
И те, кто сердцем восхищались,
И те, кто прежде отвращались,
Но все кивали на судьбу.

Как будто из последних сил
Лежал он, обликом прекрасен,
Витиям и чинам опасен,
Бездарностям невыносим.

Скорбел недвижимый хоровод.
Деревья наклонялись слепо.
Душа его глядела с неба,
Как мерз и горбился нецело
Друзей разрозненный оплот.

Вот гроб прибрали кое-как.
Невидимо за суетою
Ко лбу его рукой простою
Прижато было «Трисвятое»,
Молитва сунута в кулак.

Лежал он, как жених, светло.
И снег слетал пугливый, редкий,
На «Святой Боже, Святой Крепкий...»
И на бессмертное чело.

Михаил Вишняков

* * *

Отчего ты грустен, русский человек?
То ли дело к свадьбе, то ли к непогоде?
Позади бездомность, впереди ночлег,
сонная калитка, садик в огороде.
Отчего ж ты долго, сильный, молодой,
слушаешь, как ветер завывает в поле?
Или ты бедуешь со своей бедой?
Или ум за разум – изнемог от воли?
Расцвела хозяйка зрелой красотой.
Почка родниковая дышит из колодца.
Русскую бездомность пустят на постой,
вдруг да отоспится, вспомнит, отзовется.
Вдруг да просто спросят: «Добрый человек,
дом чужих приветил, а свои забылись?»
Кто стучал в калитку – зэк иль печенег?
Небо огнезвездно, спутники роились.
Кто и чем наполнил память мужика?
Или вечер светлый, или ночка темная?
Может, мать приснилась, может быть, река.
Думушка ты, дума, русская, огромная...

Раиса Романова

* * *

Поэт напряжен, как струна,
А жизнь его хлещет по нервам.
И, первым восстав ото сна,
В тьму вечную сходит он первым.

Поскольку несет из глуши
К сверкающим высям сознания
Всю жажду творящей души,
Всю краткую боль пониманья.

Идет он, шатаясь, идет.
И путь его – невыносимый.
А кто-то судачит: – Он пьет
И мается дурью красивой...

И брeнная плоть на него
Вериги свои налагает,
А душ золотое родство
Он так и вовек не познает,

Поскольку велик его спрос,
Поскольку строга его совесть,
Поскольку свята его злость,
Поскольку горька его повесть.

И пусть ощущает он ход
Светил – и давление света...
Но если унижен народ –
Взрывается сердце поэта.

Иван Савельев

* * *

Наши годы сделались нагими,
Как усадеб старых городьба...
Замирает сердце у богини
С непокорным именем – Судьба.

Сердце у богини замирает,
Еле-еле прогоняя кровь, –
Это жизнь, что пела, убывает,
Чтобы ко всему я был готов.

Я – готов!
Да мы и все готовы
Отстоять последний караул, –
Потому глаза у нас суровы
И жестоки очертанья скул.

И, верны возвышенному братству,
Даже у юдоли роковой
Не дадим вселенскому злорадству
Слабостью злословить над собой.

Будем петь – пока не станем пылью!
Мужество врагу не отдавать,
Чтобы стать легендой и былью,
По которым будут тосковать...

Вячеслав Байбаков

* * *

Когда сидел у Музы под арестом,
Смотрел в ее жестокие глаза,
По стадионам с духовым оркестром
Поэты шли, натужа голоса.

Казалось им, что Космос звездной дрожью
В сердца людей под звон метафор пал.
Но вы – вас мало – не прельщались ложью,
И ты доверчиво друзей искал.

И находил сочувствие и злобу,
И словом тихим заглушал свой крик...
Могли ль подумать, что так рано гробу
Мы предадим тебя, целуя лик.

Не над тобой трепещет медь оркестра,
Опять фальшивит первая труба.
Но дерзко в жизни избранное место
Благословляет русская судьба.

Стоят в снегу березы у могилы,
И небо льет на елку вечный свет...
Ушел в какую даль, исполнен силы,
Беседуешь с Создателем, Поэт?..

Как скоро ночь над миром пролетела!
Еще сознание брезжило в ночи,
Когда пронзили душу мне и тело
Зари летящей тонкие лучи.

Когда ветла от ветра задрожала,
Зашевелилась павшая листва,
Вздыхалась грудь от вспыхнувшего жара,
От ошущения нежности, родства...

Все соразмерно в жизни быстротечной,
Но если юн душою до конца,
Не забывай: покой твой будет вечный
В тени земного твоего лица.

Олег Кочетков

* * *

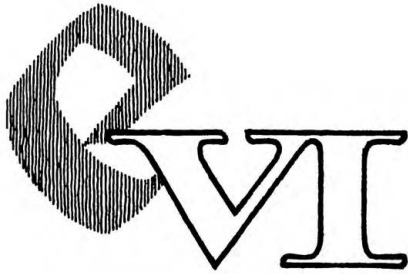
Даль надежды на мертвых устах...
Завлекла и осталась с тобою!
И в каких теперь звездных полях
Над безмолвием встала судьбою!

На равнину слетается снег
И целует чело ледяное.
Вновь один – в окружении всех,
Но объят уже думой иною...

Еще дух твой струится на нас,
Так бессильно его осязаем!
Но покамест не пробил наш час –
Ничего мы о нем не узнаем!

Он теперь в запредельном, ином,
Высоко, в глубине занебесной!
Он помечен всевышним перстом
И от нас отделен уже бездной!

Но собой все равно – тяготит...
И чем далее – тем ошущимей!
Беспредельность меж нами лежит,
Грезит чайнянками твоими!



ПОКОЛЕНИЕ 80·x

*Конечно, задорные это ребята,
А впрочем, по множеству признаков судя,
Мы сами такими же были когда-то,—
И нас не смирение вывело в люди.*

Василий Федоров

Михаил Эпштейн

«КАК ТРУП В ПУСТЫНЕ Я ЛЕЖАЛ...»

(О новой московской поэзии)

Новая московская поэзия вызывает у читателей чувство эстетического беспокойства, утраты ориентира. Раздаются жалобы на зашифрованность, переусложненность... Дело не в сложности языка, а в принципиальном отсутствии какого-то устойчивого центра, который раньше отождествлялся с лирическим героем. Все сложности проявились, как только соотносились с централизованной системой отсылки к себе: я такой-то... я так вижу мир. Как бы ни был этот герой демонически страшен или циничски опустошен, фанатически жесток или наивно придурковат (в поэзии начала века, 20-х годов, обэриутов и т. д.), он все-таки давал читателю счастливую возможность перевоплотиться, раздвинуть свое «я» за счет кого-то другого.

Сейчас отождествляться не с кем. Поэзия перестает быть зеркалом самовлюбленного «эго», остается лишь мутноватое пятнышко банальностей от его последних лирических вздохов. Вместо множимых отражений — кристаллическая структура камня, упираясь в которую взор не возвращается назад, на себя. Поэзия Структуры приходит на смену поэзии Я. На каком-то решающем слове истории «я» обнаружило свою ненадежность, недостовер-

ность, предательски ускользнуло от ответственности — ответственность взяли на себя структуры. Социальные, знаковые, ядерные, генетические... Новая поэзия — это уже не самовыражение, а скорее Его выражение, движение в мирах, где гуманность не оставила своего следа, но куда человеку дано заглянуть через странно устроенный хрусталик поэтического языка¹.

Различна природа структур, встроенных в современную поэзию на правах замещенного центра. Поэты-концептуалисты (Д. Пригов, Л. Рубинштейн, Т. Кибиров, М. Сухотин) исследуют механизмы массового сознания и повседневной речи, которые действуют автоматически, как бы минуя волю и сознание человека, говорят «сквозь» него. Обнажаются пустые схемы расхожих идей, выпотрошенные чучела современных мировоззрений — «концепты». «Жизнь дается человеку на всю жизнь...», «Выдающийся герой, он вперед идет без страха...», «Гордо реют сталинские соколы...», «Спой мне песню про все что угодно, лебединую песню, кумач!..» Концептуализм — это

¹ То, что Блок ощутил в свое время как «кризис гуманизма», как прорастание «чрезвычайной жестокости» и «первобытной нежности» животных и растительных форм в человеке, — в наше время достигло зрелости, обнаруживая на месте прежнего индивида множественность самодействующих форм бытия в их совместном, «музыкальном» напоре («гуманная цивилизация» побеждена «духом музыки»). О том же и почти теми же словами свидетельствовал Мандельштам: «В нем (поэте.— М.Э.) ют идеи, научные системы, государственные теории...»



Члены клуба «Поэзия». Внизу (слева направо): В. Коркия, И. Иртеньев, А. Парщиков, Н. Искренко, М. Эштейн. На лестнице: В. Салимон, В. Друк, А. Лаврин, Е. Попов, Д. Пригов, М. Шатуновский, Е. Бунимович.

поэзия перечеркнутых слов, которые сами снимают себя в момент высказывания, как ничего не означающие.

Если не просто смеяться концептуальным стихам, видя в них пародию на стереотипы массового сознания, то можно почувствовать и нечто большее: за говорящим Никто – подлинную лирику молчащего Сверхсубъекта. Ведь только по отношению к Его сверхнаполненному молчанию все слова могут звучать так бедно, плоско, ничтожно, коряво, как звучат они – вполне намеренно – у концептуалистов. Сентиментальное самоназвание их литературной группы: «Задушевная беседа» – тоже, казалось бы, входит в эту концептуальную игру с затертыми, заведомо чужими словами, не оправдывающими своего значения: ведь в творчестве группы нет ничего «задушев-

ного» и похожего на «беседу»... Слишком много слов вылетело на ветер в словоизвержениях XX века, чтобы за ними не выветрился и следующий слой – психологическая подоплека, обнажив еще более глубокий – метафизическую пустоту. Эти мертвые слова, «как пчелы в улье опустелом», выметают из языка концептуалисты, позволяя нам на пределе обманутого слуха услышать само молчание.

Зато другие поэты – такие, как И. Жданов, О. Седакова, Ф. Гримберг, А. Парщиков, В. Аристов, – берут в свой словарь, как в красивую книгу речи, все оставшиеся в живых слова, крайне напрягая и даже перенапрягая их смысл, чтобы явить структуру подлинной Реальности, которая также не сводима к лирическому «я», но постигается уже не отрица-

тельно, а утвердительно. Метареализм – так можно назвать это поэтическое течение – открывает множественность реальностей: той, что явлена зрению муравья, и той, что свернута в математической формуле, и той, про которую сказано «горний ангелов полет». Метареальный образ не просто отражает одну из этих реальностей (зеркальный реализм), не просто сравнивает, уподобляет (метафоризм), не просто отсылает от одной к другой посредством намеков, иносказаний (символизм, аллегоризм), но раскрывает их подлинную сопричастность, взаимопревращение – достоверность и неминуемость чуда. «...Я знаю кое-что о чудесах: они как часовые на часах» (О. Седакова). Каждая реальность явлена в другой как нарушение ее законов, как выход в новое измерение, поэтому образ становится цепью метаморфоз, охватывающих Реальность как целое, в ее снах и пробуждениях, в ее выпадающих и связующих звеньях. При этом слова не комкаются, не отбрасываются как «ничьи», а устремляются к пределу всеотзывчивости, многозначности, укореняются в глубинах языковой памяти; чем более перемешаны разновременные и разнонациональные слои культурной почвы, тем свежее ростки и обильнее всходы. Метареализм – поэзия подчеркнутых слов, каждое из которых означает больше того, что оно когда-либо означало. Поэты, прошедшие опыт безвременья, постигают величие уплотнившегося пространства. В отличие от шестидесятников, для которых мир делился на эпохи и периоды, страны и континенты, – поэты, начавшие писать в 70-е и печататься в 80-е, духовно пребывают в многомерном континенте, где соприкасаются все времена и сознания от неолита до неоавангарда. Новые поэты ловят импульсы смысловых колебаний, сразу проходящие через все эпохи: аукнулось в средневековье – отозвалось в середине XX века... Все они испытали не только негативное воздействие исторического застоя, превратившего их в задержанное, «застоявшееся» поколение, – но и позитивное ощущение сверхисторических устоев, обнажившихся на отмели последних десятилетий. **Безвременье – пародийный памятник вечности.** И если одни поэты, метареалисты, устремляются в эту вечность, а другие, концептуалисты, обнажают ее пародийность, то третьи запечатлевают сам памятник. В стихах группы «Московское время» и близких ей поэтов (С. Гандлевский, А. Сопровский, Е. Бунимович, В. Коркия и др.) – множество острых примет современности, явленной как изумительно сохранившийся культурный слой в зоне будущих археологических раскопок. «...Мы годы свои узнаем в концентрических кольцах столицы» (Е. Бунимович).

Поэты этого круга редко уходят в дальние эпохи и метафизические вопросы, им ближе тесный и призрачный быт московской старины 70–80-х годов XX века – да, старины, потому что вольно или невольно она вдвинута в новое сверхисторическое измерение, где выступает как одно из причудливых отложений уходящего времени, даже если мы все еще проживаем в нем; последний, горько-сладкий остаток временности как таковой. Знаменательно, что именно у этих поэтов еще отчасти сохранен лирический герой – но он уже не столько переживает, сколько сберегает пережитое, пополняя честными и грустными свидетельствами драгоценный архив «личности XX столетия», музей скончавшегося Человека. «Был или нет я здесь по случаю, // Рифмуя на живую нитку? И вот доселе сердце мучаю, // Все пригодились недобитку» (С. Гандлевский).

Читателям, воспитанным на поэзии предыдущих поколений, эта метапоэзия, отстраненная от «боевого» участия в современности, кажется мертвенной. Где страсти, где воодушевление, где порыв? Вместо лирического героя, увлеченного, негодующего, объездившего мир от Канберры до Калькутты или, напротив, целомудренно верного родным пашням и пажитям, – вместо этого обостренно чувствующего «я» или раздумчиво-уверенного «мы» выдвигается некое странное лирическое Оно. Никкак невозможно представить его в конкретном человеческом облике. Даже любовь – это не чувство, не влечение, а скорее контур туго загнутого, замкнутого на себя пространства, кривизна которого то взрывается землетрясением, разъединяя влюбленных, то разрывает зеркало на куски, соединяя их. «Землетрясение в бухте Цэ» А. Парщикова или «Расстоянье между тобою и мной – это и есть ты...» И. Жданова – это произведения о любви, но она рассматривается здесь скорее с точки зрения топологии или геофизики, чем законов психологии, «человековедения». Новая поэзия как будто детище не Нового времени, с его установкой на центральность человека в мироздании, а память более ранних и предчувствие более поздних времен, когда человечность, перестав быть неперменной точкой отсчета, быть может, станет неминуемой точкой прибытия.

Когда и почему мы решили, что поэзия должна быть скроена по мерке человеческого «я», что ее герой должен быть ростом со своего исторического современника, иметь то же бьющееся, взволнованное сердце, те же затуманенные мечтой и страстью глаза, тот же язык, годный для объяснения с согражданами? Лирическое Оно имеет своим прообразом скорее вставленные друг в друга колеса, которыми

двигал Дух священных животных – херувимов, и ободья вокруг них полны были глаз. Разве не оттуда: от Книги Иезекииля, Книги Исаяи – идет предначертанный поэзии и заповеданный нам от Пушкина путь поэта-пророка? Перечитаем «Пророка» сегодняшними глазами – и нас как будто впервые потрясет необходимость умерщвления человеческого. Ему было дано змеиное жало вместо языка, пылающий уголь вместо сердца – так был разъят в нем и умерщвлен весь человеческий состав. Что это за чудище лежало в пустыне – с жалом во рту и углем в грудной клетке! А ведь это был пророк – в нем уже все готово было восстать по зову Господа:

Как труп в пустыне я лежал...

Современная поэзия порой напоминает труп, в котором уже исчезли признаки живого

и человеческого – торчат какие-то острые жала, перепонки, углеродистые тела. Но почувствуйте: весь этот невообразимый агрегат готов подняться и возвестить истину по одному слову свыше – он сделан так, чтобы затрепетать. Серафим уже свершил свой тяжкий чернорабочий труд: новый сверхчеловеческий организм готов к жизни. И люди, которые видят в нем только нечеловеческое уродство и набор механических деталей, не знают, что только от него они смогут услышать слова, передающие мысль и волю Бога. Мы живем в неизвестной, может быть, очень короткой паузе.

...И Бога глас ко мне воззвал...

Теперь остается только слушать, внимать, не пропустить этого голоса в пустыне, которой окружено пока одиночество пророка, похожего на труп.

Алексей Парциков

КОТ

В старом детстве немом, как под партой, темно.
Только хрупкий зрачок обжигался в крапиве,
да булавочный плач потайной,
да слова в словарях, словно рыбы очкастые, плыли.

Был поломанный кукольный кот. И во сне
он по дому катался в кривой колеснице,
он парализовал зеркала на стене,
чтобы посмертно в застывшем стекле отразиться.

Гипнотический кот то гитару качнет,
то молчит как замок, то мурлычет украдкой,
то веревкой страшит мой неграмотный рот
и в мышинной тиши лапой правит тетрадки.

ТРЕНОГА

На мостовой, куда свисают магазины,
лежит тренога, и, обнявшись сладко,
лежат зверек нездешний и перчатка
на черных стеклах выбитой витрины.

Сплетая прутья, расширяется тренога,
и соловей, что круче стеклореза
и мягче газа, заключен без срока
в кривящуюся клетку из железа.

Но, может быть, впотьмах и малого удара
достаточно, чтоб, выпрямившись резко,
тремя перстами шелкнула железка
и напряглась влюбленных пугал пара.

Сергей Гандлевский

* * *

Не сменить ли пластинку? Но родина снится опять.
Отираясь от нечего делать в вокзальном народе,
Жду своей электрички, поскольку намерен сажать
То ли яблоню, то ли крыжовник.

Сентябрь на исходе.
Снится мне, что мне снится, как еду по длинной
стране
Приспособить какую-то важную доску к сараю.
Перспектива из снов – сон во сне, сон во сне,
сон во сне.

И курю в огороде на корточках, время теряю.
И по скверной дороге иду восвоюсь с шести
Узаконенных соток на жалобный крик электрички.
Вот ведь спички забыл, а вернуться –
не будет пути,
И стучусь наобум, чтобы вынесли – как его –
спички.

И чужая старуха выходит на низкий порог
И моргает и шамкает, будто она виновата,

Что в округе ненастье и нету проезжих дорог,
А в субботу в Покровском у клуба сцепились
ребята,
В том, что я ошиваюсь на свете дурак дураком
На осеннем ветру с незажженной своей сигаретой,
Будто только она виновата и в том, и в другом,
И во всем остальном, и в несчастиях родины этой.

Евгений Бунимович

МОСКВА. ЛЕТО 86

В духовом шкафу играет духовой оркестр.
На скамейке подсудимых нет свободных мест.
Разве могут быть оркестры, кроме духовых?
Разве могут быть доходы, кроме трудовых?

На Петровке, на Лубянке крутят в основном
марш «Прощание славянки»
с торгом «гастроном»...

Разве может быть в Бутырьках хеппинг нон-стоп?
Разве может быть в бутылках кроме как сироп?

Тимур Кибиров

1937-й

Гордо реют сталинские соколы
в голубом дейнековском просторе.
Седенький профессор зоологии
воодушевил аудиторию.

Отдыхом с культурой наслаждаются
в белых кителях политработники,
и на лодках весельных катаются
с ними загорелые курортницы.

Пляшут первоклассницы, веселые.
Льется песня. Мчатся кони с танками.
Сквозь условия Севера суровые
в Кремль радиogramму шлет полярник.

Комполка показывает сыну
именное славное оружие.
Конного вождя из красной глины
вылепил каракалпакский труженик.

И в рубахе вышитой украинской
секретарь райкома едет по полю.
И с краснознаменной песней-пляскою
моряки идут по Севастополю.

Свет струит конспект первоисточника,
пламенный мотор поет все выше.
Машет нам рукою непорочного
комсомолка с парашютной вышки.

Александр Лаврин

* * *

За кирпичным заводом бараки
Сколько помню – стоят и стоят:
Поножовщина, пьяные драки
Да орда приבלатненных ребят.

«Дай полтинник, чувак!..» И трясешься,
Шаришь в узком кармане рукой.
Дай полтинник всего – и спасеешься,
Как ракета помчишься домой.

Вот оно, это таинство жизни,
Подарили тебе – и живи,
И слезами неожиданными брызни,
А на помощь людей не зови,

Не торгуйся, ведь ты не на рынке,
Да и щель от небес до земли –
Нет, не шире, чем лезвие финки,
И закатом сверкает вдали!

Так и было, поверьте, поверьте,
Только сам я поверить боюсь:
Неужели и вправду от смерти
Лишь полтинником я откуплюсь?

Владимир Салимон

САЛЮТ, ДРУЗЬЯ!

Как только в русло перестройки
вольется среднее звено,
я, если нужно, брошусь в реку
и даже – брошу пить вино.

В осеннем сумраке не страшно,
но как-то боязно, когда
над головой твоей мерцает
остроконечная звезда.

И я шагаю по бульвару,
и я спешу под отчий кров,
где до сих пор на фотоснимке—
в обнимку Волков и Петров.

Петров на Волкова косится,
а Волков смотрит в потолок.
Он убежден—стихотворенье
нельзя писать как некролог.

— Салют, друзья! Привет, ребята!
Что за последних десять лет
насотворили?!
Дали маху?!
Изобрели велосипед?!

Нина Искренко

ГИМН ПОЛИСТИЛИСТИКЕ

Полистилистика

это когда средневековый рыцарь
в шортах
штурмует винный отдел гастронома № 13
по улице Декабристов
и куртуазно ругаясь
роняет на мраморный пол
«Квантовую механику» Ландау и Лифшица

Полистилистика

это когда одна часть платья
из голландского полотна
соединяется с двумя частями
из пластилина
а остальные части вообще отсутствуют
или тащатся где-то в хвосте
пока часы бьют и хрипят
а мужики смотрят

Полистилистика

это когда все девушки красивы
как буквы
в армянском алфавите Месропа Маштоца
а расколотое яблоко не более других
планет
и детские ноты
стоят вверх ногами
как будто на небе легче дышать
и что-то все время жужжит и жужжит
над самым ухом.

Полистилистика

это звездная аэробика
наблюдаемая в заднюю дверцу
в разорванном рюкзаке
это закон
космического непостоянства
и простое пижонство
на букву икс

Полистилистика

это когда я хочу петь
а ты хочешь со мной спать
и оба мы хотим жить
вечно
Ведь как все устроено
если задуматься
Как все задумано
если устроится
Если не нравится
значит не пуговица
Если не крутится
зря не крути
Нет на земле неземного и мнимого
Нет пешехода как щепка румяного
Многие спят в телогрейках и менее тысячи
карт говорят о войне
Только любовь любопытная бабушка
бегает в гольфах и Федор Михалыч
Достоевский

и тот

не удержался бы и выпил рюмку
«кинзмараули» за здоровье
толстого семипалатинского мальчика
на скрипучем велосипеде.
В Ленинграде и Самаре 17-19
В Вавилоне полночь
На западном фронте без перемен

Игорь Иртеньев

МОЯ МОСКВА

Я, Москва, в тебе родился,
Я, Москва, в тебе живу,
Я, Москва, в тебе женился,
Я, Москва, тебя люблю!

Ты огромная, большая,
Ты красива и сильна,
Ты могучая такая,
В моем сердце ты одна!

Много разных стран я видел,
В телевизор наблюдал,
Но такой, как ты, не видел,
Потому что не видал.

Где бы ни был я повсюду,
Но нигде и никогда
Я тебя не позабуду,
Так и знайте, господа!

Татьяна Щербина

О ПРЕДЕЛАХ

Цикады, мой Рамзес, поют цикады.
Цикуты мне, Сократ, отлей цикуты.
В ЦК, не обратишься ли в ЦК ты?
Нет, брат мой разум, я, душа, не буду.

Постройки, мой кумир, смотри, постройки,
мы разве насекомые, чтоб в ульях
кидаться на незанятые койки
и тряпочки развешивать на стульях?

Открой ее, Колумб, отверзь скорее:
вести земную жизнь упред потомок.
Куда податься бедному еврею,
куда направить этот наш обломок?

Приятель мой, мутант неотверделый,
безумный мой собрат неукротимый!
У рвоты и поноса есть пределы,
и вот они. Да вот они, родимый.

Владимир Друк

МОНОЛОГ СОСЕДА

К дому идет капитальный ремонт.
Кто он такой – я отсюда не вижу.
Спрячусь пока в социальную нишу,
Крепко сжимая в руке электрод.

Я заслужил капитальный почет,
Быть мне должна благодарна природа:

В первом квартале истекшего года
Первым заполнил фатальный отчет!

В доме царит натуральный хаос.
Пóтом воняет, как в секции бокса.
Дует сквозняк, как в гробнице Хеопса.
Чем закусить тебя, дихлорофос?

Было весьма и весьма хорошо!
Как говорится, на полную чашу.
Как говорится, и нашим и вашим.
Что же ишло?

К дому идет капитальный ремонт.
Кто бы он ни был – он не пройдет.
– Ноу! – кричу я. – Но пасаран!
Соединяйтесь, соседи всех стран!

Дмитрий Пригов

* * *

В буфете Дома литераторов
Пьет пиво милиционер.
Пьет на обычный свой манер,
Не видя даже литераторов.

Они же смотрят на него –
Вокруг Него светло и пусто,
И все их разные искусства
При Нем не значат ничего.

Он представляет собой Жизнь,
Явившуюся в форме Долга,
Жизнь кратка, а Искусство – долго.
И в схватке побеждает Жизнь.

Лариса Баранова-Гонченко

ВОЗРОЖДЕНЧЕСКАЯ ПЛЕЯДА, или возвращение блудного сына

Человек скитается по сомнительным, двусмысленным, беспокойным тропам истории, но у него есть дом, который не перестает где-то дожидаться его, как блудного сына.

С. Аверинцев

Мы не можем сказать сегодня, что в контексте развития мировой поэзии состояние современной русской поэзии не имеет исторических и историко-литературных аналогов. Они, очевидно, есть. И все-таки, в определенном смысле, есть в этом со-

стоянии нечто беспрецедентное. Разве что притча о блудном сыне могла бы в полной мере соответствовать одновременно и трагедии, и катарсису в сюжете развития русской современной поэзии.

Так, на рубеже XX века отправился ее блудный сын «в поисках новых ритмов и рифм, разрушая само существо стиха», рядясь в чужие одежды холодного экспериментатора-футуриста, конструктивиста, комфорта либо оригиналиста-фразаря.

Его вела ложная вера в то, что механическая лабораторная работа со словом позволит заговорить ему о новом на новом языке. Старая вера в художественный образ была сброшена им с корабля современности как изжившая себя. Он не предполагал тогда, что в конце века она будет возвращена ему путем его собственных трагических усилий в форме духовного и теоретического вывода о том, что только «художественный образ своей идеей

поднимает действительность к новому пониманию» (П. Палиевский).

Уроки блудного сына русской поэзии отражены в одном из самых пронзительных, может быть, стихотворений XX века – «Это было давно» Николая Заболоцкого. Вспомните – притча ожила в современном сюжете, не потеряв не только своего первоначального смысла и направления, но приобретя бесценную национальную окраску характера и образа. Вспомните: «Это было давно. Исхудавший от голода, злой, шел по кладбищу он и уже выходил за ворота. Вдруг под свежим крестом, С невысокой могилы сырой Заприметил его И окликнул невидимый кто-то. И седая крестьянка В заношенном старом платке Поднялась от земли...»

Страшно подумать, что стало бы с русской поэзией, если бы эта крестьянка... «седая крестьянка в заношенном старом платке» не подала бы ему, а он не принял бы ее «подаянья». Вот тогда и случилось самое главное: «И как громом ударило // В

душу его, и тотчас // Сотни труб закричали // И звезды посыпались с неба. // И, смятенный и жалкий, // В сиянье страдальческих глаз, // Принял он подаянье, // Поел поминального хлеба». Так случилось прозрение. И это было прозрение не единичного литературного персонажа, а всей живой русской поэзии в определенный исторический момент – в лице ее образумившегося и прозревшего сына.

Обращаясь сегодня к античности, С. Аверинцев напоминает нам о том, как «рассказывает историю живописи Ренессанса Вазари в XVI веке: все начинается с Джотто, до этого было варварство, которое кончилось возрождением античной традиции живописи». То живопись! Но мысль о том, что всякое варварство кончается возрождением, является сегодня основополагающей в мировоззрении большей части наиболее талантливых молодых литераторов, чей путь и вера неразрывно связаны в первую очередь с традицией (ибо «традиция – со-



Члены товарищества «Беседа». Слева направо: В. Артемов, П. Горелов, А. Поздняков, Л. Баранова-Гоңченко, В. Казакевич, Вл. Сидоров, В. Карпец, М. Гаврюшин, Сергей Куняев.

весть поэзии».— Т. Глушкова) и во вторую—с горьким опытом блудного сына.

Итак—возрождение как непреодолимая реальность, как идея. Отсюда—возрожденческая.

Теперь о пляеде. Плюрализм и «изничтожение ценностей во имя абсолютной критики»—всегда удел слабых духом и самой ослабленной духовности, которая постоянно впадает в очередные метаморфозы нигилизма с целью скрыть пустоту, зияющие дыры недооформившегося сознания, чтобы просто оправдать собственное существование в культуре. Разрушение—всегда удел нищих. Недаром ведь и не без основательного опыта было сказано: «Как трудно общество создать! Оно устроилось веками, гораздо легче разрушать безумцу с дерзкими руками» (Н. М. Карамзин).

Объединиться под знаком плюрализма, цинизма, нигилизма и так далее—может всего лишь группа. Негативизм, по самой своей природе не способный к духовному объединению, может стать дырявой крышей именно для группы, для экстремистского компанейства. Отсюда порочное порождение—группа, групповщина... Дурное дело—не хитрое—оно группирует.

Не то—пляеда! В ее духовно согласных основах не может не быть заложена глубоко положительная, не близоруко перспективная, а дальнорочно интуитивно выверенная программа. Под ее духовными сводами созидают, а не разрушают.

Название нашей молодой российской пляеды (Возрожденческая пляеда) отсылает нас, прежде всего, к французской поэтической школе XVI века, вошедшей в историю литературы как поэзия Пляеды (Дю Белле, Ронсар, Жодель...). Итак—пляеда. И таким образом—Возрожденческая пляеда.

Что же роднит современную молодую российскую пляеду с французской? Прежде всего, серьезное отношение к национальной традиции, вне которой поэзия обрекает себя на бесплодие.

«Первым теоретическим манифестом новой школы,—указывает исследователь,—стала «Защита и прославление французского языка» Дю Белле». Родство здесь, конечно, условное, как и само определение—возрожденческая. Ведь если для теоретика французской Пляеды культ античности—залог обновления национальной поэзии, то для российской пляеды залог обновления, выживания, жизни—возрождение (а точнее—воскресение) древней русской культуры и бесперебойное дыхание классики.

«Временник» Ивана Тимофеева времен Смуты—отнюдь не архивная забава для современного молодого русского литератора. Он видит в нем след пророческий и смысл актуальный: государство—власть—личность.

В «Дне поэзии-83» стихотворение Владимира Карпеца «Шишков в 1812 г.» уже тогда читалось как один из основных пунктов общей программы: «Люблю звучанье слов, их корни, их значенья и древний смысл в словах сокрытого свеченья. Вот

бьет ключом родник, вот он уже—река, и вот уже струя родного языка течет среди лесов и пажитей, пока вдруг не откроет смысл и замысел теченья». Можно ли считать это упоение отечественным корнесловием возрождением (воскресением!) канона? Да. И это, естественно, не вызывает уже стыдливого смущения у представителей Возрожденческой пляеды. Это не подобострастие перед канонами, а здоровое, точное гражданское и эстетическое ощущение аристократизма канона, его идеального свечения, без которого немислимо рождение поэтического вдохновения.

Даже в полемическом запале, через образ страшного отрицания Михаил Гаврюшин выходит к убедительному доказательству непобедимости и бессмертия морального и нравственного канона в стихотворении «Купель»:... «Ты плывешь, распластавшись крестом, по зеленой воде атеизма стилем браас до стены, а потом вольным стилем... Так знай, что Отчизна здесь отпела веселых гусар, злых казаков, литых кирасиров... Свечи грели здесь их имена, кровь, застывшую в розовый мрамор. Бородинскому полю страна посвящала величие храма. Ну! Плыви, закусив удила... Все опустимся тихо на дно мы, а вода отразит купола, а потом кивера и шелома».

Возвращение к отчему дому, отчему порогу—это не слезливая сказка на сон грядущий русской поэзии. Это удесятеренная опытом твоего народа непреложная истина, добытая в самых страшных и кровавых спорах. Понимая это, поэт берет на себя огромную ответственность и право утверждать: «Мы можем все, но только под Москвой». Это заключительные строки стихотворения еще одного представителя Возрожденческой пляеды—Александра Позднякова. Само же стихотворение также является как бы частью ее духовной программы и потому не может не быть высказано читателю полностью: «Клинок метнулся молнией из ножен. И в горы двинулся бесстрашный строй. Там кровь кипит и льется—за горой. Но будет меч в ножны без славы вложен. Атака вновь и вновь, опять одно и то же. Как силы ни копи, хоть трижды их утрой, хоть расшибишь, хоть вылезь вон из кожи... Мы можем все, но только под Москвой».

Хотелось бы обратить внимание, что Возрожденческая пляеда формулирует свои манифесты чисто поэтическими средствами, а именно—идеей художественного образа. Вопрос о новых словообразовательных моделях, в первую очередь занимающий ее оппонентов, не может считаться ею самостоятельным вопросом поэзии. Этот вопрос органически сливается вместе с другими в горнилах ее сознания. Выделить его—значит заставить слово поклоняться идолу структуры. Слово же в моральном кодексе Возрожденческой пляеды подчинено единственному закону—закону всеобщей совести. И потому «ненастное» оно или «лазурное» (как у Михаила Шелехова), оно—живое, и, значит, у него есть будущее.

Сергей Щербаков

ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ

Сладкий запах фенола
Этим летом преследовал нас.
Тяжко бремя раскола
Между небом и цехом пластмасс.

Но (не странно ли это?)
Для любимой подруги своей,
Задыхаясь, все лето
Над Мытищами пел соловей

Так, что дымом давились
Заскорузлые трубы печей
И на небо просились.
А нам не хватало ночей

Под березовым кровом,
Где высокая вяла трава,
Где в плену бестолковом
Закружилась моя голова.

Только желтая вьюга
Все обильнее день ото дня.
Не с того ли подруга
Отпустила на волю меня?

Сердцу плохо на воле.
Там давно соловей не поет.
Отравили бы, что ли.
Или даже закрыли завод.

Владислав Артемов

МАРЬЯ ЗАЖГИСНЕГА

Родилась ты из неба, из света,
Из грозы, из воды и огня,
Из весны, из простора и ветра...
Ты ведь вправду любила меня?..
Пусть денек был дороже, чем год,-
И вскипали веселые реки,
И ломался угрюмый лед.
Что за ветер над родиной дунул,
Ты прошла - снега подождла...
Я привык к холодам. Я не думал,
Что ты так была мне нужна!
Я теперь от тебя не отстану,
Ты прошла у студеной воды -
Пробудившимися садами
Прорастали твои следы.

Я вовек не видал такого -
Как зеленой кровью - жива! -
Из-под камня, из-под бетона
Молодая сочилась трава.
Поглядела ты нежно и грозно -
Расступилась ночь пред тобой,
И дотла догорели звезды,
И вода осветилась зарей!
Прозвенела ты словом вещим
В зверьих криках и голосах,
Над челом твоим - солнце блещет,
Хлещут молнии в волосах.
Свет твоей золотой короны
Разлетелся во все концы,
И осыпались с неба вороны,
И запела капель и скворцы.
Я готовлюсь на всякий случай -
Там соперник мой, погляди, -
Молодой, веселый, могучий
Гром - рубаху рвет на груди!..
Я на гибель готов и на счастье!..
Если ж чувства лукавят и лгут,
Пусть меня на четыре части
Ветры дикие разорвут!
Вот и птицы мои... Прилетели...
Ждут чего-то... В зрачках - вопрос...
Пойте, птицы!
Даст бог - в апреле
Не ударит
Внезапный мороз.

Владимир Сидоров

ЯРОСЛАВСКОЕ ШОССЕ

Ты не плачь, что все дальше увозит автобус.
Посмотри за окошко - какие поля!
Не в разводах смешных ученический глобус,
А - вот именно - наша с тобою земля.

Там, за пыльным стеклом, как во сне проплывают
Города и деревни, леса и мосты.
Солнце крест золотит... Разве лучше бывает?
Это Русь - никуда не уехала ты!

То не храмы ли лаврские с чудною силой
Все живое сумели в дни смуты собрать?
Вы глядели со стен, и сказал тебе милый:
«Вишь, похитчиков сколько. Пришли умирать».

Это было давно и как будто не с нами,
И иные топтали наш край племена.
Почему же сухими от счастья губами
Повторяем и ныне мы те имена?

Слобода Александрова. Город Залесский-
Переславль. И озерное чудо – Ростов.
А земная-то ширь! А простор поднебесный!
Будто кто отодвинул гремучий засов!

Здравствуй, Родина-мать, наша боль и награда!
Ни о чем не прошу – только дай послужить!
Не грусти, говорю, слышишь, плакать не надо.
Это наша судьба. Надо ждать, надо жить.

Александр Поздняков

* * *

В последний раз ударил пулемет.
И замолчал. Из дыма и тумана
Кровавый коршун медленно плывет –
И падает на пыльный труп душмана.

Они теперь воротятся назад.
А мы опять среди них не различили
Угрюмый призрак гордого Шамиля,
И – кто для нас теперь Хаджи-Мурат?

И не унять мучительную рану –
Так глубоко вошел в нее свинец.
Пусть – о войне не знающий – отец
Запомнит – он отлит за океаном.

Запомнит пусть печальная вдова,
Пусть, впрочем, тем утешится в печали,
Что память вечной может быть едва ли
И что печаль России не нова...
И что высокие красивые слова
У нас давно так странно не звучали.

Михаил Попов

РАЙОННЫЕ ТАНЦЫ

Вот так наша юность проходит,
туман над поверхностью вод
густеет (его производит
районный молокозавод).
Мы выйдем на лодке с мотором
на реку, заглушим мотор,
усадемся рядом и хором
внимаем родимый простор.

Мы оба учились по восемь,
и оба сидели по пять,
и что, на туманную осень
за это нам, что ли, пенять?

Проплыв под цементную арку
и встав у продрогшей ветлы,
мы слышим, по нашему парку
поют, заливаясь, «Битлы».
На досках родной танцплощадки
районная вся молодежь,
так что же ты, как от свинчатки,
лицо свое набок ведешь?!
Взгляни, через наши задворки,
туманом навек обелен,
на веслах великой четверки
плывет и поет Альбион.

Вечеслав Казакевич

КРЕСЛО

В инвалидном кресле на колесах
едет мама по цветам белесым.
Торопливо по блаженным цветам
я иду за нею по пятам.

Застревает кресло в каждой яме,
но все дальше уезжает мать.
Я бегу огромными шагами,
не могу никак ее догнать.

Леонид Володарский

* * *

Дракула любил пировать среди посаженных на кол,
А царь Иоанн – ударяться в опричный разгул.
Их жертвы какой-нибудь ветер случайный оплакал,
Да старый юродивый скорбно крестом громыхнул.
Зато венценосцы в гробах истлевают роскошных,
Кошунственно спрятав себя под лохмотьями ряс,
И все еще трогают мысли ученых дотошных,
Которые призваны мир описать без прикрас.
И страшно, что нету возможности у летописца,
Пусть даже имел бы во лбу и седьмую он пядь,
Увидеть замученных невозвратимые лица.
А можно портреты мучителей лишь увидеть.

Наталья Попельщева

ДРУГУ

В твоей стране предельного лиризма
Жилая ограниченная призма
Застыла косо, места не найдя
На отмели широкого дождя.

Каких еще источников элегий
Тебе желать? Страна – густая сеть
Большой воды. Все плыть по ней и петлять
Под натиском высоких привилегий!

Вода обнимет холм. Увидишь сам:
К таким холмам притягивают беды,
Что впору там отстроить внове храм,
Разрушенный навеки, в честь победы.

А под горой над чашей луговой
Изба два яра огородом свяжет.
На грядках расцветающий покой
Бессонным размышленьем честно нажит.

Храм на холме. Изба, где яр и яр.
И радости неотвратимый дар.
А пуле мирового катаклизма
Не сжечь пера предельного лиризма.

Московская организация писателей шефствует над Коми АССР. Осенью минувшего года группа московских литераторов помогла коллегам из Сыктывкара провести семинар молодых поэтов и прозаиков. Представляем в «Дне поэзии» стихи участника поэтического семинара – двадцатилетнего Владимира Пономарева, явно имеющего «лица необщее выражение».

Владимир Пономарев

* * *

Появлюсь растворенною в воздухе светлую тенью,
Поплыву за тобой, притаившись за чуткой спинойю,
Нагляжусь на тебя, на твою откровенность с собою,
Налюбуюсь на честность в минуты беспечной
свободы.

Ты посмотришь в окно, удивишься величию неба,
Удивишься себе, подглядевшей Вселенскую тайну,
И замрешь у окна, позабыв обо всем, что ничтожно,
Обо всем, что мгновенно пред этим Прекрасным
и Вечным...

А когда ты устало очнешься от дум бессловесных
И, у зеркала встав, поглядишь на себя
отстраненно –

Ты увидишь в знакомом, земном, осязаемом теле
Отраженье того, что, как небо, прекрасно и вечно.

Удивившись себе, подглядевшей Вселенскую тайну,
Не успеешь постичь все значенье такого открытья:
Онемееет спина от волны безотчетной тревоги
И всезнающий мозг не обманет безлюдность уюта.

Оглянувшись невольно, успеешь бесстрастно
заметить,
Как качнется, мерцая во тьме, ускользящий
облик,
И подумаешь, видя в углу голубое мерцанье,
Что остался в глазах твоих свет от оконного
неба.

Я поспешно исчезну в стене под невидящим
взглядом;
Может быть, по привычке миную закрытые двери;
Снова вспомню тебя, чистоту и беспечность
свободы
И вернусь в неподвижно лежащее грузное тело.

* * *

Исток побед и срама
Тревожных, смутных лет –
Моя Святая Мама
Дала мне боль и свет;
Вот речевая гамма, –
Когда мой крик затих,
Моя Святая Мама
Мне спела первый стих.

Когда я, в пене зыбкой,
Не зная, что тону,
Легко плыву с улыбкой
К мерцающему дну,
Из толкотни и гама,
Узнав, что я в беде,
Моя Святая Мама
Приходит по воде.

Как ярко светит пламя
Нешадного огня! –
Теперь, Святая Мама,
Не убережь меня.
Но, видя: вьется пламя
И я сгораю в нем,
Моя Святая Мама
Кружится над огнем.

* * *

Ты один у стены на кровати, душа твоя плачет,
И глаза твои плачут, наверно, упорно и глухо,
И спиною своею ты давишь в лицо мне как правда,
От которой мне хочется стать никому не известным.

Лишь сейчас я узнал, как меня ты отчаянно
любишь,
Как ты веришь в слова, для других – лишь вибрации
звуков,
Как ты веришь в меня – подлеца, приручившего
Слово,
Чтобы магией звуков обманывать ищущих Правду.

Ты истошно молчишь, потому что сказать
невозможно,
Ты стыдишься меня и того, что так любишь
мой облик:
Мне мучительно стыдно того, что я сделал с собою,
Заставляя людей превращаться в двуногих
животных.

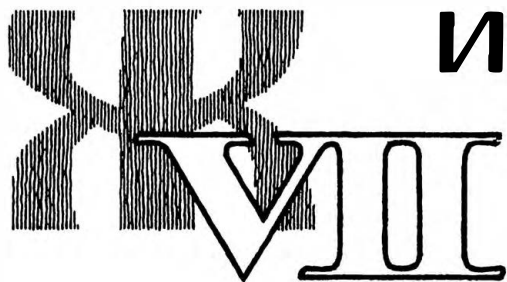
Ты убит навсегда – ты увидел предательство Слова.
Ты убит навсегда – ты увидел ничтожество духа.
Ты убит навсегда – ты наткнулся раскрывшимся
сердцем,
Неготовым к защите, на каменность сжавшихся
пальцев.

* * *

Сладко пахнет сиренью, неловко летит мотылек
Между пулек дождя, покрывающих шепотом
землю;
Я чужие когда-то глаза осторожно привлек,
Чтобы им показать, как цветы прикрепляются
к стеблю.

Но не даром, конечно, – была в моем сердце
корысть:
Мне хотелось украсть и сберечь для себя
восхищенье;
Я мучительно стлался по веткам,
как старая рысь,
подавляя в груди поднимавшее шерсть нетерпенье,

Я к себе приучал эти данные богом глаза,
Чтобы не испугать невзначай быстротою движений,
И, когда по кустам тяжело отбомбила гроза,
Мы одними глазами смотрели,
как мокнут сирени.



ИРОНИЧЕСКИЕ СТРОКИ

Сергей Марков

АНГЕЛ СМЕРТИ

(Шутка)

А. Д. Ротницкому

Среди господних тварей
Немало есть потерь,
И ангел смерти Арий
Стучится в чью-то дверь.

Отчетлива работа,
Отличные дела,
Ему и «Знак Почета»
На черные крыла.

Он хочет жизнь и песню
Похитить, словно вор,
Но я пошел на Пресню,
Купил двойной замок.

Напрасны все усилия...
И Арий тут как тут, –
Он кожаные крылья
Сложил как парашют.

От ада ли, от рая ль,
Сжимая ключ в руке,
Он крикнул: «Шма, Израиль!» –
На древнем языке.

Но дорогою платой
Ему ответил я,
Ошеломив цитатой
Из «Книги Бытия».

– Не ждал такого чуда, –
Мне Арий говорит, –
Помилуйте, откуда
Вы знаете иврит?

Поскромничав для вида,
Скрывая страх и грусть,
Пять строк из Маймонида
Прочел я наизусть.

– В познании Талмуда, –
Крылатый гость кричит, –
Вы превзошли Лавута,
Не он, а вы – левит!

Жить во вселенной вправе
Вы целый звездный век.
Вы – и Иосиф Флавий,
И русский человек!

Издравле в разных верах
Свет разума не гас...
Сегодня в высших сферах
Я доложу о вас!

И умиленный Арий
Неслышно полетел,
Наверно, в колумбарий,
Где много всяких дел.

* * *

Померкли сумрачные краски!
Я верен трезвому лучу;
Пост губернатора Аляски,
Возможно, я не получу.

Не буду у судьбы в опале;
Ведь непростой, наверно, звук –
В Талды-Кургане и Копале
Служить начальником наук!

Симонов – и вовсе черт-те что,
«Жди меня...» – типичное не то.

Сгинуло бы все в конце концов,
Но пришло спасенье – Кузнецов!

Он как воздух был необходим,
Понял это Кожин Вадим.

Я да он – божественный дуэт,
А до остальных нам дела нет.

Но уже замечено не раз –
Никому нет дела и до нас...

Михаил Шевченко

ДРУЖЕСКИЙ СОВЕТ

(Басня)

Маляр писать картины начал.
Спешил, чтоб не отстать от злободневных дел.
Не иначе –

Лауреатом стать хотел.
А так как у мазилы тьма друзей
Во всех правленьях,
Глядишь, тот или иной музей
Его творенья –
Поскорей
На обозренье!

Везде повсю о нем трубили –
Как будто Рафаэля вдруг открыли.
Все было б хорошо, да вот –
На выставки не шел народ...
Круг Маляра забил тревогу.
Как быть?..

Тогда один знаток сказал:
«Ты левою ногою все писал –
Смени-ка, братец, ногу!..»

ПОПУГАЙ НА ТРИБУНЕ

(Басня)

Стал Попугай главой конторы птичьей –
И сразу ощутил свое величие.
Особенно когда взлетал он на трибуны,
Чтоб трогать в душах птиц трепещущие струны.
Бывало, что ни речь, ни выступленье –
Пернатые немели в восхищенье.
А позже на ветвях, на тропках
Чирикали: «Ну вот, твердили – глупый Попка...» –
«Кто в мир пустить такое мог?..»
Какая глубина в речах! А дикция! А слог!..» –

«Нет, право, на трибуне он –
как Цицерон!..»

И Попугай уж не краснел от комплиментов,
И ширились, гремя, аплодисменты...
Не знаю, сколько бы продлилось так.
Но как-то вышел на трибуну Попугай и – бряк! –
Заверещал: «Попка-дурак! Попка-дурак!..»
И вздрогнул птичий мир: как быть?

Как все истолковать?

Нельзя ль сие за самокритику признать?..
Но волноваться тут, друзья, не стоит.

Случилось самое простое:
Наш Попугай зазнаться соизволил
И Соловья конторского уволил
Бог знает за какие прегрешенья,
А Соловей писал ему и речи все, и выступленья.
Теперь помощника ругай иль не ругай,
А Попугай предстал как попугай.
Ведь он с трибуны брякнул в зал
То, что, прощаясь, Соловей в сердцах сказал...

Да, Попугай смешон.
За Соловья, конечно, нам обидно.
А вот за аплодирующих – стыдно.

Юрий Кабанков

ДУРАК И ТВ

Душа, наполненная всклянь,
пила невиданную дрянь,
закатываясь и дуряя;
заледенелые к утру,
звенели стекла на ветру –
в объятьях, так сказать, Борея.

Хотя – скажу без дураков:
когда, наевшись бураков,
сидишь в натопленной избушке,
а сам – на площади Конкорд,
умишком безграничным горд...
(...Дурак посапывал в подушку.)

Журить за это дурака
не поднимается рука,
тем более – в стихотворенье.
Зачем он, ставни затворив,
на информационный взрыв
взирает как на представленье?

Звездой хотела быть душа –
чтобы ответить не спеша
на все старинные вопросы...
Куда старушку занесло!
В ходу иное ремесло;
физкульт-привет от Наркомпроса!

Хвала ученому, хвала!
Пишит по-девичьи шкала
под сенью моего сарая;
и телевизор, кругл, как сыр,
на некрещеный этот мир
глядит—на лица не взирая.

Над степью звезды высоки.
А здесь—сомненьям вопреки—
и до Кремля подать рукою;
и—заплутавшие в степи
стремят усталые стопы
вслед за бегущею строкою.

Дурак, пропев «кукареку»,
поймал бегущую строку
и поволок ее в столицу—
«...считать, объевшись белены...
дабы забвенью преданы...
всех не взирающих на лица...»

Игорь Грудев

К ЧИТАТЕЛЯМ

Нам все дается по труду,
Здесь на земле, под небесами.
Я вам принес стихов руду,
А радий—добывайте сами!..

СЛУЧАЙ

Решил у мыши слон
Стать повитухой...
Знать, был
Под мухой...

В КОМНАТЕ ЖИЛИЩНОЙ КОМИССИИ

А здесь святая тишина,
Она вошла с тобою...
Здесь ордера, как ордена,
Вручают после боя!..

Александр Бобров

ИЗ ЦИКЛА «КАК ЖИВУТ ПОЭТЫ»

* * *

Было время, когда нам казалось:
Не угаснет к поэзии страсть.
И такая толпа собиралась—
Просто яблоку негде упасть!

А теперь у другого прилавка
Собирает иная напасть,
И такая за «Яблочным» давка—
Просто негде поэту упасть.

* * *

С трибуны ЦДЛ вещал поэт
В докладе, так сказать, в отчетных строках:
«Поэт—пророк! Призванья выше нет...»
Смешно звучит: собрание пророков.

* * *

Что такое лирическая героиня?
Это образ придуманный или живой?
День рожденья имеется, отчество, имя?...
Это все пусть поэт выясняет с женой!

А читателю нет ни малейшего дела,
Он не любит бухгалтерски-скучных счетов,
И вообще—он скорее похож на Отелло:
Дездемоне не верит,
а Яго поверить—готов.

СТАРИК ДЕРЖАВИН

Мой первый мастер по работе
Сказал мне жесткие слова:
— Стихи стихами. Я не против,
Но ты, брат, план давай сперва...

Не будет плана, что я стану
Стихи начальнику читать?

Он прямо скажет: — Знаешь, Пушкин,
Я не Державин, я—Багров.

Игорь Ляпин

Квартал кончался, вышли сроки,
На производстве—вновь аврал,
Но я не трубы гнул, а строки.
Порой такое загибал...

И мастер мой, мужик-рубаха,
Из клубов дыма выплывал,

Серьезно слушал, жестко ахал
И, багровея, посылал:
– Ступай, трудись! –
Но с прежним жаром
Я рифмовал: «аванс – о вас».
– Скажи-ка, дядя, ведь недаром? –
Интересуясь всякий раз.

Мой первый мастер (взгляд опущен:
Бранить стыдятся на Руси)
Возьми да ляпни: – Знаешь, Пушкин,
Ты у начальника спроси.

И входит старец весь в мундире,
А орден – не сосчитать!
И начал я бряцать на лире,
Куплеты звонкие читать,
Что красовались в стенгазете...
С надеждой взгляд его ловил.

Старик Державин не заметил,
Ушел
И не благословил!

НЕПЕРЕВОДИМО

Не шала с любовью, не балуя,
От живого чувства не беги,
Береги, девчонка, поцелуй,
Да смотри не пере-бере-ги!..

Хочу сказать, как я тебя люблю,
Но это непере-водимо.

Лев Ошанин

Увлекаясь пением Кобзона,
Ты хоть раз, девчонка, позови
Публия Овидия Назона
И его поэму о любви.

Или почитай мои баллады,
Близостью – читательской – пьяни.
Ты цени стихи и все что надо,
Да смотри не пере-оце-ни!

Полетим, девчонка, через Кольский,
Самарканд, Самару, Сомали.
В космос чувства – путь, конечно, скользкий,
Но и там с любовью не шали.

Просто верю, что преодолима
Проза жизни...
Через год придет
Телеграмма: вышли перевод...
Знаешь, это не-пере-водимо!

Юрий Чистяков

ИЗ Э. БУША

Как было в оны времена,
Так и поныне есть, не скрою:
Счастливей тот живет порою,
Кому карьера не нужна.

А тот, кому она нужна,
Труды большие прилагает.
Сизифов труд напоминают
Его усилия сполна.

Как тяжко вверх ведут ступени,
Но без труда ты вниз летишь
И наверх с горечью глядишь,
Отбив и локти, и колени.

Так вспомни мудрое преданье,
Оно касается всех нас:
Оттуда черт столкнет тотчас,
Куда нас бог ведет годами.

Анатолий Брагин

ОПРАВДАНИЕ

Однажды два леща,
Ершишку в суд таща,
Его шпыняли, понахмутив брови:
– Пойдешь к судье, сопляк,
И сам расскажешь, как
Ты щуке распорол губу до крови!

Живут же вдоль реки
Такие поплавки,
Ни вяленья из них
И ни копченья!
– Я для уха хорош, –
Оправдывался ерш, –
У каждого свое предназначенье!

– Слыхал, друг лещ?
– Слыхал!
– Ну и нахал?
– Нахал!
– Ты на кого, корявый, поднял руку?
На ту, что с давних пор
Наш охраняет корм
От мелочи прожорливой,
На щуку!
Давай входи живей!
Да не сюда, левой!

Ишь, дьявол, завертелся, как на шиле!
Вот если бы не суд,
Вот если бы не тут,
То мы тебя бы
Сами придушили!

Судил его судак,
Философ и добряк.
И, выступая с речью знаменитой,
Суд праведный верша,
Он оправдал ерша,
Мол, знаю шук!
И тут – самозащита.

– Не вешай, брат, щетин!
Тебя я защитил.
Да разве мог я поступить иначе!
Ты заходи как гость,
Колючки только сбрось!
Мы посидим, посудим, посудачим!

– Благодарю, судак,
Философ и добряк!
И у тебя, я вижу, закорючки!
Уж ты меня прости!
Я не могу зайти,
Ведь у меня...
Несъемные колючки!

ВЗРЫВНИКИ 30-х

Взрывники сносили храмы
В честь иных святых идей,
Не учитывая драмы
Перепуганных людей.

А потом,
Когда сердито
Отступали от Москвы,
Не хватало динамита
За собой взрывать мосты.

Владислав Артемов

УЧЕНЫЙ СПОР

Вот уже скоро две тысячи лет
Ты утверждаешь, что бога нет.
Может, то этак, а может, так,
Но поспорим лучше о трех китах.
Изворотлив ум твой и быстр, как хорь,
Ну давай садись и со мной поспорь.

Будто стол хромой, что на трех ногах, –
Вся земля стоит на трех китах.
А четвертый кит любопытным был,
Заскучал чего-то, взял и уплыл.
По широкому морю плывет этот кит,
Думу думает, сам с собой говорит:
«Вот плыву уже скоро две тысячи лет –
Никакой такой Америки нет!»

Был бы он дворянин, я б сказал: «Ваша честь,
Как же нету Америки, если – есть! ..»
Но, однако, мы отвлеклись, итак,
Продолжаем спор о трех китах.

– Я лежал, весь пиджак изгваздал в пыли,
Я глядел, ребята, за край земли,
После этого думал две тысячи лет,
И такой придумал последний ответ:
«Никаких таких трех китов и нет!»

– У тебя, браток, близорукий зрок,
Трех китов и тех разглядеть не смог,
Велики киты, преогромны есть,
Уж в твои-то зрачки им верно не влезть.
Но сдастся мне, что мы спорим зря,
Что-то стала шаткою наша земля,
Знать, недаром в транспорте народ толковал:
«Кэ-эк, – грит, – ахнуло, двоих наповал! ..»

И пока мы мечемся в темноте,
Вся земля стоит на одном ките,
Но этот замученный, бедный кит
Аж до самых глаз в донный прах зарыт,
А как жажнет взрыв в двадцать кило тонн,
Проседает твердь под китом.

Закричишь ты, впадая в дикую злость:
– Не кит основа земли, а – ось!

– А поди на Север, у народа спроси.
«Нету, – скажут, – здесь никакой оси! ..»

Но пора подводить итоги, итак,
Пару слов в заключение, но не о китах,
Вывод мой совершенно ясен и прост:
Вот вы жалуетесь, что нет ни луны, ни звезд...
Я, глаза прищуриив, на вас погляжу,
Вздохну три раза да и подскажу:

– Ночь придет, вы всё сами увидите,
Но сначала на улицу выйдите.

Виктор Завадский

«КУКАРЕКУ!»

Я б мог, конечно, прибодрясь,
еще покукарекать...
...Давно уже тенор покинул
меня
и я обхожусь баритоном...

Анатолий Софронов

Кто знает обо мне – таком?
А я, уж вы простите,
был знаменитым петухом:
подшефных кур спросите!

И в яйценосном их кругу
еще я тем был ценен,
что исполнял «кукареку!»
как знаменитый тенор!

Но вот я потрафлять устал
своим куриным массам,
мой тенор баритоном стал,
а баритон мой – басом.

И в бас мой вкралась хрипотца
и сипотца.
Я знаю,
что кур я в качестве певца
не удовлетворяю.

Решившись (не было греха!)
проверить: так я плох ли,
такого дал я петуха,
что куры передохли!

ГЛАЗАМИ ЛУПАЯ

(Татьяна Смертина)

Нет терпезу –
Из дома выхожу.
А во дворе стоит
Коза глупая,
На меня глядит,
Глазами лупая.
Бородой трясет,
Наблюдает:
Мой баской придет –
Забодает.
За козою-то корова
Нежно мыкает,
И – здорово, мол, зарёва! –
Ногами брыкает.
Жалуясь на жилплощадь,
Заржала лошадь.

Гляделки напрягая,
Лошадь запрягаю.
А лошадь-то черна,
А ночь-то темна,
Не видно ни хрена,
Еду – пощупаю:
Тут ли она,
Некрещена сатана.
Где хвост, где голова –
Сама не ведает.
Те кричу ей слова,
Что не следует.
Тьфу! – нечиста сила –
Меня не простила:
Хвост задрала –
Свое взяла!
В смущении
Попросила прощение
За филологическое упущение...

Фридрих Миллер

РЕПКА

...А бабка за дедку, а дедка – за репку...
Вот так и означен их жалкий удел.
А если бы репка схватилась за дедку? –
Он, видно, бы крепче к земле прикипел.

Кипи не кипи, коли слабеньки ручки...
Есть сын, только он отделился давно.
А Жучка? А Жучка не хочет без внучки –
Так выпало в старой цепочке звено.

А внучка? А внучка, видать, белоручка,
Она горожанка – так запись гласит,
И место пустое меж бабкой и Жучкой
Надрывно само по себе голосит.

И тянут-потянут, но вырвать не могут,
А вырвут – помчатся на рынок и вот
Любимице внучке и сыну в подмогу
Отправят в столицу большой перевод.

И что ж? Получив ту прибавку к получке,
Лишь часть ее выделит дочке отец,
На рынок ближайший отправится внучка
И купит там репку... и сказке конец.

* * *

Друзья мои, земле хватает сора –
Не устилайте розами мой путь.
Все лепестки завянут очень скоро,
Зато окрепнут черные шипы,
Нацеленные в голые стопы.

* * *

В сотый раз переиздав
Строчек вымученных тыщу,
Он свернулся как удав,
Переваривая пищу.

* * *

Не будь так безмятежно груб и важен,
Забудь замашки прежние свои,
А то тебе мы сказочку расскажем,
Как муравьеда съели муравьи.

* * *

Смотреть на век,
Не опуская век.

* * *

Встречая каждую зарю,
Мы шли с тобой ноздря в ноздрю.
Но оказалось в плеске дней –
Твоя ноздря куда ноздрей.

* * *

Как сладок плен любви,
И все отдашь, чтоб только насладиться...
Как горек плен любви –
Как сладко от него освободиться.

Марк Кабаков

БЫВАЕТ...

Когда расшатаны колеса,
Телега сходит с колеи
И появляются вопросы:
– Куда нас, братцы, завезли?

Но, пресекая разговоры,
С телеги слазит ездовой
И крутит гайку до упора
Своей мозолистой рукой.

Сергей Мнацаканян

ПИСАНИНА ИЗ КНИГИ
«ЗОЛОТАЯ ЛИРИКА КАНЦЕЛЯРИЙ»

Писанина,
одолела писанина, прицепилась цепче колкого
репья, все столы и все шкафы заполнила, даже в
душах пишмашинками скрипя...

Зам. отдела что-то шпарит зав. отделу – доклад-
ная эта явно не по делу,
а в ответ уходит в сущности не лучшая – обес-
мысленная заводом резолюция...

Из порожнего в пустое перегонка – это, может
быть, вредней, чем самогонка:
исходящие, что копятыя пластами, пахнут лада-
ном с чинушными маслами.

Писанина оплела как паутина – вот и влип ты,
мой товарищ дорогой, поучительна бумажная пу-
чина, где не сыщется тропинки никакой...

Писанина засосала как трясина, а трясиночка
целуется взасос, и поскрипывает вроде клавиатура по
архивам архаическое СОС...

Запыленные архивы неприличны. Канцелярские
эпистолы – эпичны... Кто б воскликнул – ну хотя бы
для примера: «Мы создали коллективного Гомера!»

Сочиняют министерства, как дурдомы, допол-
нения уставов и программ, и сшиваются бесчислен-
ные томы исключительно бездарных стенограмм...

Подтвердите предписание к назначенью, – отве-
чаем: подтверждаем подтвержденье, исходящий
семь дробь восемь – десять пять, подтвердите ут-
вержденье, вашу мать...

Утверждаем подтвержденье назначенья, повто-
ренье предписанья – мать ученья зпт входящий во-
семь тридцать семь – по инстанциям запарились
совсем!

Неужели на собраниях оторали – и уселись за
писания опять? О чиновные посланья – не пора ли
полстраны в Союз писателей принять?

А меж тем гудит сановная лавина: как из шланга,
до чего ж нехороша, хлещет мутною струею писа-
нина из зажатого в руке карандаша.

Вы попробуйте ненужное отбросить: не хватает
пониманья и любви,
образуется трагическая пропасть между этой
писаниной и людьми.

И сиятельный вельможа (ну и рожа) с похмелюги
строчит новый циркуляр – от горячей писанины
веет пар, – чистый воздух стоит во сто крат
дороже.

Но пока, как говорят, контора пишет – и подтачивает
дело и мозги, люди любят, и работают, и дышат –
жаль, что пылью той чиновной чепухи...

Алексей Пьянов

ВСПОМИНАЯ ДРЕВНИХ

(Подражание Евгению Винокурову)

ПРОСТИ, ПЛАТОН...

Зря
Не послушались Платона.
Учил он: «Лириков гони!..»

И вот дождались:
В наши дни
Их больше,
Чем в морях планктона,
Куда ни глянь –
Кругом они.
Девиз их: «Лирику гони!!»

Какие в них
Открылись грани!
Кто слаб в глаголе,
В слогe плох,
Тот на полях
Словесной брани
Иль на ристалищах собраний
Бушует, аки Архилох.

Платон, Платон,
Предвидя это,

Ты отвратить хотел беду.
Но и во времена куплетов
Есть среди лириков
Поэты.
Ведь ты не их имел в виду?

ПРАВДА ОБ ЭПИКУРЕ

Как порой убого – на смех курам! –
Наше представление о былом...
Вот возьмем, к примеру, Эпикура.
Что мы знаем, в сущности, о нем?
«То есть как? –
Воскликнет и младенец.
Был такой,
Не ведавший забот,
Сибарит, гуляка, наслажденец,
Стриков циничный
Антипод...»
Ваши представления рутинны.
Я пристрастием к байкам
Не грешу.
Я для вас реальную
Картину
Жизни Эпикура
Напишу.
Греция. Убогая избушка.
Жесткая циновка на полу.
Луковица. Черствая горбушка.
Амфора разбитая в углу.
Бледный серп
Висит над мокрым лугом,
Смех русалок
Слышен на реке...
Эпикур
Ведет беседу с другом,
Чашу чуть качая на руке.
Речь его неспешна и невинна.
Женщины в ней – вечное табу.
Траченная молью мешковина
Еле прикрывает худобу.
Тень оливы
На циновке пляшет.
За окном, толпясь, бегут года...
Загляните
Эпикуру в чашу.
Там вода,
Обычная вода.

Станислав Золотцев

МОНОЛОГ ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА

... И вот зазвенел, полетел, запел, как старинная
тройка, долгожданнейший клич, прекрасный глагол –
перестройка! И тот, кто вчера еще был
старовером дремучим, сегодня с трибун перестройке
учит.

А эти – в панике, а те – в суете: одни шумят, что
не хотят, другие пищат, что не могут, а третьи
надеются, что все это канет как сквозь решето. А я
спокоен. Мне-то что!

Не привыкать... Ведь я всю жизнь только то и делаю, только тем и занят, что перестраиваюсь. Вернее – всю мою жизнь только это и делают со мной:

перестраивают, переделывают, перевоспитывают, перековывают, перелопачивают, переиначивают, перекачивают кровь мою из пустого в порожнее по артериям системы перепроизводства передовых способов переплавки древнего пережитка, именуемого душой человеческой, – в нечто очень эластичное и легко поддающееся растяжению и сжатию без потери, имеющее качества и льда, и огня, – перестраивают меня

так, что я – уже не я, а сплошное «пере» – перегнавший, перевыполнивший, перенявший и передавший опыт, и так далее... Перенасыщенный всеми возможными последствиями всех возможных экспериментов надо мной.

Я уже сплошное «пере». Я уже старая перечница, и тем не менее вновь поступает инструкция переменить конструкцию этой перечницы, ибо она вмещает слишком мало отсутствующего на прилавках перца. А мне не привыкать! И мне не жаль мое единственное сердце, которому все равно предстоит перестраиваться под воздействием обширного инфракта...

Лишь одного хочу: чтоб кто-нибудь когда-нибудь понял, что человеку хочется быть прежде всего – самим собой, а не болваном для шитья и кройки. И это – высшая цель в любой революции и перестройке!

Борис Брайнин

МОЯ ГЕОГРАФИЯ

(Олег Дмитриев)

Певец одной любимой темы,
Узнав Москву от сих до сих,
Я понял, братцы, суть системы
В названьях улиц городских:

Берется справочник Союза,
И нужный перечень готов, –
Повсюду поселилась Муза
От площадей до тупиков:

В честь Винокурова, Боброва,
И Волгина, и Воробьева,
В честь Луговского, Дербенева
Шоссе и переулки есть.

В честь Журавлева, Соколова,
Савельева и Михалкова,
В честь Лазарева, Лихачева,
Васильевой Ларисы в честь...

Но все ж по месту для прогулок
Всех Ю. Семенов обогнал:
По набережной – в переулок –
На площадь, улицу и вал.

Не позабыт и день вчерашний,
И, в будущее кинув взгляд,
В честь Димы Сухарева башню
Опять построят, говорят.

Куда ни глянешь: слева, справа
Полно имен друзей моих...
Есть и Проломная застава
Для графоманов пробивных.

И явно в пику Иванову,
Чтоб накрутить прохвосту хвост,
В честь всех поэтов Кузнецовых
Открыли вновь Кузнецкий мост.

... Москву любя и обожая,
Иду по средней полосе.
И очень сильно уважаю
Себя на Дмитровском шоссе.

СТРОГОСТЬ НАИЗНАНКУ

... Был строг снаружи и с изнанки.

Вл. Савельев

Он жил в быту предельно строго:
Ходил в носках на босу ногу,
А вместо брюк носил очки.
Такси на дух не признавая,
В метро, троллейбусе, трамвае
Он экономил пяточки.

Святая совесть женсоветов,
Он наложил запрет на вето,
Избрав маршрут: работа – дом,
Где, вместо сладких запеканок,
Ел только дырки от баранок,
Не диетических притом.

Любитель бега и зарядок,
Такой же строгий распорядок
Он и внутри себя завел.
И часто слышится снаружи,
Как, разгильдяйство обнаружив,
Кишка кишке читает протокол.

Юрий Паркаев

МАГОМЕТ

Если гора не идет к Магомету,
то Магомет идет к горе.

Восточная пословица

Если гора не идет к Магомету,
то Магомет отправляется к ней:
тот, кто придумал пословицу эту,
знал, что последнее будет верней.

Вот Магомет оседлал Аргамака
и приторочил кинжал у бедра...
Ну и чудак этот парень, однако,—
очень нужна ему эта гора!

Слушай, джигит, не метайся по свету!
Хочешь, тебе я открою секрет:
если гора не идет к Магомету,
значит, не нужен горе Магомет!

Олеся Николаева

ОТРЫВКИ

Судьба иностранца в России похожа на ключ,
только вот
теперь уж никто не отыщет тех славных дверей
и ворот,
тех шкафчиков, тех секретеров, тех ларчиков
в чудной пыли,
которые с музыкой тайной когда-то открыться

могли:
ушли гувернеры, арапы, монголы и немцы,—теперь
из третьего мира арабы то в окна влезают,
то в дверь.

... Он вечно—то гость, то захватчик, то друг он,
то враг, то истец,
а то и умелый строитель, а то и с товаром купец.
В нем ищут черты лжемессии, антихриста видят,
а он—
то деньги дает под проценты, то рыщет впотымах,
как шпион.

... Четыре мучительных века с тоской мы глядим
на Афон,
Максима, по прозвищу Грека, мы просим приехать,
а он,
пока мы в его переводе читаем Псалтирь по нему,
все пленником смотрит, все едет в тверские
пределы в тюрьму.

Его уже века четыре мы как преподобного чтим—
под вьюгу, под чтение Псалтири, и сосны бушуют
над ним.

... В России судьба иностранца трагична, комична,
она—
роскошна, когда не трагична; комична, когда
не страшна.

В ней видно Россию далеко, и стынут
среди утренней мглы
ампир, рококо и барокко—ее роковые углы.

Но быть иностранцем в России почетно, когда
не грешно,
надежно, когда не опасно; печально, когда
не смешно.

Он принят по высшему чину, как ангел, сошедший
с небес,
и он же взащеи и в спину крестом изгоняем,
как бес.

И то здесь страстями Голгофы окончат над ним
самосуд,
то в лучших российских покоях присягу ему
принесут.

... В России судьба баснословна, странна,
иностранна, чудна,
то праведна, то уголовна, абсурда и смысла полна.
Небесного поприща странник,—Отечество слава
свое,

ты тоже—избранник, изгнанник, чернец,
иностранец ее.

Всем миром встает на колени великодержавный
приют,
когда «На реках Вавилонских...» его домочадцы
поют.

Михаил Аксенов

ГРЫЗИ СУХАРЬ!

Какие там, простите, гонорары?
Один лишь смех! И все ж я жил на них!
Посмотришь: хлеба нет.
Сухарь достанешь старый.

Грызешь его, обдумываешь стих.
Пойдешь к друзьям.

«Да что ты! Да откуда?»

Они уж стонут:—Сами на мели!
Дороговизна, брат! А ты!.. Ты тоже мудрый!
Иди на стройку! Там твой рубль!»
Все верно. Штукатурил. Дело было.
Потом другие увлекли пути.
Другое дело властно захватило:
Бодлера бы всего перевести!

Зачем тебе?..

Да так вот. Захотелось.
Уж я корил себя, глупцом себя я звал.
А раз ты глуп—за глупость и за смелость
Грызи сухарь!

А так бы суп хлебал!

Егор Самченко

* * *

Я сыт закрытыми фактами,
В постели валяюсь сутками.
Расстреливают инфарктами,
Удавливают инсультами,
Во тьме шныряют лопаты,
А мы ни в чем не виноваты.

* * *

Сотни птицами летят
И все время на закат!

А сегодня, а сегодня
Улетай, моя полсотня!

И червонцы на мели
Разменялись на рубли.

Все я пропил, до копейки,
Но твердо сидел на скамейке.

«Господи!»—мне сказала семья,
Когда я внутри оказался.
«Это не господи, это я!»—
Сказал я и засмеялся.

Владимир Марков

Я С НЕЮ ПРОЖИЛ 30 ЛЕТ

Я с нею прожил 30 лет
И так к ней привязался,
Что без нее и белый свет
Не белым мне казался.
Вот так бы прожил бы я с ней,
Но в мире все не прочно,
И становилось все ясней:
Она не беспорочна...
И пусть преклонные года
И в голове уж проседе...

Бесповоротно! Навсегда
Решил ее я бросить...
И не курю уж 20 дней—
Каков финал победный!
И вам пора расстаться с ней,
С привычкой этой вредной.

Вадим Рахманов

**ВАРИАНТЫ СЛОЖНЫЕ,
НО ВПОЛНЕ ВОЗМОЖНЫЕ**

ПЕРЕСТРОЕЧНЫЙ ВАРИАНТ

Ему бы место на помойке,
а он поет о перестройке.
Как контрабандная монета,
фальшив. И песня его—спета.

ПРИМИТИВНЫЙ ВАРИАНТ

Во всем находит он опасность,
в том, что есть выборность и гласность,
поскольку знает: коллектив
разоблачит в нем примитив.

НАДЕЖНЫЙ ВАРИАНТ

Он правды горькой не боялся,
в своих сужденьях не менялся.
Брал в магазине не по благу
и жил на скромную зарплату.
Работает со всеми дружно,
приспособленцев не любя...
А потому ему не нужно
и перестраивать себя.

ПОСЛЕДНИЙ ВАРИАНТ

Менял фамилию, жену,
жилье, бородку узкую...
Осталось поменять ему
теперь лишь Землю Русскую.

ОБРАТНЫЙ ВАРИАНТ

На западных харчах очнулся.
Вернул фамилию. Вернулся.
Раскаялся и повинился...
А может—снова притворился?

А в хате у бабки не радость,
 А горе,
 Прошла все дворы, не нашла никого,
 Кто мог заколоть бы на мясо его.
 Пошли мужики на овцу да на птицу,
 Бугай бугаем, а бычонка боится,
 Зарезать скотину нет силы и духу.
 Геологи вдруг навестили старуху.
 Вели изысканья какие-то тут.
 Веселые парни, прошли институт,
 В джинсах вельветовых,
 Модных ковбойках,
 Трое ребят, загорелых и бойких.
 – Слышали, мать, что нужна вам рабсила?
 – Что, дорогие? –
 Старушка спросила.
 – Слышали, нужно забить вам быка?
 – Надо.
 – Ты дай молока нам пока,
 Так вот: за убой – литр, печенку и почки!
 – Сделайте дело лишь только, сыночки,
 Разве хороших людей я обижу... –
 Парни в сарай заглянули под крышу,
 Бык покосился, а за оградой
 Овцы с козюю их смерили взглядом.
 – Ладно. Веди-ка зверину во двор,
 Нож нам не нужен, не нужен топор,
 Крепче вяжи эту тушу к столбу! –
 Парень кирпичик к бычиному лбу
 Ловко приладил, связав на рогах,
 И в десяти там каких-то шагах
 Шнур подпалил, улыбаясь старухе.
 – Чёй-то ты, миленький?
 – Все по науке!
 Это, бабуся, всего динамит,
 Трахнет немножко – и бык твой убит!
 Ну-ка, родная, скрывайся за хатой! –
 Бабка ни с места.
 – Поможем, ребята. –
 И, подхвативши старуху под руки,
 За угол бабушку вынесли внуки.
 А по шнуру между тем огонек
 Начал быку прижигать левый бок.
 Кровью глаза налились,
 А потом
 Бык разъяренный рванул
 И, столбом
 Пыль поднимая, ворвался в сарай,
 Ухнуло! Боже, дрова собирай.
 Окна полопались в бабкиной хате,
 Глина со стен на полу и кровати.
 Люди сбежались.
 В обломках сарая
 Туши овец и коза неживая.
 Ищут ребята в завале быка,
 Заднюю чать отыскиали пока,
 Та, что колхозу, – исчезла куда-то...
 Плачет старушка, унылы ребята.
 Суд состоялся. Закон есть закон.

Парни бесплатно трубили сезон.
 Новый сарай у старухи пустой.
 Бабка пустила ребят на постой.
 Вместо башки пусть работают руки,
 Так-то, ребяташки, все
 По науке.

Александр Щуплов

* * *

А мы такие осени видали,
 где травы в росах, берега в садах,
 а на собак навешали медали,
 а на меня навешали собак.

Летит, кутит, кипит моя эпоха,
 любовь и нежность отдаются в долг.
 – Эгей, мои собачки! Вам далеко
 еще до волкодавов! ..

– Сам не волк! ..

Вячеслав Орлов

ОДИНОЧЕСТВО ОДИНОЧЕСТВА

Я иногда хочу быть одинок
 Среди людей –
 Как тайна между строк.

... Я отлучаюсь часто в небо,
 Чтобы остаться одному.

Я одинок,
 Как вечно одинока
 Вселенная, глядящая на нас.

Андрей Дементьев

Когда хочу остаться я один,
 А рядом шум бумаг, людей, машин,
 Я отлучаюсь в небо,
 Чтобы мне
 Быть с одиночеством наедине.
 Но в самолете нету тишины:
 Шумят соседи, крутятся винты,
 Разносят стюардессы лимонад
 И вносят в одиночество разлад.
 Ах, жаль, что пассажирам не дают,
 Особенно поэтам, парашют.
 Аэрофлот! Нельзя ли, кроме шуток,
 Дать индивидуальный парашютик?
 О! Я б тогда повис
 Среди вселенной
 Тайственной строкою, сплошь... нетленной!

МНОГОРУЧИЕ

А почему мы старики?
Нет, мы не старики!
Четыре есть у нас руки,
Четыре есть руки.

Еще четыре у детей,
Четыре, как у нас.

У нас с тобою восемь рук...

Сергей Баруздин

Быть может, я не всех потряс,
Но я не дикобраз,
С тобой имею восемь глаз,
И все глазают враз!

Средь прочих приданных вещей
Не для супов-борщей,
Имею восемь я ушей,
Не шей – учти! – ушей.

Пусть потеряет тот покой,
Кто вовсе не такой,
Кто пишет пятою рукой
Или шестой ногой.

С восьмью руками прыть не скрыть!
Поток стихов течет!
Ах, не пора ли нас закрыть
Всех на переучет?!

Лев Щеглов

ЦАРЬ И ПОЭТ

(Из истории подхалимства)

Царь:

Не до тебя мне, стихотворец,
Отстань, отзынь, отринь, отпрянь!
Уж если ты тираноборец,
Не суй мне под нос эту дрянь.
Пиши в тиши. Таись от света
И там ходи хоть нагишом.
На роль придворного поэта
Не суйся со своим шишом.

Поэт:

А что мне толку, если кукиш
Запрячу в собственный карман?
Так шубы на него не купишь,
Не сходишь даже в ресторан.
Нет, если ты разумный деспот,
Меня ты должен обласкать,

И буду я, хмельной и дерзкий,
Тебя за бороду таскать.
А ты терпи. Пускай народы
Себе на лысины прольют
Бальзам пленительной свободы
И трон тирана заплюют.
И пусть ступени станут липки,
Ты улыбайся как божок,
Тогда державные ошибки
Лишь легкий вызовут смешок.
Простится многое за ласку,
За твой уют, за мой приют,
И про тебя расскажут сказку,
И песню про тебя споют.

Царь:

Да ты совсем сдурел, мыслитель,
Изыди с глаз долой, холуй!

Поэт:

Не возмущайся, повелитель,
Ты тоже плюнь
И поцелуй.

В СБОРНИКЕ «ДЕНЬ ПОЭЗИИ 1988»
УЧАСТВУЮТ:

Аввакумова М.-69
Авдеев А.-140
Авсарагов Б.-45
Агальцов С.-114
Агеев Н.-117
Аксенов М.-184
Алдарова М.-75
Александров И.-135
Алексеев О.-12, 122
Алигер М.-41
Андреев В.-37
Аннинский Л.-84
Анциферов Н.-153
Артёмов В.-169, 178
Ахматова А.-4
Ахмедов М.-37

Баева А.-115
Байбаков В.-127, 158
Балашов Э.-157
Баранова-Гонченко Л.-165
Башунов Б.-142
Бек Т.-73
Белинский Я.-103
Беличенко Ю.-40
Беляев М.-36
Блынский Д.-143
Бобров А.-176
Бобылев Б.-114
Богданов П.-113
Бойко И.-130
Боков В.-58
Болдырев Ю.-83
Бондаренко В.-81
Борисов М.-100
Брагин А.-177
Брайнин Б.-183
Бунимович Е.-163
Бурич В.-111
Бутенко В.-64
Бялосинская Н.-13

Вальшонок З.-111
Ванжула Н.-130
Васильев Я.-47
Васильева Л.-34
Веселова Т.-43
Викторов Б.-106
Винонен Р.-143
Вишняков М.-139, 157
Волобуев А.-180
Волобуева И.-13
Володарский Л.-170
Воронецкий М.-138

Вьюнник Л.-110
Вьюнов В.-137
Гаврилин В.-9
Гаврилов А.-152
Гаврюшин М.-168
Гандлевский С.-162
Гершанова С.-120
Глушкова Т.-6
Гнеушев В.-65
Говоров А.-113
Головатый Г.-67
Голубев Б.-120
Голубков Д.-4, 145
Гольцман Я.-123
Горбовский Г.-139
Гордейчев В.-133
Горелов П.-78
Григорьева Л.-38
Грудев И.-176
Гумилев Н.-3
Гусев В.-85
Гусинский Ю.-58

Дагуров В.-121
Дементьев В.-80
Демидов В.-48
Денисов Ю.-89
Диков В.-116
Дмитриев Н.-126
Дмитриев О.-34
Друк В.-165
Дубаев М.-96
Дудин М.-133

Евпатов В.-117
Еремеев Г.-99
Ефремов Ю.-7

Жданов И.-91
Жигулин А.-60

Завадский В.-179
Завальнюк Л.-64
Зайцев Г.-33
Замятин Е.-18
Заурих А.-154
Зафесов Ю.-128
Зверев О.-120
Злотников Н.-111
Золотцев С.-36, 182
Зорин А.-6

Иванов А.-174
Иванов Г.-8
Иванов Гр.-26

Иванова А.–42
Иртеньев И.–164
Искренко Н.–164

Кабаков М.–181
Кабанков Ю.–141, 175
Казакевич В.–170, 186
Казанцев В.–116
Калюжный Г.–116
Карпеко В.–67
Карпец В.–168
Карпунин Г.–132
Кибиров Т.–163
Коваль-Волков А.–99
Ковальджи К.–70
Ковда В.–115
Кожин В.–86
Козловский Я.–66
Кондакова Н.–91
Корин Г.–100
Королева Н. В.–33
Королева Н.–115
Коростелева В.–45
Кортаев В.–134
Костюрин Д.–45
Котенко Н.–44
Котюков Л.–74
Кочетков В.–98
Кочетков О.–97, 158
Кравцов А.–97
Красиков С.–118
Краско В.–73
Краснова Н.–141
Крыжановский С.–47
Кузнецов В.–68
Кузнецов Ю.–157
Кузнецова С.–117
Кузовлева Т.–124
Куницын В.–81
Куняев С.–103
Курбатов В.–10
Кучуков П.–39

Лаврин А.–163
Лазарев В.–108
Лакербай Ю.–37
Левин Г.–62
Леонович В.–102
Лесняк Б.–56
Липкин С.–106
Лиснянская И.–64
Лисянский М.–72
Логинов Ю.–137
Луговская М.–123
Лудяков Н.–110
Лукьянов В.–150
Львов М.–54
Лысенко В.–77
Люшнин Г.–100

Ляпин И.–49
Мавр Ян–149
Маймуна–120
Макаров В.–13
Малышев В.–137
Манзуркин Л.–5
Марков А.–70
Марков В.–185
Марков С.–4, 173
Матвеев В.–105
Матвеева Н.–31
Матусовский М.–62
Медведев А.–42
Межиров А.–32
Мельников Ю.–102
Миллер Л.–102
Миллер Ф.–179
Михановский В.–109
Мнацаканян С.–14, 181
Могутин Ю.–112

Набоков В.–28
Николаева О.–76, 184
Николаевская Е.–131
Николюкин И.–186
Никонычев Ю.–127
Новоселов Н.–114
Ногтева М.–41
Новосельнова Н.–98

Облог А.–61
Оболдуев Г.–51
Одинцова Л.–44
Олзоева Л.–7
Орлов В.–187
Осинин В.–75
Осинина Г.–124
Ошанин Л.–180

Палванова З.–118
Пальчиков (Элистинский) В.–116
Панченко Н.–126
Паркаев Ю.–69, 184
Парпара А.–109
Парфентьев В.–36
Парщиков А.–162
Перкин В.–101
Петренко С.–43
Поделков С.–46
Поздняков А.–6, 170
Поликарпов С.–14
Пономарев В.–171
Постникова О.–123
Попельшева Н.–171
Поперечный А.–93
Попов М.–170
Потехина И.–8
Прасолов А.–146
Пригов Д.–165
Примеров Б.–93

Пушкин В.-108
Пьянов А.-182

Разумовский Ю.-14
Рахманов В.-185
Реброва Т.-48
Ревенко А.-147
Рерих Н.-9
Ржавский И.-95
Роднянская И.-84
Романов Б.-35
Романова Р.-119, 157
Росков А.-140
Ростовцева И.-86
Руденко А.-128
Рутько А.-66
Рябухин Б.-39

Саблуков В.-104
Савельев В.-45
Савельев И.-14, 158
Савельев М.-42
Саед-Шах А.-121
Салимон В.-163
Самченко Е.-185
Семернин В.-35
Сербовеликов Н.-101
Сидорина Н.-108
Сидоров В.-89
Сидоров Вл.-169
Сидоров Е.-83
Симоненко В.-39
Сиротин Б.-139
Скуратов М.-5
Слепнев И.-108
Слуцкий Б.-55
Смеляков Я.-4
Смирнов Л.-107
Смирнов С.-31
Смирнов Ю.-151
Смирнов-Фролов В.-47
Смык В.-12
Соколов В.-156
Соложенкина С.-122
Солоухин В.-71
Сорокин В.-50
Старшинов Н.-92
Строгина А.-75
Ступин Г.-50
Сухорученко Г.-138
Суша С.-123
Сушкова Л.-124

Тарасевич И.-110
Тарасова М.-107
Творогова В.-12
Терентьева М.-68
Терехин Л.-100
Тимофеева М.-121

Тихомиров А.-148
Топоров В.-115
Трофименко В.-105
Тряпкин Н.-48

Ульянова Т.-102
Улыбышева М.-136
Уральский И.-186
Ушаков Д.-104

Фаик М.-105
Фаликов И.-8
Федоров В.-35
Федосова Л.-119
Федотов В.-47
Фирсов В.-124
Флеров Н.-61
Фокина О.-133
Фомичев В.-105
Френкель И.-107
Фролов Г.-62

Ханадеева В.-7
Хатюшин В.-35
Хелемский Я.-8
Хлебников О.-76
Хрилев Л.-46
Цветков Г.-135
Целищев А.-110
Цыбин В.-92

Чеканов Е.-134
Чехонадский Ю.-119
Чиков А.-7
Числов М.-87
Чистяков Ю.-177
Чуев Ф.-63
Чупринин С.-82
Чухин С.-153

Шахтаманов О.-Г.-113
Шевелева Е.-32
Шевченко М.-175
Шелехов М.-168
Шенталинский В.-15
Шерстобитова Е.-129
Шикина Л.-74
Ширяев Н.-95
Шитиков А.-96
Шленский В.-144
Шумаков Н.-101

Щеглов Л.-188
Щербаков С.-169
Щербина Т.-165
Щуплов А.-187

Эпштейн М.-159
Юдахин А.-180
Юшин Е.-94

Д 34 День поэзии 1988. Москва: Сборник.–М.: Советский писатель, 1988.–192 с.

ISBN 5-265-00690-7

По традиции в очередной выпуск ежегодника «День поэзии» входят новые произведения московских поэтов разных поколений – от тех, кто лишь недавно вступил в литературу, до старейших мастеров стиха. Читатель найдет в сборнике архивные публикации, анкету критиков о проблемах сегодняшней поэзии, воспоминания, иронические стихи и пародии. В разделе «Земные голоса России» выступают гости московского сборника – поэты из разных краев нашего Отечества.

Д $\frac{4702010202-379}{083(02)-88}$ 184-88

ББК 84Р7

Составитель

АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ БОБРОВ

В книге использованы архивные фотографии

ДЕНЬ ПОЭЗИИ 1988

Редактор

А. В. ТЮРИН

Художественный редактор

Д. С. МУХИН

Технический редактор

Е. П. РУМЯНЦЕВА

Корректор

Н. Г. ХУДЯКОВА

ИБ № 6371

Сдано в набор 20.05.88. Подписано к печати 22.09.88 А03303. Формат 84 × 108^{1/16}. Бумага офс. № 1. Гарнитура «Таймс». Офсетная печать. Усл. печ. л. 20,16. Уч.-изд. л. 21,92. Тираж 100000 экз. Заказ № 650. Цена 2 р. 40 к.

Ордена Дружбы народов издательство «Советский писатель»,
121069, Москва, ул. Воровского, 11

Можайский полиграфкомбинат Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, 143200, Можайск, ул. Мира, 93



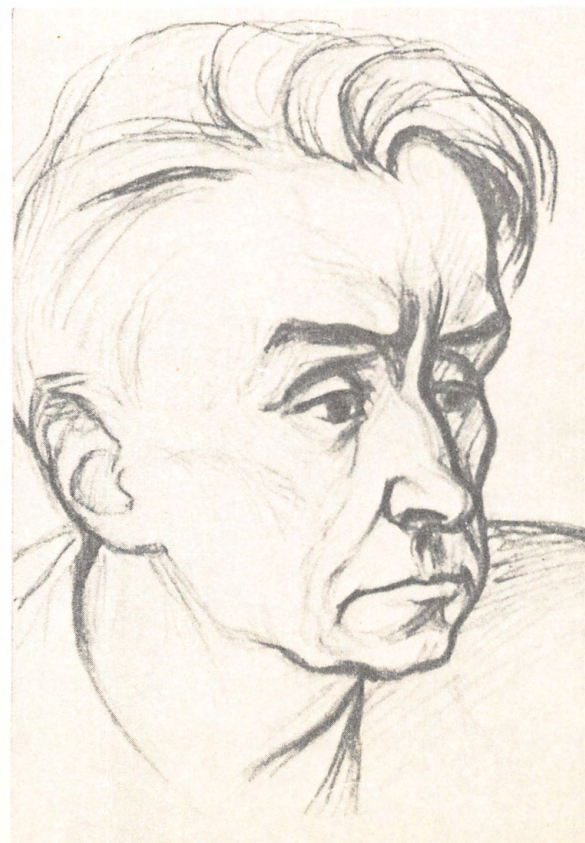
Сергей Поделков



Владимир Соколов



Николай Глазков



Сергей Смирнов

